

**АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ**

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет»

**«Стены и мосты» – IV
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ИСТОРИИ**

«Академический проект»
Москва, 2016

УДК 930
ББК 63
С79

Конференция и издание сборника осуществлены
при поддержке РГНФ, грант 15-01-14047

Научный редактор: д.и.н., проф. А.П. Логунов

Техническое сопровождение издания: И.Н. Косиченко, Т.С. Молодчикова

С79 «Стены и мосты» – IV: междисциплинарные исследования в истории: Материалы международной научной конференции, Российский государственный гуманитарный университет, 22 мая 2015 г. / Г.Г. Ершова, Б.Н. Миронов, М.М. Кром, В.А. Шкуратов, Е.А. Долгова. — М.: Академический проект, 2016. — 255 с.

ISBN 978-5-8291-1900-3

В сборник включены материалы IV Международной научной конференции «Стены и мосты»: междисциплинарные исследования в истории, прошедшей в Российском государственном гуманитарном университете 22 мая 2015 г. К участию в конференции были приглашены историки и специалисты других гуманитарных дисциплин, обращающиеся в своих исследованиях к исторической проблематике.

УДК 930
ББК 63

ISBN 978-5-8291-1900-3

© Коллектив авторов, 2016
© Оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2016

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Междисциплинарные исследования в истории:</i>	
<i>постановка проблемы</i>	7
<i>Ершова Г.Г.</i> Изучение духовных представлений и практик как междисциплинарная проблема	9
<i>Кобозева З.М.</i> «Модное платье» & «Как работать с текстом»: междисциплинарные подходы в историческом исследовании	27
<i>Малинов А.В.</i> История в междисциплинарном пространстве науки и искусства.	37
<i>Миронов Б.Н.</i> Трудовая этика российского работника: XIX–XX вв.	45
<i>Шкуратов В.А.</i> Когитократия: новое измерение исторической психологии	70
<i>Историографический опыт междисциплинарных исследований</i>	87
<i>Горобий А.В.</i> Междисциплинарный потенциал исследований по истории понятий в Германии	89
<i>Калашиников М.В.</i> Понятие «либерализм» в политическом дискурсе Н.А. Бердяева в начале XX в.	97
<i>Шебырова Л.Г.</i> Междисциплинарные идеи в научном наследии С.И. Метальникова	109
<i>Методологические проблемы междисциплинарных исследований</i>	115
<i>Лярский А.Б.</i> Художественный текст в историческом исследовании	117
<i>Реут О.Ч., Тетеревлева Т.П.</i> Политическая история на междисциплинарной границе и возможности исторического медиаобразования	127
<i>Володин А.Ю.</i> Цифровые гуманитарные науки (Digital Humanities): вызовы и тупики междисциплинарности	139
<i>Комочев Н.А.</i> Дипломатическая семиотика: вызов традициям или возвращение к истокам?	148
<i>Практика междисциплинарных исследований</i>	159
<i>Сукина Л.Б.</i> Икона в религиозном сознании русского человека позднего Средневековья.	161

<i>Мухин О.Н.</i> «Дубовые сердца хочу видеть мягкими»: особенности процесса цивилизации в России раннего Нового времени в свете применения теории Н. Элиаса	170
<i>Бабкин М.А.</i> К вопросу о названии «господствующей» в России Православной церкви: 1655—1917 гг.	179
<i>Бессонова Т.В.</i> Дом и вещи казанского мещанина первой половины XIX в. в структуре визуального пространства	186
<i>Акашева А.А.</i> История и география: объединяя усилия в изучении национальных железнодорожных систем Европы XIX — начала XXI в.	195
<i>Долгова Е.А.</i> «Коммунистическая наука»: о некоторых кадровых подсчетах в 1929 г.	202
<i>Азерникова И.П.</i> Градостроительная политика СССР конца 1950—1970-х гг. как знаковая система нового советского общества	210
<i>Каиль М.В.</i> Новейшая история Русской православной церкви: институциональная и социальная история — преодолима ли дистанция?	219
<i>Артемюков М.Н.</i> Уголовно-исполнительная система: правовые и исторические проекции изучения (междисциплинарные подходы и практики)	222
<i>Шалыгина Н.В.</i> Технологии изменения гендерной идентичности	230
<i>Арпентьева М.Р.</i> Социальный капитал — предмет полидисциплинарных исследований	235
<i>Mtro. Adrián Maldonado R.</i> Коллапс маяя классического периода с точки зрения взаимосвязи культуры и природы	246
<i>Сведения об авторах</i>	254

**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ИСТОРИИ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ**

ИЗУЧЕНИЕ ДУХОВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАКТИК КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Ершова Галина Гавриловна
Российский государственный
гуманитарный университет,
г. Москва

***Аннотация:** Статья посвящена изучению одного из наиболее древних и универсальных феноменов, присущих исключительно человеческому коллективу, — духовных практик и представлений. Делается вывод, что обращение к выявлению сторон междисциплинарного исследования позволит найти верный путь к решению поставленной проблемы, определяя, в рамках какой из дисциплин будет получен исчерпывающий ответ на поставленную задачу.*

***Ключевые слова:** духовные практики и представления, этнология, антропология, психология, измененные состояния сознания.*

От описания духовных представлений и практик до их изучения

Духовные представления и практики — это один из наиболее древних и универсальных феноменов, присущий исключительно человеческому коллективу. Феномен, актуальность которого не исчезает со временем, а лишь трансформируется в своих проявлениях. Тем не менее он сложнее всего поддается формальному многоплановому изучению, несмотря на существующие и продолжающиеся появляться многочисленные описания и многочисленные интерпретации, которые, как правило, рассматривают лишь отдельные аспекты проблемы, о чем пойдет речь в кратком обзоре.

Изучение религиозных практик — это одно из наиболее важных направлений в исследованиях Ю.В. Кнорозова. Именно с этой темы в 1943 г. начиналась его научная судьба на кафедре этнографии МГУ. Известно, что еще дипломная работа Кнорозова под названием «Мазар Шамун-Наби, или Среднеазиатская версия легенды о Самсоне», как и первая научная публикация практически с тем же названием «Мазар Шамун-наби»¹, были посвящены анализу шаманского зикра, в котором Кнорозов-студент участвовал в качестве наблюдателя. Эти работы были написаны на основе полевых исследований, проводившихся во время

Хорезмской экспедиции под руководством С.П. Толстова в 1946–1948 гг. Следует заметить, что сохранились даже любопытные свидетельства о том, как, будучи подростком, Кнорозов «лечил» соседей «накладыванием рук»². При этом известно, что он увлекался гипнозом, полагая, что именно суггестия позволяет достигать эффекта в подобных практиках. Среднее образование Кнорозов совсем не случайно завершал в медицинском техникуме. Тем самым Ю.В. Кнорозов обозначил направление своих будущих исследований шаманских практик как междисциплинарных, где этнографическое описание сочеталось с практическим экспериментом и поиском интерпретации феномена с позиции психического функционирования головного мозга человека. Однако этот подход не вписывался в традиционные этнографические исследования середины XX в. И потому было сложно ставить в качестве основной задачи исследования адекватную интеграцию в парадигму современной науки некоторых феноменов, постоянно питающих религиозное сознание, но не располагающих рациональным объяснением или подтверждением через статистически достоверный экспериментальный опыт.

Еще в конце XIX в., на заре научного объяснения религиозного опыта человечества, Дж. Фрэзер счел необходимым выделить «магию» (как особую практику) в отдельную область человеческой коллективной деятельности, что требовало, по сути, некоего междисциплинарного взгляда на понимание проблемы. В рамках этого подхода Дж. Фрэзер неожиданно отождествлял магию не с религией, а скорее с наукой, приводя весомые аргументы:

«Если маг и претендует на верховную власть над природой, то это власть конституционная, ограниченная в своих полномочиях и осуществляемая в точном соответствии с древним обычаем. Так что аналогия между магическим и научным мировоззрением является обоснованной. В обоих случаях допускается, что последовательность событий совершенно определенная, повторяемая и подчиняется действиям неизменных законов, проявление которых можно точно вычислить и предвидеть. Из хода природных процессов изгоняются изменчивость, непостоянство и случайность. Как магия, так и наука открывают перед тем, кто знает причины вещей и может прикоснуться к тайным пружинам, приводящим в движение огромный и сложный механизм природы, перспективы, кажущиеся безграничными. Отсюда та притягательность, которой обе обладали для человеческого ума, и тот мощный стимул, который они дали накоплению знаний... магия и наука как бы поднимают человека на вершину высокой-высокой горы, где за густыми облаками и туманами возникает видение небесного града, далекого, но сияющего неземным великолепием, утопающего в свете мечты»³.

То есть если попытаться сформулировать проще, то Дж. Фрэзер отчетливо понимал, что магия, как и наука, представляют собой различные версии картины мира, в которой нет места фантазиям, — все должно действовать на благо выживания в этом мире человека. И Фрэзер определяет принципиальное различие между двумя картинами мира:

«Роковой порок магии заключается не в общем допущении законосообразной последовательности событий, а в совершенно неверном представлении о природе частных законов, которые этой последовательностью управляют»⁴.

Вместе с тем Фрэзер, развивая свою мысль о знании и сопоставляя магию с религией, выводит, вполне в духе механистического позитивизма XIX в. последнюю из списка картин мира, полагая, что религия строится на вере в сверхъестественные, но сознательные существа, что допускает возможность вмешательства человека в течение законов природы. И потому приходит к выводу: *«Так что религия — поскольку она предполагает, что миром управляют сознательные агенты, которых можно отвлечь от их намерений путем убеждения, — фундаментально противоположна магии и науке. Для последних само собой разумеется, что ход природных процессов определяют не страсти или причуды личных сверхъестественных существ, а действие неизменных механических законов»⁵.*

Тем не менее Дж. Фрэзер признавал, что религия выросла из магии: *«Древняя магия лежала в основании самой религии»⁶.* И вместе с тем приходит к выводу о том, что *«признание присущей магии ложности и бесплодности побудило мыслящую часть человечества заняться поисками более истинной теории природных явлений и более плодотворного метода использования природных ресурсов»⁷.*

То есть уже в позапрошлом, XIX в. специалистам стало понятно, что так называемая магия, по сути религиозные практики, связаны с особой деятельностью человека (универсальной для человечества в целом) и нацелены на взаимодействие с окружающей средой. И Фрэзер, по сути, определил направление будущих исследований в этой области, предвосхитив междисциплинарные методы.

Объяснить необъяснимые феномены попытались религиозные философы, что особенно важно, так как «нерелигиозная» философия практически исключала духовные практики из объектов исследования. В частности, в начале XX в. появляется «интуитивизм» Н.О. Лосского, представителя русской религиозной философии⁸. Он разработал «учение о транссубъективности» чувственных качеств, включившее и магию, и ясновидение, и сновидения, и даже галлюцинации, соотнося его с объективной реальностью, научным знанием и бытием в рамках религиозной картины мира. Лосский сопоставляет мистику мировых религий,

осуждая пантеистическую мистику, что, по сути, уже исключает научных подход. Тем не менее это философское направление отразило поиски методов анализа *всех* феноменов, присущих человеческому коллективу.

Представители социологии, естественно, не могли игнорировать столь универсальный феномен, как духовные практики. Эмиль Дюркгейм и Люсьен Леви-Брюль, пытавшиеся разобраться в логике индивидуального и коллективного мышления, также пытались определить отношение между наукой, здравым смыслом и религией. Дюркгейм, следуя идеям Фрэзера, считал, что наука выходит из «первобытной религии», из которой возникают «неэмпирические» понятия, являющиеся прообразом научных знаний. Свою позицию основоположник социологии изложил в последней работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая система в Австралии», изданной в 1912 г. Леви-Брюль, также под влиянием идей и выводов Фрэзера, считал основой науки индивидуальный здравый смысл. А вот духовные представления и практики он относил к категории «сверхъестественного», замкнутой на традиции религиозного суеверия, что, безусловно, сводило проблему изучения этих представлений и практик лишь к описаниям феноменов. По мнению Леви-Брюля, который основывался на чужих материалах наблюдений, представления «первобытного человека» остаются «смутными и текучими», а он сам «как будто и не испытывает потребности выработать более четко очерченные представления»⁹. Таким образом, оставалась лишь «примитивная направленность мышления» — что само по себе выступает весьма размытым и субъективным объектом для исследования.

Некоторые чуть более поздние исследователи отошли от прагматизма принципов развития человеческого мышления, сместившись в романтически-философское осмысление божественного начала, именно как внесистемной управляющей силы. Так, например, Матин Бубер выдвинул концепцию «Я и Оно», где дискретность человеческой жизни (здесь и сейчас) со всем стремлением к познанию, в частности через духовный опыт, противопоставляется непрерывному (вечному) миру Оно, с которым Я находится в постоянном взаимодействии. Религия Бубером практически отождествляется исключительно с «верой», но не опытом.

«Истинный характер эпохи достовернее всего усматривается в преобладающем в ней типе взаимоотношений между религией и действительностью. В одну эпоху то, во что «верят» люди как в нечто от них совершенно независимое и существующее само по себе, представляет собой действительность, с которой они находятся в реальном взаимоотношении, но о которой, разумеется, как им хорошо известно, они могут составить только чрезвычайно неполное представление. В иные эпохи, напротив, на место

действительности заступает соответствующее о ней представление, которое к этому времени «составилось» и с которым поэтому возможно манипулировать, или даже некоторый остаток представления, понятие, в котором возможно усмотреть только поблекшие черты некогда полнокровного образа. Люди, продолжающие оставаться «религиозными» в такие времена, часто не замечают, что воспринимаемое ими в качестве религиозного отношение существует уже более не между ними и независимой от них действительностью, но осуществляется лишь внутри их собственного духа, духа, который включает в себя именно самостоятельные образы, самостоятельные «идеи». И тогда появляются, в более или менее законченном виде, люди особого рода, которые воспринимают такое состояние вещей как совершенно естественное. Никогда, полагают они, не была религия чем-то иным, нежели внутридушевным процессом, порождения которого «проецируются» на плоскость — фиктивную саму по себе, однако наделяемую со стороны души характером действительности. И пусть эпохи все же различаются, утверждают они, силой образности, с которой осуществляется эта проекция, в конечном итоге человек, достигнув ясности познания, будет обязан признать, что все воображаемые разговоры с Божественным — это только лишь разговоры с самим собой, а скорее даже диалог между различными слоями личности. Однако тем самым провозглашается не что иное, как то, что человек оказался не в состоянии постичь совершенно независимую от него действительность и занять позицию по отношению к ней; он не в состоянии также представить себе эту действительность и посредством силы воображения, в виде образов, которые таким путем возвещают об этой действительности неспособному достичь ее своими силами созерцанию. Ибо не фантазии, но настоящим встречаем с действительно божественной мощью и величием обязаны своим происхождением все великие божественные образы рода человеческого. В той же самой мере, в какой иссякает способность обрести совершенно от нас независимую, хотя и доступную нашей беззаветной самоотдаче и преданности действительность, иссякает также и человеческая сила постижения божественного в образах»¹⁰. Подобный подход практически исключает и наличие самого феномена «духовных практик» и тем более поиски методов его исследования.

Как ни странно, наиболее прагматичный подход к исследованию феноменологии человеческой деятельности, ориентированной на взаимодействие с окружающим миром, был сформулирован монахом Тейяром де Шарденом.

«По видимости, современный мир возник из антирелигиозного движения. Человеку достаточно самого себя. Разум взамен религиозного верования. Наше поколение и два предшествующих только и слышали, что о конф-

ликте между религиозной верой и наукой. До такой степени, что однажды казалось — вторая должна решительно заменить первую.

Но по мере продолжения напряженности становится очевидным, что конфликт должен разрешиться в совершенно иной форме равновесия — не путем устранения, не путем сохранения двойственности, а путем синтеза. После почти двухвековой страстной борьбы ни наука, ни вера не сумели ослабить одна другую. Но совсем даже напротив становится очевидным, что они не могут развиваться нормально одна без другой по той простой причине, что обе одушевлены одной и той же жизнью. В самом деле, ни в своем порыве, ни в своих истолкованиях наука не может выйти за пределы самой себя, не окрашиваясь мистикой и не заряжаясь верой.

В своем порыве прежде всего. Мы касались этого момента, рассматривая проблему действия. Человек сможет трудиться и продолжать исследования лишь в том случае, если он сохранит к этому страстную склонность. Но эта склонность всецело связана с убеждением, совершенно недоказуемым для науки, что универсум имеет смысл и что он может, и даже должен, если мы останемся верны, прийти к какому-то необратимому совершенству. Вера в прогресс.

В своих истолкованиях затем мы можем научно рассматривать почти бесконечное усовершенствование человеческого организма и человеческого общества. Но как только речь заходит о практической материализации наших мечтаний, мы констатируем, что проблема остается нерешенной или даже неразрешима, если только не допустим частично путем сверхрациональной интуиции конвергентности мира, к которому мы принадлежим. Вера в единство... Вера в безмерно притягательный центр личности»¹¹.

Совершенно очевидно, что Тейяр де Шарден определяет религию как картину мира, которую конструирует человек, чтобы коллективно строить свое будущее: «Со времени своего зарождения наука развивалась, побуждаемая главным образом необходимостью разрешить какую-нибудь проблему жизни; ее самые возвышенные теории всегда витали бы в сфере человеческой мысли, если бы они немедленно не воплощались в какой-то способ покорения мира»¹².

«Ничего нельзя понять в человеке с антропологической, этической, социальной, моральной сторон, а также невозможно сделать какого-либо приемлемого предвидения его будущих состояний до тех пор, пока мы не видим, что в процессе развития человека «разветвление» (насколько оно существует) действует лишь с целью агломерации и конвергенции, причем в высших формах. Образование мутовок, отбор, борьба за жизнь — отныне простые вторичные функции, подчиненные у человека делу сплочения. Пучок потенциальных видов обволакивает поверхность Земли. Это совершенно новый способ филогенеза»¹³. И Тейяр де Шарден приводит аргумент,

допускающий в гуманитарной области нестандартные решения и новые исследовательские междисциплинарные горизонты, наподобие иррациональных чисел в математике (e , π), геометрии и физике наряду с целыми. Для исследования феномена человека таким «иррациональным числом» становится введение «яруса коллектива»¹⁴.

Любопытно, как Тейяр де Шарден определяет «специфическую природу человека», что точнее было бы назвать специфическим фенотипом или, как это было сделано мною в теории антропосистемы, «фенотипом 3-го порядка»¹⁵:

«И здесь мы возвращаемся к тому пункту проблемы, куда привел нас должным образом установленный до этого факт слияния человеческих мыслей. Как коллективная и, значит, sui generis, реальность, человечество может быть понято лишь в той мере, в какой мы выходим за пределы его телесных, осязаемых конструкций и попытаемся определить специфический тип сознательного синтеза, возникающий из его трудолюбиво и искусно созданной концентрации. В конечном счете человечество определимо именно как дух.

*Но с этой точки зрения, исходя из нынешнего состояния вещей, мы можем двумя способами, в два этапа, представить себе будущее состояние этого духа. Или, что проще, это будет всеобщая способность или акт познания и действия. Или, что значительно глубже, это будет органическая суперагрегация душ. Итак, наука или единомушие»*¹⁶.

«Когда мы рассматриваем, как в развивающемся универсуме, который мы только что начали постигать, временные и пространственные ряды расходятся и развертываются вокруг и позади нас, подобно поверхности конуса, то, может быть, это чистая наука, Но когда мы поворачиваемся к вершине, к целостности и к будущности, то это уже поневоле религия.

Религия и наука — две неразрывно связанные стороны, или фазы, одного и того же полного акта познания, который только один смог бы охватить прошлое и будущее эволюции, чтобы их рассмотреть, измерить и завершить.

*Во взаимном усилении этих двух все еще антагонистических сил, в соединении разума и мистики человеческому духу самой природой его развития предназначено найти высшую степень своей проницательности вместе с максимумом своей жизненной силы»*¹⁷.

Антропологические исследования в области «религии» XIX–XX вв. демонстрируют поиски каждый раз новых подходов (деятельностно-интеллектуалистский, эмоционалистский, социально-психологический, идея безличной волшебной силы и т. д.) и не случайно привели к понятию «антропология религии»¹⁸.

Вместе с тем исследования в области религии позволили перейти к более системному изучению комплекса связанных с данной областью проблем.

Рассуждая о духовных представлениях и практиках, следует обозначить место данных феноменов в системе знаний о религии, что, собственно, и пытались отрефлексировать исследователи. Для этого необходимо выделить три аспекта¹⁹ проблемы:

1. *Индивидуальный религиозный (духовный, «мистический») опыт.* Сюда следует отнести те ощущения, которые испытывает личность при чувственном восприятии окружающего мира. Эти ощущения, а также практики, которые их вызывают, всегда воспринимаются и осознаются индивидуально, но являются общими для человечества в целом.

2. *Религиозная модель мира (идеологическая конструкция).* В данном случае речь идет о некоей систематизации знаний об окружающем мире. Эта модель постоянно усложняется и дополняется (по мере увеличения знаний), но до появления научного языка излагается в специфической для своего времени (и недоступной для понимания спустя некоторое время) форме, так называемых мифов. Эта модель все больше исключает индивидуальный опыт и формирует концепцию «веры», о которой писал Фрэзер.

3. *Религиозная система — социальный институт (церковь).* Это образование является инструментом общественного управления. На этом уровне религиозной деятельности исключается всякий духовный опыт в пользу абсолютизации и все большей догматизации так называемой «веры», что и требует присутствия высшей силы, способной нарушить привычный порядок «природных явлений», о которых писал английский этнограф.

Конечно же, в рамках атеистической полемики XIX в. Дж. Фрэзер, отвергая религиозную модель мира, несколько усиливал свою аргументацию, практически отождествляя религию с культом верховного всемогущего божества. Однако, без всяких сомнений, мировые религии представляли первые системные научные картины мира, что относится в первую очередь к христианству, которое обобщило научный опыт египтян, высоких культур Ближневосточного региона, греков, в области астрономии.

Объектом рассмотрения в данной публикации становятся методы изучения явлений, связанных исключительно с индивидуальным духовным опытом, который не имеет прямого отношения к хозяйственной деятельности, не является способом рационального познания, но тем не менее оказывается абсолютно необходимым для функционирования любого человеческого коллектива.

В этнографии зачастую все, что не имеет рационального объяснения, принято излагать через деликатный оборот «как бы»: шаман «как бы взлетел», прорицатель «как бы заговорил не своим голосом» и т. д.

Реальность физического восприятия необычного феномена и его объективная «невозможность» (как и невозможность дать рациональное научное объяснение) хорошо видны в классических этнографических описаниях, как, например, изложение В.Г. Тан-Богоразом обряда чукотского камлания: *«У присутствующих на шаманском сеансе создается полная иллюзия, что отдельные голоса приходят из разных концов полога... В трюках такого рода шаманы подражают крикам зверей и птиц и даже завыванию бури... Я слышал духов кузнечика, слепня и комара... По моему предложению шаман Коураге заставил своих духов кричать, говорить и шептать мне прямо в ухо. Иллюзия была настолько полной, что я невольно подносил руку к уху, чтобы поймать духа. Затем он заставил духа уйти в землю, так что его голос раздавался у меня из под ног, и т. п. Все время, пока говорили отдельные голоса, шаман не переставал бить в бубен для того, чтобы показать, что все его силы и внимание заняты другим делом»*²⁰. Забавно, но в описании Тан-Богораза отчетливо прослеживается следующая логика в отношении достоверности: шаман пытался меня обмануть; как именно он это сделал — я не знаю; но я точно знаю, что такого быть не может и никогда я в это не поверю. Чувствуется, что знания Тан-Богораза на тот момент допускали лишь использование некоего чревовещания, допускаемые возможности которого, впрочем, тоже вступали в противоречие с реальным опытом этнографа. При этом все этнографы допускали наличие у шаманов особых навыков и умений, но никто не определяет, чем обусловлены и как реализуются эти «умения». Зато этнографы не оспаривают, возможно, вслед за наблюдаемым населением, наличие дифференциации на «сильных» и «слабых» шаманов. Так, например, М.Ф. Косарев отмечает: «Слабые и начинающие шаманы зачастую настраивались на камлание с помощью психотропных средств. Чаше всего использовали гриб мухомор... Сильные шаманы избегали наркотических стимуляторов»²¹.

В.М. Бехтерев, с точки зрения психиатрии, подробно исследовал «духовные практики», объясняя психофизиологией внушения, взаимовнушения, самовнушения и внушаемости, присущей человеку в целом²².

В начале XX в. необходимость полноценного осмысления феномена духовного опыта и практик была чрезвычайно велика. Среди многочисленных работ, с разных научных позиций, важное место отводится публикации лекций по естественной теологии психолога Уильяма Джеймса (Вильяма Джемса) под названием «Многообразие религиозного опыта»²³. В публикации он изложил свои взгляды на сущность религии, отталкиваясь от рассмотрения вопросов онтологии религиозного, мистического или духовного опыта. Лекции 16 и 17 были посвящены мистицизму, а лекция 18 — философии религии. Автор с самого начала

определил, что «все корни религиозной жизни, как и центр ее, следует искать в мистических состояниях сознания». И попытался дать, с точки зрения психологии, характеристики того, что он относил к «мистическому состоянию сознания»:

«Я выделяю здесь четыре главные характерные признака, которые послужат нам критерием и для различения мистических переживаний. Таким образом, мы устраним спор о словах и те недоразумения, которые могли быть им порождены.

Неизреченность. Самый лучший критерий для распознавания мистических состояний сознания — невозможность со стороны пережившего их найти слова для их описания, вернее сказать, отсутствие слов, способных в полной мере выразить сущность этого рода переживаний; чтобы знать о них, надо испытать их на личном непосредственном опыте и пережить по чужим сообщениям их нельзя. Отсюда видно, что мистические состояния скорее принадлежат к эмоциональной сфере, чем к интеллектуальной...

Интуитивность. Хотя мистические состояния и относятся к сфере чувств, однако для переживающего их они являются особой формой познания. При помощи их человек проникает в глубины истины, закрытые для трезвого рассудка. Они являются откровениями, моментами внутреннего просветления, неизмеримо важными для того, кто их пережил и над чьей жизнью власть их остается незыблемой до конца...

Кратковременность. Мистические состояния не имеют длительного характера. За редкими исключениями, пределом их является, по-видимому, срок от получаса до двух часов, после чего они исчезают, уступив место обыденному сознанию. После их исчезновения трудно воспроизвести в памяти их свойства; но когда они вновь посещают человека, он узнает их; и с каждым посещением они обогащают и расширяют душу и отражаются в сознании, как нечто центрально важное и бесценно дорогое.

Бездеятельность воли. Хотя мистические состояния можно вызвать с помощью волевых актов, например, сосредоточением внимания, ритмическими телодвижениями или другим каким-нибудь способом, взятым из руководства для мистиков; но раз состояние сознания приобрело характерные для данного переживания признаки, мистик начинает ощущать свою волю как бы парализованной или даже находящейся во власти какой-то высшей силы. Эта последняя особенность роднит мистические состояния с тою подчиненностью чужой воле, какую мы видим у личности при ее раздвоении, а также с пророческими, автоматическими (при автоматическом письме) состояниями и с медиумическим трансом. Но все эти состояния, проявляясь в резкой форме, не оставляют по себе ни-

какого воспоминания и, быть может, даже никакого следа на внутренней жизни человека, являясь для нее, в некоторых случаях, только помехой. Мистические же состояния, в тесном смысле этого слова, всегда оставляют воспоминание об их сущности и глубокое чувство их важности...»²⁴

Итак, понимание наличия особого состояния сознания было очевидным для психиатров и психологов еще в начале прошлого века, но соединить его с этнографическими исследованиями оказалось не так просто и не так быстро.

И только в последней четверти XX в. в этнографию, а точнее, в психологическую антропологию вошел термин «измененные состояния сознания» (ИСС), который обозначил отнесение феномена к некоему особому научному пространству. Считается, что одним из первых системные исследования ИСС начал психиатр Арнольд Людвиг в 1960-е гг. Открытия психиатров в области ИСС в США были связаны в основном с использованием психоделиков и ЛСД²⁵. Хотя тема в этот период стала чрезвычайно востребованной, этот период совпадает с постепенным переходом психиатрической проблемы ИСС в антропологию и этнографию.

Параллельно начали возникать новые «эзотерические» учения, что стало объектом трансперсональной психологии и «социальной антропологии»²⁶. В исследования активно включились физики, пытающиеся дать свои объяснения феноменологии «мистического». Как ни странно, именно это «естественно-научное» направление, с предложением бесконечных «тонких миров» и таинственных «излучений» приобрело самый массовый и самый, что поразительно, ненаучный характер²⁷.

Тем не менее наиболее продуктивными стали попытки соединения методов психиатрии с этнографией и религией, отчасти в рамках возникшей в 1930-е гг. «психологической антропологии». Антрополог А. Белик уже выделял специальные разделы в своей монографии по этой теме: «Особенности мышления в традиционных культурах», «Психоаналитический подход», «Измененные состояния сознания и психотерапия»²⁸. Он отмечал, что «актуализация исследований в этой области во многом была вызвана распространением в конце 60-х годов в индустриально развитых странах экзотических, часто мистических культов, массовых психотерапевтических движений, а также экзотических ритуалов различных видов»²⁹.

Начиная с 1970-х странные практики в культуре и деятельности человека стали объектом исследований психиатра Т.А. Доброхотовой, чьи статьи на эту тему были опубликованы в журнале «Вопросы философии»³⁰. Свои клинические наблюдения и зарегистрированные случаи необычных феноменов Доброхотова опубликовала в ряде статей и монографий, в частности в монографии «Левши» в 1994 г.

На основе выводов Доброхотовой была составлена следующая таблица³¹:

I. Наиболее востребованные членами общества способности, направленные «на служение людям»:

- 1) диагносты и лекари;
- 2) психотерапевты;
- 3) заговариватели и сниматели/напускатели сглаза;
- 4) предсказатели судеб.

II. Способности, которые представляют практический интерес только для их обладателя, а в обществе могут быть востребованными в зависимости от обстоятельств:

1. Необычные физические возможности — притягивать к себе предметы, «видеть» пальцами, заставлять двигаться предметы, провоцировать возгорания и т. д.

2. Феноменальная память (создает системы запоминания); феноменальная способность видеть числа и оперировать ими; феноменальная способность видеть звездное небо, астрономические и календарные циклы.

3. Передача и чтение мыслей на расстоянии. Сюда же относятся гипнотизеры.

4. Люди, способности которых обычно характеризуются как гениальность в творчестве, в науке. В силу своей общественной значимости эта группа получила наибольшее признание и почти вышла из области «мистического».

5. а) Свойства, относящиеся к различным несложным психическим феноменам, например дежавю или вещие сны.

б) Ощущения человека о пребывании в иной реальности — временной, пространственной.

6. Свойства, относящиеся к абсолютно необъяснимой с точки зрения современной науки феноменологии, наподобие левитации — «невесомости», как это наблюдалось у пациентки в клинике Института нейрохирургии им. Бурденко в момент приступа психической болезни³², или чаще встречающийся феномен «прилипания» к телу предметов.

III. Необъяснимые качества личности, которые не находятся в зависимости ни от намерений, ни от внешнего облика личности:

а) отталкивающие:

- 1) люди с дурным глазом;
- 2) притягивающие несчастья;
- 3) ухудшающие своим присутствием физическое состояние других;

б) притягивающие:

- 1) вносящие своим присутствием умиротворение;

2) удачливые «везунчики»;

3) увлекающие за собой — харизматические личности, «крысоловы».

IV. Однако наряду с «таинственными» и вызывающими всеобщий интерес свойствами существуют и не столь яркие, но, пожалуй, гораздо более важные формы необычайных способностей — интуитивное знание, направленное на выживание человека как биологического вида.

Любопытно отметить, что случаи, зарегистрированные у больных в клинике (ярче всего в приступе болезни), тождественны феноменам, относящимся к «духовным практикам». Однако при переходе в плоскость этнографического или антропологического исследования каждый феномен требует использования специфического, присущего лишь ему набора методов исследований.

Важные исследования в области моделирования состояний человека в состоянии гипноза с 1970-х гг. проводились Л.П. Гримаком³³. Будучи психиатром, он четко осознал необходимость соединения психиатрических исследований с антропологическими.

Проводившиеся в различных научных областях исследования привели к тому, что в 1978 г. вышла революционная работа философа В.В. Налимова под названием «Непрерывность против дискретности». Он напрямую обратился к проблеме гипноза и ИСС в интеллектуальной и духовной деятельности человека. Объектом анализа у В.В. Налимова выступают в рамках проблемы «язык—мышление» и творческое озарение, и медитация, и гипноз как форма ИСС, и сон как проявление ИСС, и использование биохимических средств для достижения ИСС. Причем точкой отсчета в построениях философа становятся религиозные традиции — византийский исихазм, дзен и т. д.³⁴

Проблемы, возникающие при изучении религиозных практик

Ю.В. Кнорозов начиная с 1940-х гг., следуя работам Э. Геккеля, У. Джеймса, В.М. Бехтерева и К.И. Платонова, полагал, что подобные исследования должны быть связаны с изучением деятельности головного мозга и данных психиатрии, которые позволяют выявить важные закономерности в феноменологии религиозных практик. Он решал эту проблему в рамках своей «теории коллектива».

Следует заметить, что, проводя исследования самых различных, но чаще «шаманских» религиозных практик (обрядов и ритуалов), обращает внимание их универсальность. По сути, весь репертуар повторяется в своей сути практически в неизменном виде в любой культуре земли, делаясь на две основные группы по взаимодействию участников. В первую

группу включены индивидуальные проявления: предсказания-пророчества, ясновидение, гадание, нахождение в иной реальности (путешествия/сновидения), общение с умершими (божествами), манипуляции со своим телом. В этом случае о результатах достигнутого коллектив узнает от исполнителя действия. Ко второй группе следует отнести интерактивное взаимодействие участников: целительство, фасцинация, снятие/наведение сглаза, управление действиями других, в том числе гипноз и скрытая индукция указаний. О результатах коллектив узнает от того (или тех), на кого было направлено воздействие.

Единственное, что различает варианты обрядов, порой далеко разведенные в пространстве и времени, — это каждый раз конкретный, порой уникальный культурный субстрат, индивидуальная интерпретационная версия, оригинальная манера исполнения, а также избранные пути достижения измененного состояния сознания и прочих состояний, если таковые требуются. В данной статье не рассматривается типология религиозного (в том числе шаманского) опыта, так как этот вопрос уже обсуждался ранее³⁵. Важно еще раз подчеркнуть, что типологическая универсальность религиозных практик однозначно указывает на общечеловеческие (психофизиология, психиатрия, биология) или общенаучные (астрономия, химия, фармацевтика, философия) истоки их происхождения, а вовсе не заимствования, поскольку для анализа избираются культуры, имевшие изолированное или существенно удаленное (в пространстве и времени) развитие. Тем самым постановка проблемы выводит нас на необходимость междисциплинарного исследования с привлечением соответствующих направлений научных знаний, не относящихся напрямую к историческим дисциплинам. Сам термин уже обрел собственную жизнь и вписался в исследовательское (прежде всего философское) поле, дополнившись такими понятиями, как «интердисциплинарность», «трансдисциплинарность» и т. д.

Тем не менее само обращение к выявлению сторон междисциплинарного исследования позволит, видимо, найти верный путь к решению поставленной проблемы, определяя в рамках какой из дисциплин будет получен исчерпывающий ответ на поставленную задачу.

Практика сохранности тела буддистскими монахами

Рассмотрим на конкретном примере модель исследований религиозных практик, вызывающих определенные вопросы, как при понимании целей, так и методов достижения результата.

Феномен Хамбо-Ламы Итигелова³⁶ с самого начала появления в информационном пространстве, 10 сентября 2002 г., выглядел странным,

непонятным и в целом невозможным. В этот день на территории кладбища неподалеку от Улан-Удэ произошла эксгумация тела буддистского ламы Итигелова, считавшегося умершим в 1927 г. В вертикальном деревянном коробе находился в позе лотоса пожилой мужчина в одеяниях буддистского монаха, покрытый шелковыми тканями. Тело его оказалось полностью сохранным и создавало впечатление живого — нормальный вес, мягкие мышцы, достаточно эластичная кожа, сгибающиеся суставы.

Поскольку сам феномен относился к конкретному религиозному деятелю, то сомнений в том, что речь шла о некой практике буддизма, не возникало. Информация о бурятском ламе, который был извлечен из своего захоронения спустя 75 лет после захоронения, попала в средства массовой информации³⁷. Общественность восприняла эту информацию по-разному: часть людей просто не поверила, решив, что это «журналистская выдумка», и даже «бурятская фальсификация»; большинство же решило, что речь идет об обычной мумии. Но были и такие, кто даже не понял, в чем состоит уникальность данного явления, так как и не задумывались о сохранности тел умерших³⁸.

Имея представление о том, что происходит с телами умерших, было бы трудно не отреагировать на столь странное явление, как сохранность тела ламы Итигелова. Этот необычный феномен сразу же ставит три вопроса: правда ли это?, как было достигнуто? и зачем?

Вопрос первый — правда ли это? — требует своевременного проведения формальной, исключающей фальсификацию или ложную информацию, *криминалистической экспертизы*, включающей идентификацию личности, а также *юридического подтверждения результатов*. На самом деле без положительного ответа на первый вопрос все последующие исследования практически утрачивают достоверность и смысл. Идентификация личности в данном случае важна для исключения фальсификаций и, кроме того, позволяет очертить круг необходимых источников для последующих исследований и выводов.

Вопрос второй — как? — подразумевает *физическое объяснение* происхождения феномена. Выявление физических, психических или физиологических основ всегда проще, если феномен имеет не единичное, а множественное проявление. Поэтому еще до начала формального исследования необходимо провести большую работу по выявлению аналогов (диахронно и синхронно) как в культурной мировой практике, так и в практике клинической. Поскольку любой объективно зарегистрированный физиологический феномен не может существовать в единичном варианте.

Вопрос третий — зачем? — оказывается еще более многоступенчатым, поскольку должен предварительно ответить на несколько уточняющих вопросов.

1. *Единичный это феномен или общий.*

а. Если феномен единичный, то был ли он случайным или преднамеренным (в естествознании, истории и т. д.). При этом в качестве случайного рассматриваются все возможные версии: проявление внешних неустойчивых связей, результата пересечения независимых процессов или событий, реализация неотъемлемого дополнения к законам необходимости. (Попутно можно отметить, что в буддизме, к которому относится рассматриваемый феномен, случайность полностью отвергается, исходя из концепции переплетения в Мироздании всех причинно-следственных связей.)

б. Если феномен был случайным, то какие условия (средовые или организменные) привели к его возникновению. Решение проблемы в этом случае уходит в плоскость поисков ответа на первый вопрос: как?

с. Если феномен был намеренным, то какие причины привели к его реализации конкретного человека: социальные, физиологические, религиозные, научно-экспериментальные. Каждая из потенциальных причин требует подробной реконструкции собственного культурного контекста.

2. Если рассматриваемый феномен носит общий, массовый характер, то возникают вопросы:

а. С каким культурным контекстом феномен ассоциирован, то есть является феномен *локальным*?

б. Если носит локальную характеристику, в рамках какой именно традиции возник?

с. Каковы методы достижения данного феномена?

д. Существует ли письменная или только устная традиция передачи технологии создания феномена?

е. Будучи массовым (универсальным), с каким биологическим/медицинским контекстом данный феномен ассоциирован? Поскольку в этом случае предполагается возможность постоянного повторения его под иным названием или с иной ненаучной (социальной) интерпретацией. Также возможно предположить наличие иного описания технологий достижения феномена, что предполагает работу с источниками или полевые исследования.

3. Кроме того, чтобы ответить на вопрос зачем, следует выделить два направления исследований: во-первых, реконструировать изначальный смысл данной практики, дискуссии о ее целесообразности (или нецелесообразности) в течение всего периода ее зарегистрированного существования, смысл, который вкладывался в обряд на момент конкретного рассматриваемого осуществления. Причем в случае с Итигеловым выделяются два важных момента: 1927 г. как время создания феномена и 2002 г. как время обнаружения феномена. Приходится учитывать и тот факт, что за 75 лет была утрачена не только сама традиция, но и память о

ней, что существенно осложняет реконструкцию целей, методов и задач при осуществлении феномена.

4. В данном конкретном случае становится необходимым создание психологического портрета отождествляемой с феноменом личности, что включает такие характеристики, как интеллект (способность самостоятельно принять решение), самосознание (самооценка и самоконтроль), а также мотивацию поведения. А это предполагает для начала специальное биографическое исследование и только потом психологический анализ.

5. Каковы области науки, которые должны привлекать свои методы для проведения данного исследования?

- религиозная практика — описательная этнографическая схема;
- идеологическая интерпретация — религиоведение;
- механизмы сохранности тела — психофизиология, почвоведение, климатология;
- адаптивные эволюционные механизмы — биология;
- психологические предпосылки принятия решения — психология, психиатрия;
- технические приемы — психиатрия, фармакология;
- коммуникативный смысл феномена — социология, политология, история.

Итак, совершенно очевидно, что про единый феномен «консервации тела Хамбо-Ламы Итигелова» можно выстроить изложение с самых разных научных позиций. Возможно ли определить, что есть главное, а что — второстепенное в целостном исследовании темы? Наверное, нет — феномен представляет огромный интерес для каждой из областей, но лишь в своем целостном проявлении. И объектом исследования становится «феномен человека», где человек, по определению Тейяр де Шардена, в качестве «предмета познания» становится «ключом ко всей науке о природе».

Статья подготовлена при поддержке РФФИ
в рамках работы по проекту 14-06-00467

¹ Кнорозов Ю.В. Мазар Шамун-наби // Советская этнография. 1949. № 2. С. 86–97.

² Личное сообщение А.С. Кнорозова.

³ Фрэйзер Дж.Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 61–62.

⁴ Там же. С. 62.

⁵ Там же. С. 64.

⁶ Там же. С. 66.

⁷ Там же. С. 70.

⁸ Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995.

⁹ Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

¹⁰ Бурбер М. Два образа веры. М., 1995. С. 346–347.

- ¹¹ *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. М., 1987. С. 222–223.
- ¹² Там же. С. 198.
- ¹³ Там же. С. 193.
- ¹⁴ Там же. С. 196.
- ¹⁵ *Ершова Г.Г.* К проблеме симметрично-асимметричной организации мозга в контексте антропогеоценоза // Мир психологии. 1999. № 1. С. 71.
- ¹⁶ *Тейяр де Шарден П.* Указ. соч. С. 196–197.
- ¹⁷ Там же. С. 223.
- ¹⁸ *Белик А.А.* Культурная антропология. М., 2009.
- ¹⁹ Эти особенности были установлены при определении места религиозного сознания в деятельности человека. См.: *Ершова Г.Г., Черносивтов П.Ю.* Наука и религия: новый симбиоз? СПб., 2003.
- ²⁰ *Богораз-Тан В.Г.* Чукчи. Л., 1939. Т. 2. С. 121.
- ²¹ *Косарев М.Ф.* Основы языческого миропонимания. М., 2003. С. 274.
- ²² *Бехтерев В.М.* Роль внушения в общественной жизни // Избранные труды по психологии личности: В 2 т. СПб., 1999. Т. 2.
- ²³ Русское издание вышло в 1910 г. под ред. С.В. Лурье (репринт в 1992 г.).
- ²⁴ *Джемс В.* Многообразие религиозного опыта / Пер. с англ. В.Г. Малахеевой-Миро-вичь, М.В. Шикъ / Под ред. С.В. Лурье. М., 1910. С. 303–304.
- ²⁵ Появилась целая серия публикаций с результатами этих экспериментов: *Лилли Дж.* Центр циклона. Киев, 1993; *Гроф С.* За пределами мозга. М., 1992.
- ²⁶ Наиболее ярким примером подобного выхода «религиозного опыта» в междисциплинарное пространство стали книги Карлоса Кастанеды с так называемым «учением дона Хуана», где описывались якобы индейские практики достижения ИСС.
- ²⁷ Речь идет о различных «тонких телах» и «излучениях», не имеющих доказательной основы, но обладающих псевдонаучным дискурсом, малопонятным большинству обычных людей. В качестве характерного примера можно привести работу: *Файдых Е.К.* Измененные состояния сознания. М., 1993.
- ²⁸ *Белик А.А.* Психологическая антропология: История и теория. М., 1993.
- ²⁹ Там же. С. 117.
- ³⁰ *Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н.* Пространственно-временные факторы в организации нервно-психической деятельности // Вопросы философии. 1975. № 5; *Они же.* Проблема функциональной асимметрии мозга // Вопросы философии. 1977. № 2; *Они же.* Функциональная асимметрия мозга и индивидуальные пространство и время человека // Вопросы философии. 1978. № 3.
- ³¹ *Ершова Г.Г., Черносивтов П.Ю.* Наука и религия: новый симбиоз? СПб., 2003.
- ³² *Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н.* Левши. М., 1994. С. 129.
- ³³ *Грибак Л.П.* Моделирование состояний человека в гипнозе. М., 1978; *Он же.* Резервы человеческой психики. М., 1987; *Он же.* Общение с собой. М., 1991; *Он же.* Магия био-поля. М., 1994; *Он же.* Гипноз и преступность. М., 1997; *Грибак Л.П., Скрыпников А.И.* Психологические методы активизации памяти свидетелей и потерпевших: Методическое пособие. М., 1997; *Грибак Л.П.* Формирование долголетия в гипнозе // Прикладная психология. М., 1998. № 2. С. 85–93.
- ³⁴ *Налимов В.В.* Непрерывность против дискретности. Тбилиси, 1978.
- ³⁵ *Ершова Г.Г., Черносивтов П.Ю.* Указ соч.; *Ершова Г.Г.* В поисках бессмертия. М., 2009. С. 127–161.
- ³⁶ Подробные результаты проведенного исследования публиковались ранее, в частности: *Ершова Г.Г.* Психология противостояния смерти (феномен бурятского ламы) // Мир психологии. 2008. № 1. С. 262–274.
- ³⁷ Информация об эксгумации тела впервые появилась на НТВ. Затем вышли печатные публикации, многие из которых были выдержаны в ёрническом стиле, что, в частности, свидетельствует о недоверии средств массовой информации к реальности феномена бурятского чуда.
- ³⁸ Журнал Geo (октябрь 2004 г.) опубликовал статью «Тело после смерти», где разместил фотографии Итигелова во время осмотра.

«МОДНОЕ ПЛАТЬЕ» & «КАК РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ»: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Кобозева Зоя Михайловна

Самарский государственный университет,
г. Самара

***Аннотация:** Целью статьи является обоснование возможностей использования междисциплинарных методов при изучении повседневной жизни мещанского сословия в дореволюционной России. Проблемное поле статьи: анализ методов, позволяющих исследовать индивидуальные и коллективные практики сословного существования в ситуации перманентного «диалога» с властью. Их анализ и научное осмысление возможны только при расширении традиционных методов исторического исследования достижениями исследовательской программы «истории повседневности» через реконструкцию социальных практик на микроуровне сословного общества города, семьи и отдельной личности через «языковую картину мира», отраженную в сословном делопроизводстве.*

***Ключевые слова:** мещанское сословие, история повседневности, текст, практики, языковая личность, языковая картина мира.*

Есть разные историки. У историков есть разные темы исследования. Разные темы исследования — опираются на разные источники. Разные источники — предполагают разные методы работы с ними. Но разные историки, с разными темами, с разными источниками и с разными методами — могут быть объединены общим подходом. В подходе к историческому исследованию заключена не только научная «конфессиональность», но и этическая. Нравственная. Во имя чего вообще трудится историк. Мой подход к историческому исследованию, к ремеслу историка определен желанием выхватить из пасти времени «маленького человека» эпохи, сделав его основным героем, субъектом исторического процесса. «Маленькие люди» — не выдумка художников, писателей, поэтов. Не прихоть научной моды. А уж тем более не вожащенное «модное платье», за которым имеет смысл отправиться к методологическим «прилавкам». «Маленький человек» — это любовь и уважение. И совершенное отрицание научного снобизма и формализма. «Маленький человек» — не пешка, не массы, не «движущие силы», не класс, не сосло-

вие, не винтик, не то, чем может пренебречь серьезный теоретик, создающий схемы исторического развития. «Маленький человек» — это тот, кому «большая история» постоянно навязывает свой сценарий. А он его вдумчиво или просто эмоционально прочитывает и принимает решение: как с этим сценарием жить. И если что-то происходит в «большой истории», то это происходит не по прихоти «Великих», а потому что «Маленький» так решил. И если он себя отдал на растерзание совершенно непонятной ему, к примеру, войны, то отдал после мгновения размышлений: следовать правилу или нет, сбежать или остаться, обмануть или быть верным...

«Маленький человек» помещен в те или иные схемы социума, движущиеся подобно огромному искусственному часовому механизму: шестеренки, шестеренки, шестеренки... «Маленький человек» — как мотылек, попавший в это инквизиторское движение. Законы движения часового механизма историку, которого увлекает лишь пульс на неизвестном запястье второстепенной личности, необходимо понять и определить. И появляются «шестеренки»: теория «знания — власти» М. Фуко, теория «социального пространства» П. Бурдьё, теория социальных практик М. де Серто и теория повседневности А. Людке.

«Маленького человека» непривилегированных сословий дореволюционной Российской империи изучать сложнее, чем советского «маленького человека» или «маленького человека» Запада любых эпох. Потому что «маленький человек» в России был не приучен к эпистолярной культуре. Дворяне — приучены. А мещане, купцы, крестьяне — нет. Где же тогда историку взять источники, повествующие о повседневности этих людей? Не в традиционных источниках личного происхождения. Таких практически нет. Остается наделить смыслом «личных» те делопроизводственные документы, которые изобилуют в стране, насквозь пронизанной и контролируемой властью. Эти многочисленные документы государственных учреждений, ответственных за контроль над жизнью «маленького человека», зачастую остаются невостребованными историками именно потому, что «относятся к безызвестным личностям и их обыденным поступкам: покупкам, ремонту, ссорам, отношениям с прислугой, нарушению договоров и проч.»¹.

Перед тем как перейти к анализу «исторического сырья», необходимого для изучения жизни «маленького мещанина» «большой империи», остановлюсь на работе автора, ставившего перед собой такую же, во многом нравственную, задачу. Это монография О.Е. Кошелевой «Люди Санкт-Петербургского острова петровского времени»². Автор начинает свой рассказ с определения его «героев»: «заурядные жители Петербурга», «которые вошли в историю именно потому, что их повседневные

дела, заботы и проблемы были важнейшим компонентом жизни молодого Петербурга»³. Чтобы лучше рассмотреть этого «маленького человека» Петербурга, О.Е. Кошелева выбирает один из районов — Санкт-Петербургский остров и узкие хронологические границы — 1717–1722 гг. Но даже не это самое главное в подходе автора к проблеме «маленького человека». Главное — это эмоциональная составляющая процесса огосударствления территории через жизнь безымянных строителей ее, или, как отмечает О.Е. Кошелева, «как смогли “семена слез” породить “плоды радости”»⁴. А эмоциональность акторов может проявляться только через их язык. Массовый язык, или языковую картину мира низших городских страт России, возможно выявить через делопроизводственный источник. И тогда «отверзутся врата твоя», тогда «маленький человек» «большой империи» получит шанс быть услышанным.

Массовый делопроизводственный источник, если к его анализу подходить с позиций событийных сообщений, может оказаться абсолютно неинформативным. Огромные массивы прошений, жалоб, обращений во власть, писем, записок, просьб составлялись практически по одинаковым принятым в этой среде образцам и заключали в себе «ответы» на «вызовы» сословного статуса, т. е. были реакцией на те условия жизни, в которые был поставлен человек, принадлежащий к определенному городскому сословию, в моем случае к мещанству. Значит, возникает необходимость изменить постановку «вопроса». Интересоваться не событиями повседневной жизни как таковыми, а атмосферой этой повседневности, эмоциональным фоном среды, тактиками и стратегиями повседневного существования в тисках социальной заданности, всевозможными микроскопическими отклонениями от порядка, подтачиванием этого порядка изнутри, «разнообразным и множественным движением внутри социальной ткани»⁵.

В социальной антропологии для решения сходных задач исследователи занимаются этнографической практикой, используя метод «насыщенного описания» (thick description)⁶. К. Гирц в своих рассуждениях отталкивается от мысли о том, что с точки зрения феноменалистического наблюдения, подобного фотографической фиксации, два действия (в частности, смыкание век) могут выглядеть идентичными. Но если в одном случае мы имеем дело с подмигиванием, то это уже жест, крупица культуры. Поэтому описание культуры того или другого социального локуса той или иной эпохи должно быть выполнено с использованием тех конструкций, с помощью которых они сами пытаются объяснить, что с ними происходит: «Описание должно быть выполнено с точки зрения тех интерпретаций, в которые люди облачают свой опыт»⁷. Опасность данного подхода заключается в том, что «в поисках слишком глу-

боку лежащих черепов анализ культуры может утратить связь с прочной поверхностью жизни — с реалиями политики, экономики, социальной стратификации, среди которых люди везде пребывают»⁸. В историческом исследовании, безусловно, эта связь не может быть утрачена. Но «прочная поверхность жизни», безусловно, способна заслонить знание кодов глубинной повседневности, необходимых для интерпретации действия исторического героя. Задача исследователя, по Гирцу, не стать «местными жителями» в рассматриваемую эпоху, а расширить границы разговора или диалога между исследователем и объектом исследования. Историк имеет дело с текстом, т. е. продуктом, уже относительно независимым от реально происшедшего. Каждый человек на протяжении своей жизни или достигнутый в момент подачи «бумаги во власть» переводит «полученное от культурных систем в картину своего внутреннего опыта, в картину субъективной ежедневной реальности, которая таким образом сама становится важнейшей культурной системой»⁹. Метод «насыщенного описания» (thick description) позволяет читать текст медленно, осуществляя «глубокую игру». Важным при таком прочтении становится выявление «языковой личности» мещанина и его «языковой картины мира».

Можно выделить три уровня структуры языковой личности (концепцию языковой личности в отечественное языкознание ввел академик В.В. Виноградов. Далее этой проблемой занимался Ю.Н. Караулов)¹⁰: вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный. Вербально-семантический уровень подразумевает лексикон личности, понимаемый в широком смысле слова, включающий в себя фонд грамматических знаний личности. В этом отношении интересными оказываются те грани мещанских текстов, которые связаны с уровнем грамматических знаний представителей сословия, особенно в так называемый «допечатный период» сословного делопроизводства, который ограничивается второй половиной XIX в., так как в начале XX в. делопроизводство теряет свой характер интимного эпистолярного пространства между личностью и властью, оформленный в виде «диалога с властью». Обращает на себя внимание практически полное отсутствие знаков препинания в источниках. Заглавными буквами выделялись не только имена собственные, но и все значимые для мещан личности, события, действия. То есть заглавная буква служила для авторов неким вторичным смыслом, накладываемым на аутентичный, для акцентирования переживаний, испытываемых создателем текста. Кроме того, обращает на себя внимание отсутствие окончаний в существительных и прилагательных, оканчивающихся на «й». В текстах везде используются окончания на «ю» (например, «пробойною силою»). Лингвокогнитив-

ный уровень представляет собой «образ мира», или систему знаний о мире, которой обладает личность. В этом отношении наиболее ярким примером является употребление одним рядовым мещанином эпохи Первой русской революции слова «микадо», из чего становится понятным, что информационные источники, такие как газеты и журналы, доходили до обывателя в таком количестве, что они ввели в свою повседневную речь титул японского императора. Мотивационный уровень деятельности-коммуникативных потребностей отражает прагматикон личности: систему ее целей, мотивов, установок и интенций. Этот уровень в наибольшей степени позволяет выявить из источника личность социальную. При микроанализе исторического явления особую роль начинает играть семантика, пропущенная через призму текстов. Кроме того, нужно учитывать и экспрессивную лексику, а также другие языковые средства, связанные с эмоционально-оценочными компонентами различных стилей.

В качестве примера можно взять сюжет, связанный с паспортной повседневностью мещан. Социальное пространство, выделенное для каждого сословия, представляло собой в определенной степени «отгороженное место дисциплинарной монотонности»¹¹. Каждому индивиду в этом пространстве отводилось свое место. Несмотря на то что обязанность платить подати была укоренена в сознании мещан, тем не менее экономическое положение большинства представителей данного сословия вызывало затруднения в своевременной уплате денежной повинности. Образовывался своего рода «порочный круг»: без уплаты податей — не выдавался паспорт, а без паспорта — невозможно было найти работу. Выдачей паспортов занимался мещанский староста, к нему обращались мещане с просьбой войти в их положение и помочь с паспортом. «Общение лицом к лицу является главной составляющей всех форм социального взаимодействия вне зависимости от масштабности контекста»¹², при таком взаимодействии на микроуровне особое значение приобретает язык письменных обращений «во власть» как средство передачи смыслов, который индивид берет из своей повседневной рутины. При всей важности подобного источника его достаточно трудно интерпретировать, так как «любой пустячный разговор труден для понимания»¹³. В дореволюционном провинциальном городе мещанский староста был связан с мещанами многочисленными нитями, которые официально не были отражены в законодательном плане. В пространстве империи мещанский староста — маленькая бюрократическая фигура, в пространстве личных и общественных связей провинциального города — это большой человек, от которого зависит судьба мещанской семьи: паспорт, подати, рекрутство. Это доказыва-

ет стиль писем мещан к мещанскому старосте, носящих в середине и практически до конца XIX в. во многом личный характер. Так, например, самарский мещанин Соловьев писал старосте в 1856 г. (сохранена орфография источника)¹⁴: «Милостивый Государь! / Никанор Семенович / Пришла пора немедлинности на пересылку государственных податей, да и правда ныне так долго промедлил, в продчем была тому причина у нас по дому в семействе неблагополучно к большому прискорбию / Почтенная наша маминька покинула нас и оставила навечно, отойдя в Будущий мир 25 декабря Но сколько ни грусти невозвратим этот путь для каждого / итак Милостивый Государь Никанор Семенович всепокорнейшею просьбою обращаюсь к вам на взнос податей при сем посылаю денег с серноводским полицейским солдатом Петром Емельяновым 10 руб. серебром за сей текущий год, а недоимка 7 руб. ...А теперь потрудитесь выправить два паспорта мне и сыну Сашеньке Зделайте милость ради Бога...»¹⁵. Мещанские обращения «во власть», как мы видим из вышеприведенного источника, отличает достаточно сильный эмоциональный фон, в котором преобладают эмоции страха, граничащего с отчаянием, и своего рода крик о помощи. В наступающий век индивидуализма, когда в городском пространстве уже пошатнулись традиционные основы общества — религия и микросообщество (семья, община)¹⁶, мещанское письмо отражает нарастающую тревожность и упование на традицию, выраженную как в патриархальном доверии к общинным лидерам, так и в религиозном сознании, имплицитно присутствующем в тексте письма.

Человеческая субъективность, отраженная в письме, позволяет рассмотреть конкретного индивида в сочетании свойств, приобщающих его к окружающим и отличающих от них. По следующему письму трудно определить возраст просителя, но в любом случае перед нами два самых близких существа, прижавшихся друг к другу на чужбине, мать и сын, чья жизнь опять-таки напрямую связана с паспортом и чиновником самарского пространства, которое они покинули, но с которым продолжают быть тесно связаны «бумажной повседневностью»: «Милостивый государь / Лев Алексеевич / Мы Фалимон Владимиров и моя маминька Марфа Ивановна просим Вас бути так добры для несчастных нас дайте увольнение моей маменьки Марфе ивановой и мы посылаем Вам старый паспорт Вы знаете что жить без всякого вида нельзя будьте так добры пришлите как можно скорее / Пришлите нам в г. Туринск Тобольской губ. Василью Кузьмич Телепневу мещанину»¹⁷.

Система паспортного контроля над населением, отраженная в делопроизводстве дум и управ, позволяет проникнуть и в мир межличностных внутрисемейных отношений мещанства. Так как женщины должны

были вписываться в паспорта своих мужей, то паспорт становился еще одной формой дисциплинарного контроля и проявлений власти, уже не на имперском, а на семейном уровне. Мужья и жены использовали этот механизм для манипуляций своими «вторыми половинами», хотя надо отметить, что зачастую ими управляли не «роковые страсти», а элементарные экономические интересы, связанные с необходимостью выжить, прокормить себя и детей (в отношении женщин, а мужья зачастую демонстрировали свой скверный нрав или ущемленное самолюбие). В 1898 г. самарский мещанин Парамон Прянишников написал заявление на имя мещанского старосты: «Имею честь просить Ваше степенство законной моей жене Елене Васильевне Прянишниковой Невыдавать Положительно ни какого Письменного вида на жительство не только в иногородни места но и в самом городе Самаре без моего на то Письменного согласия или личной явки в Мещанскую управу в следствии ея Елены Прянишниковой безнравственного поведения... (2 февраля 1898 г.)»¹⁸. 8 августа 1898 г. на имя самарского губернатора поступило прошение от самарской мещанки Е.В. Прянишниковой: «Муж мой самарский мещанин Парамон Николаев Прянишников, вот уже четвертый год, как бросил меня, не давая мне не только что на прокормление, но постоянно бил меня, в виду чего и не имея при себе какого либо документа, я нахожусь в крайне безвыходном положении, а потому желая поступить куда либо на место и там добывать себе средства к жизни, я обратилась в самарскую мещанскую управу с просьбой о выдаче мне свидетельства на проживание, но Управа в выдаче мне такового отказала, требуя на то согласие мужа, тогда как я и сама не знаю где он в настоящее время находится. Объяснив такое мое безвыходное положение Вашему Превосходительству я имею честь покорнейше просить о производстве о вышеозначенном полицейского дознания...»¹⁹. 3 сентября 1898 г. из самарского губернского правления в мещанскую управу пришло распоряжение о выдаче мещанке Прянишниковой паспорта, ввиду того, что ее муж «в настоящее время в безвестной отлучке и два года не получал паспорта»²⁰. В 1892 г. в самарскую мещанскую управу поступило заявление от мещанки Ефросиньи Кузьминой Гнеушевой с просьбой вернуть ей блудного мужа, уехавшего вместе с цирком, на основании того, что он проживает без вида на жительство: «Муж мой... в настоящее время как мне известно из письма г. Управляющего Цирком Никитина-Миссури находится в г. Киеве при цирке Никитина шорником без всякого документа на жительство несмотря на то, что мною неоднократно были подаваемы прошения г. Харьковскому и Курскому полицмейстерам, Самарскому и курскому губернаторам и в Самарскую мещанскую управу... Покорнейше прошу Ваше высокоблагородие сделать зависящее распоряжение о

немедленной высылке мужа моего... в Самару как не имеющего никакого вида на жительство...»²¹.

С паспортом связаны и такие «фабульные мотивы» мешанской повседневности, как «покинуть дом» — «вернуться в дом». «Покинуть дом» — «при прохождении определенного жизненного этапа (rite de passage) и обретения нового дома — как совершеннолетие, женитьба, переезд или смерть, или... в результате конфликта — оказавшись беглецом или пленником, или превратившись в бездомного бродягу, или ища себе новый дом; и, наконец... отправившись в гости...»²². «Вернуться в дом» — «...возвращение прежде потерянных членов семьи (как Одиссей или евангельский блудный сын)...»²³. В развитии «русской домашней культуры»²⁴ сложились различные мифологические образы дома, исходя из субкультурной и сословной стратификации общества: усадебный вариант «дворянского гнезда», купеческий дом с его традиционным укладом, «Домострой» и т. д. Миф мешанского дома — ускользящий, не обоснованный в достаточной степени в культуре, за исключением карикатурных деталей: канарейка, фикус, буфет и т. д. Поэтому если рассматривать паспорт не только как документ, удостоверяющий личность, а как символ домашнего мира, как один из элементов микрокосма мешанского дома, то любые события, связанные с паспортом, будут являться своего рода конфликтным пространством, актуализирующим наполнение повседневности событиями, порой носящими драматический характер. Самарский мешанин Иван Николаевич Барышников отправил своему брату Михаилу Николаевичу в г. Енисейск на золотые прииски «купцов Рязановых, Мошаровых и К» полугодовой паспорт через енисейскую городскую полицию. Проходит год. Семья не получает никаких вестей от Михаила. Тогда, понимая, что для проживания вне Самары необходим уже новый паспорт, Иван отправляет еще одно письмо в енисейскую полицию с приложенным к нему письмом от отца. Отец писал: «Милый сын / Во первых строках посылаю тебе свое родительское благословление которое для тебя будет полезно... Я... не могу понять милый сыночек почему я от тебя и до сего времени не могу получить никакой (весточки)... где ты в настоящее время служишь... Это для меня горько...Нынче... я получил сведения о тебе что ты еще существуешь на белом свете, от Ивана максимовича который мне сообщил сведения о тебе, но я милый сын ни письма ни денег ничего от тебя... прошу тебя приезжай ты ради Бога сам хоть избавишь ты меня от престоющей скорби о тебе прими милый сыночек от меня почтение да от брата твоего Ивана Николаевича и супруги Марьи... почтение от сестры брата и супруги... от детей наших почтение...». На конверте отец что-то еще неразборчиво дописал о «проклятой Сибири» и просьба возвращаться домой²⁵. Через какое-то

время письмо отца возвращается из Енисейска в Самару с припиской на конверте: «Михайло Николаевич приказал всем своим знакомым долго жить, который уже помер как год тому назад»²⁶. Иван пишет новое письмо в Енисейск с просьбой разобраться, так как «в справедливости ее (приписки на конверте о смерти Михаила. — З. К.) сомневаюсь, полагаю, что если бы он действительно помер, то хозяева его, вероятно, паспорт его, хотя и просроченный, обратно бы для уничтожения в думу (отправили)»²⁷. Обращает на себя внимание вера мещан в документ. Приписка от неизвестного лица, носящая частный характер, уступает вере мещан в бюрократическую процедуру возвращения паспорта умершего в свое родное мещанское общество. Раз паспорт не вернулся, значит, жив.

Таким образом, языковое поведение мещан, отраженное в делопроизводстве Самарской мещанской управы и связанное с необходимостью получения ими в местах приписки срочных паспортов, показывает широкий спектр эмоционального климата сословной структуры, всевозможные тактики и стратегии действий пользователей «прядка», «способы делания» своей повседневности, «процедуры повседневной изобретательности» внутри «технократических структур». Только с паспортом мещанин мог быть мобилен в своих передвижениях по стране, это было одним из главных факторов, отделяющих легитимное состояние от статуса беспаспортного бродяги. Поэтому ключевыми фигурами мещанской повседневности становились в XIX в. мещанские и городские управленцы. В этих вопросах сословное делопроизводство особенно проявляет себя как «эго-источник», так как оно наполнено жизненными историями мещан, оказавшихся без «вида на жительство» и апеллирующих к своей сословной власти за помощью. Именно в отношении «паспортной повседневности» проявляет себя чувственно-эмоциональное восприятие мещанами своего сословного статуса, связанного с прикреплением к определенному месту, отношение к идее власти как «дисциплинарного пространства» и практики «освоения» его. Даже после отмены для мещан срочного паспорта и появления возможности обратиться в полицию по месту жительства они продолжали идти в управу по месту приписки.

¹ Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова петровского времени. М., 2004. С. 17.

² Там же.

³ Там же. С. 15.

⁴ Там же. С. 426.

⁵ Серто М. де. Изобретение повседневности. Искусство делать. СПб., 2013. С. 31.

⁶ Гириц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 12.

⁷ Гирц К. Интерпретация культур. С. 22.

⁸ Там же. С. 39.

⁹ Там же. С. 546.

¹⁰ Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.

¹¹ Там же.

¹² Гидденс Э. Социология. М., 2005.

¹³ Там же. С. 84.

¹⁴ И. В. Нарский в разделе «Технические замечания», предвещающем его монографию «Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917—1922 гг.», замечает, что «при обилии развернутого цитирования, оправданного неизвестностью большинства документов и жанром самого исследования, описки, опечатки, грамматические и пунктуационные ошибки исправлены без оговорок...» (*Нарский И. В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917—1922 гг. М., 2001. С. 8*). Мы же сознательно сохраняем орфографию источника, в частности, того эпистолярного наследия мещанства, которое оказалось сохраненным в составе делопроизводственной документации, так как практически нет другого пути уловить вербальные особенности мещанской речи.

¹⁵ ГУСО ЦГАСО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 26. Л. 4(а) — 4(б) (об.).

¹⁶ Платнер Я. Эмоции в русской истории // Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций. М., 2010. С. 16.

¹⁷ ГУСО ЦГАСО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 26. Л. 1403.

¹⁸ Там же. Д. 306. Л. 17.

¹⁹ Там же. Л. 20.

²⁰ Там же. Л. 18.

²¹ ГУСО ЦГАСО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 270. Л. 36.

²² Баак Й. ван. Дом и мир // Антропология культуры. М., 2005. Вып. 3. С. 67.

²³ Там же.

²⁴ Там же. С. 69.

²⁵ ГУСО ЦГАСО. Ф. 170. Оп. 6. Д. 621. Л. 215—217.

²⁶ Там же. Л. 217.

²⁷ Там же. Л. 215—215 (об.).

ИСТОРИЯ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАУКИ И ИСКУССТВА¹

Малинов Алексей Валерьевич

Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

***Аннотация:** Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть специфику или «сущность» истории в связи с другими науками, как социогуманитарными, так и естественными. История изучает общество и человека в прошлом и в развитии. История существует на стыке прошлого и настоящего; соединяет онтологическую данность факта с интерпретационным потенциалом современности. История дает возможность в череде фактов и калейдоскопе событий увидеть смысл. Однако прошлое опосредовано источником, который изначально уже обременен смыслом, предыстолкован. На их основе, посредством интерпретации, он конституирует новые смыслы. Итогом исследовательской работы историка, таким образом, тоже являются смыслы и значения, только выраженные в иной форме — повествовательной.*

***Ключевые слова:** история, смысл, человек, общество, развитие, реконструкция, повествование.*

Ответ на вопрос «Что есть история?» полнее всего раскрывается через саму историю. Определение истории может страдать односторонностью, в то время как история истории наиболее адекватным образом демонстрирует сущность самой истории.

Объектом изучения истории является общество и человек не только в своих материальных, но и духовных проявлениях. Здесь интерес историка совпадает с исследовательскими областями других дисциплин: социологии, политологии, демографии, экономики, юриспруденции, искусствознания, психологии, антропологии, философии, языкознания. Однако имея общий объект, эти науки различаются по своему предмету, т. е. теми специфическими сторонами и отношениями индивидуальной и общественной жизни, которые они изучают. Так социология исследует прежде всего наличное состояние общества, его структуру и отношения, тенденции развития, позволяющие делать прогнозы о его возможных изменениях. Долгое время социальная динамика отождествлялась с историей. Политология главным образом сосредоточена вокруг вопроса о власти. Экономика изучает систему производства, распределения и потребления материальных благ. Демография изучает состав, структуру и меха-

низмы воспроизводства населения, а юриспруденция — нормы, регулирующие жизнь людей. Психология постигает индивидуальное и коллективное поведение человека. Предмет же истории — прошлые состояния общества и человека.

Прошлое — вотчина исторической науки. Обращение других наук к истокам и генезису своего предмета позволяет говорить об историческом измерении в этих науках, об использовании исторического метода. С этой точки зрения исторически метод универсален, он применяется во всех социогуманитарных дисциплинах.

Однако история изучает общество не только в его прошлом, но и в развитии. Здесь история находит точки соприкосновения с естествознанием, ведь развивается как общество, так и природа, следовательно, можно говорить об истории природы. Точные науки, изучающие явления в развитии, выработали количественные методы постижения природы, которые могут применяться и для исследования общества: методы математики в клиометрии, физики в археометрии, гелиобиологии в историометрии. Комплексность предмета исторического исследования определяет и его междисциплинарный характер².

Немало точек соприкосновения история имеет с философией. Философия предпринимает попытки осмысления как исторического бытия (в онтологии истории, теории исторического процесса), так и исторического познания (в гносеологии истории, методологии истории). Социальная философия изучает общественные идеалы не только в сущем, но и в должном (утопия) и в прошлом. Аксиология — учение о ценностях — позволяет лучше понять ценностное содержание жизни и особенности оценочных суждений в истории, а логика раскрывает структуру исторического рассуждения в целом. Эстетика описывает прошлое как эстетический артефакт и художественное произведение. Ближе всего к истории подходит история философии, во многом совпадающая с историей идей, историей общественной мысли, историей мировоззрений, историей науки. В то же время между историографией и историей философии есть важное различие. Даже если историка и историка философии интересует один и тот же сюжет, они подходят к нему с разных сторон. Историк обращает внимание на детали биографии мыслителя, обстоятельства создания произведения, индивидуальный облик события, новые сведения, архивные данные, пусть даже они не дают принципиально новой информации. Историк философии, напротив, довольствуется уже известными фактами и источниками. Главное для него, чтобы в них полнее была представлена идея, мысль автора, его учение. Если новые источники не меняют принципиально наши знания о концепции, то ими можно пренебречь. Историк, таким образом, подходит к предмету

своего учения со стороны частного, а историк философии — со стороны общего, идеи. Итак, предмет истории — общество и человек в их прошлом и в развитии.

От других социальных наук историю отличает временная модальность. Однако само прошлое, а вместе с ним и история, могут иметь место только благодаря современности. К истории относится то, что не есть современность, что лишено настоящего. Только настоящее является *настоящим*, т. е. подлинным и действительным бытием. История лишена этой непосредственной достоверности, может быть заподозрена в своей подлинности, может быть дискредитирована фальсификациями, «новой хронологией» и проч. Где проходит граница между историей и современностью? Что уже можно считать историей, а что еще нет? Ответ на эти вопросы каждый исследователь дает самостоятельно. Историей становится такое событие, смысл которого исчерпан и последствия которого достаточно очевидны. В разные эпохи граница истории имела различные временные параметры. Так, долгое время верхняя граница исторического изучения совпадала с первыми веками нашей эры, т. е. эпохой становления христианства. Например, немецкий историк Г.З. Байер, служивший в первой трети XVIII в. в Петербургской академии наук, ограничивал русскую историю повествованием о скифах, сарматах и киммерийцах, т. е. племенах, живших на территории России в первые века нашей эры. Когда же другой немецкий историк, также служивший в Петербургской академии наук, А.Л. Шлецер, стал заниматься историей Средних веков, то это был научный скандал. Изучать Средневековье считалось неприличным для настоящего ученого. Приближаясь к современности, политическая история приходила в соприкосновение со сферой государственной тайны и уже подлежала запрету.

В то же время и не всякое прошлое может стать историей. Внутри самого прошлого необходимо провести демаркацию, отделяющую историю от не-истории. Так, вплоть до XX в. изучение повседневной жизни людей прошедших веков не считалось делом, достойным внимания историка.

Прошлое отмеряется от настоящего, а история воспринимается как инобытие современности. Настоящее вглядывается в прошлое и тем самым лучше познает самое себя. История как знание о прошлом тесно связано с настоящим, причем эта связь взаимна. Прошлое необходимо для того, чтобы лучше знать и понимать настоящее, вырастающее из этого прошлого, укорененное в нем, а настоящее необходимо для того, чтобы понимать прошлое, ведь наше познание истории направлено от настоящего к прошлому; мы проецируем смыслы, понятия, идеи, категории нашего настоящего на прошлое и тем самым познаем его. Прош-

лое само по себе не имеет никакого интереса и ценности. Прошлое-в-себе недоступно и непознаваемо. История — это прошлое-для-нас.

Познание истории невозможно вне оценочных суждений. Историческая оценка производится приписыванием явлению таких предикатов, как «положительный», «отрицательный», «прогрессивный», «регрессивный», «роль», «значение» и т. п. Оценка зависит от интересов и предпочтений как самого историка, так и той социальной группы, к которой он принадлежит. Вне оценки факт, как объект исторического исследования, не существует³. Мы оцениваем прошлое по мерке настоящего и, наоборот, постигаем настоящее на основе нашего знания истории. В последнем случае история судит и оценивает настоящее, выступая, по словам Цицерона, как *magistra vitae*. Из всего прошедшего история выбирает и фиксирует лишь то, что значимо для людей, что имеет смысл. Причем эта значимость прошлого — двоякого рода. Во-первых, это то, что имело значение, было важно для людей изучаемой эпохи, а во-вторых, то, что представляет интерес для современности. Одной ногой история опирается на факты — данность прошлого, другой — на смыслы, достояние настоящего.

История, таким образом, существует на стыке прошлого и настоящего; соединяет онтологическую данность факта с интерпретационным потенциалом современности. История позволяет увидеть смысл в том, чего уже нет, заглянуть за грань бытия, сделать уже-несущее частью осмысленного настоящего. Границы смысла — границы истории. История дает возможность в череде фактов и калейдоскопе событий увидеть смысл.

От большинства социогуманитарных дисциплин историю отличает недоступность ее предмета непосредственному наблюдению. Мы признаем, что история существует (была) на самом деле, что определенные события имели место, но реальность этих событий нам недоступна. Французский историк М. Блок уподоблял историка следователю. «Мы, — писал он об историках, — играем роль следователя, пытающегося восстановить картину преступления, при котором сам он не присутствовал, или физика, вынужденного из-за гриппа сидеть дома и узнающего о результатах своего опыта по сообщениям лабораторного служителя»⁴. Впрочем, если продолжить аналогию, то можно заметить, что историк может быть не только следователем, но и судьей, и обвинителем, и защитником. Между историком и прошлым стоит источник. История — это прошлое, опосредованное источником, материальным или духовным.

Однако источник всегда обременен смыслом, проинтерпретирован его автором или авторами. Духовные источники содержат информацию, в них вложен определенный смысл. Материальные источники создава-

лись с конкретными целями, т. е. тоже имеют значение, смысл для человека, тоже содержат информацию. Историческая реальность маячит лишь на онтологическом горизонте исследовательской работы историка. Историк исходит из убеждения в реальности описываемых событий. Онтологичность истории относится к области исследовательской аксиоматики, она не доказывается и не достигается в процессе работы.

Философы нередко сетуют на то, что полнота знания о прошлом недостижима; мы никогда не будем знать о прошлом всё; все факты никогда не будут известны. Если историк будет искать только факты, то его аналитическая работа никогда не перерастет в синтетическую. Русский философ П.Я. Чаадаев, внук известного историографа кн. М.М. Щербатова, даже полагал, что в этой ситуации не нужно стремиться к новым фактам. Любое их количество будет недостаточно с точки зрения полноты исторической реальности, а потому перед философом истории стоит задача осмысливать те факты, которые уже известны (имеющиеся факты дают достаточно материала для такого осмысления). Другой современник П.Я. Чаадаева, министр народного просвещения С.С. Уваров, указывал, что уже к середине XIX в. объем исторического материала и содержащейся в нем информации превысил аналитические и интерпретационные возможности отдельного исследователя. Одному ученому не по силам в пределах своей жизни охватить все многообразие имеющихся сведений. Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, принципиальная фактологическая неполнота истории, с другой — информационная избыточность исторического материала. Вывод, сделанный С.С. Уваровым, совпадал с заключением П.Я. Чаадаева: истории следует осмыслять и обрабатывать уже имеющийся материал, а не гнаться за новыми открытиями.

Историк, в конце концов, имеет дело со смыслами и значениями, заложенными в источниках. На их основе посредством интерпретации он конституирует новые смыслы. Итогом исследовательской работы историка, таким образом, тоже являются смыслы и значения, только выраженные в иной форме — повествовательной.

Английский историк и философ Р.Д. Коллингвуд замечал, что перед историком стоит задача не только восстановить, по словам Л. фон Ранке, «как на самом деле было», но и понять, что это было. Последний вопрос и есть вопрос о смысле или сущности истории. Обладающий смыслом фрагмент исторического бытия историк изыскивает в понятии *события*. Между бытием и смыслом нет непроходимой границы, как между декартовскими *res cogitans* и *res extensa*. Их единство фиксируется в тавтологических формах нашего языка. Бытие есть наличие, присутствие смысла, а смысл неотделим от его выражения, т. е. бытийного присутст-

вия, проявления его в ином. История лучше всего иллюстрирует смысловую природу бытия, ведь смысл всегда *настоящ*, он есть настоящее, фиксируемое нашим сознанием в виде акта смыслопорождения. Все настоящее — только смысл. В мире есть только смысл и разные формы его проявления. История же демонстрирует эту тотальность смысла тем, что смысл присутствует там, где практически не осталось материальных форм. Историк обнаруживает смысл в прошлом — инобытии настоящего, поэтому настоящность прошлого, «всамделешность» истории — это ее смысл. Смысл и есть бытие истории.

Понятие события скрывает в себе и временную модальность истории. Событие — смысловой фрагмент реальности, но оно необязательно означает однократный момент. Историческое событие может быть протяженным во времени и пространстве, может иметь разные степени интенсивности. Событие — это смысловая, а значит, качественная характеристика исторического бытия. Событие доступно интерпретации, посредством которой и вскрывается его смысл. Возможность истолкования заложена в самой эйдетической структуре события. Реальность (присутствие) смысла можно выразить формулой: смысл есть во всем, что нам понятно. Верно и обратное утверждение: смысл — это условие возможности понимания. Ответ на вопрос: как возможно познание истории (исторического бытия) предполагает интерпретируемость прошлого, наличие в нем смысла. Однако смысл исторического события «больше» того момента исторического бытия, выражением которого оно является. Смысл события охватывает и его последствия, а значит, выходит за пределы ограниченного временного и пространственного момента. След исторического события можно провести вплоть до современности. Событие, таким образом, связывает по смыслу прошлое с настоящим.

Историческое событие раскрывает еще одну сторону истории. Мы говорим, что история совершается, происходит, что история изучает развитие общества и человека. Событийность истории уточняет, что история — это дискретный процесс. Исходя из дискретности истории, становится возможна ее периодизация. Событие — результат различения; в качестве смысловой определенности оно имеет свои пределы, позволяющие отличать одно от другого. Событие — контрапункт истории. Различие исторических событий — это различие их смысла. При этом необходимо иметь в виду, что смысл в истории «очищен» от «иноного», свободен от материальной формы. Но смысл не может быть вне выражения. Для истории таким выражением будет событие — смысловой конструкт, бытийствующий через язык и повествование.

Считается, что в изучении истории существует два подхода, две установки. Полнее всего они проявляются в истории культуры. Первая из

них предполагает познание прошлого из него самого, т. е. посредством понятий, идей и ценностей самой изучаемой эпохи. В этом случае историческая эпоха воспринимается в качестве замкнутой внутренней целостности. Вторая установка означает познание прошлого, исходя из исследовательских нужд и приоритетов современности. Здесь историческое явление оценивается с точки зрения известных исследователю последствий, результатов исторического события; используются понятия и категории современной ученому науки. Однако при всей ясности такого методологического дуализма нерешенным остается вопрос: на каком языке будут выражаться идеи и понятия ушедшей эпохи и что представляет собой язык современной историку науки?

Историк пользуется естественным языком, тогда как точные науки выработали искусственные языки, применяют формализацию знания. На естественном языке человек мыслит, переживает, любит, ненавидит и т. д. Все это входит и в язык историка, который не может окончательно отстраниться от смыслового богатства языка.

Невысокий уровень абстрагирования и низкая степень формализации языка, при помощи которого историк познает прошлое, порождает сомнение в научной состоятельности истории. Ценность науки не оспаривается в современном сциентистски-утилитарном обществе. И если история не способна окончательно формализовать свои знания, то она утрачивает право на владение истиной. Вместе с этим далеко не все стороны жизни доступны научному объяснению. Так, например, любовь — не наука, но это не принижает ее значение в жизни человека. Объясняться в любви языком формул можно лишь в мире, полностью лишенном качественных характеристик. Историческое же исследование остается прежде всего качественным.

Этим объясняются и особенности понятий и категорий, которыми пользуется историк. Как правило, эти понятия полисемантически (можно указать даже на многозначность самого термина «история»), их значения часто задаются контекстом исследования, а не составляют исходную аксиоматику теории. В основном это понятия с открытым объемом, который может дополняться, а сами понятия доопределяться в зависимости от специфики исследования. Часто в истории используются понятия, заимствованные из других социогуманитарных наук, которые приносят свой шлейф значений и истолкований. Определение исторических понятий в большинстве случаев дается посредством экзemplификации, т. е. перечислением тех явлений, событий, процессов, которые входят в его содержание, которые релевантны термину или имени понятия.

Специфической формой познания мира, которой пользуется историк, является повествование. Познавательная функция нарратива не до

конца сознается современной наукой, а ведь повествование — древнейшая форма познания и определения мира, дискредитированная в своих эпистемологических возможностях нововременным калькулирующим мышлением. Конкуренция исчисления и рассказа имеет давнюю историю. Исчисление замкнуто на себя, самодостаточно; ему доступны лишь конечные истины, в то время как рассказ нуждается в *другом*, имеет адресата, всегда предназначен для кого-то или чего-то, т. е. имеет цель, стремится выйти за свои пределы. Рассказ — одно из исходных значений слова «история». Неслучайно работа историка завершается рассказом, и это нельзя считать недостатком. Напротив, историческое исследование, в котором повествовательное начало проявлено недостаточно, исследование, преимущественно состоящее из таблиц и схем, оставляет впечатление недосказанности, незавершенности, воспринимается как подбор материала, типологий и частных обобщений, требующих дальнейшего осмысления и качественной интерпретации. Итогом работы историка является смысловая реконструкция прошлого в виде рассказа. Повествование является той формой, в которой осуществляется смысловая реконструкция.

Повествовательность сближает историю с творчеством, ставя лучшие образцы историографии в один ряд с произведениями искусства. Творчество же означает создание нового, смысловое восполнение бытия, наращение бытия. Чем же обогащает историк мир, что он вносит в повседневную жизнь? Историк насыщает настоящее ценностью прошлого, привносит в наличное бытие смысловую глубину, дополняет обыденный опыт опытом прошедших веков. Конечно, наррация, раскрывая перед историком смысловые перспективы, диктует ему и способы смыслообразования, часто ведет историка за собой, подчиняет исследование повествовательным структурам смысла. Сопротивляться им бесполезно. Перед историком стоит задача использовать эти структуры для достижения своей цели — постижения мира, в котором есть человек. Успех этого дела во многом зависит от широты общей культуры историка, от степени владения им языком и даже от обладания литературным даром.

¹ Статья подготовлена при поддержке РФНФ (грант № 15-03-00488).

² *Хвостова К.В., Финн В.К.* Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997. С. 12.

³ *Лантвева М.П.* Теория и методология истории. Курс лекций. Пермь, 2006. С. 203.

⁴ *Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 30.

ТРУДОВАЯ ЭТИКА РОССИЙСКОГО РАБОТНИКА: XIX—XX вв.

Мионов Борис Николаевич

Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский институт истории РАН,
г. Санкт-Петербург

***Аннотация:** В статье изучается изменение трудовой морали российских крестьян и рабочих в течение двух столетий. Общая тенденция состояла в трансформации минималистской, или субсистенциальной, в протестантскую, или буржуазную, трудовую этику.*

***Ключевые слова:** Россия, трудовая этика, крестьянство, рабочий класс, бюджет времени, праздники и будни, рабочее и нерабочее время.*

Трудовая этика определяет место труда в системе ценностей человека, а также отношение к труду, на который можно смотреть с уважением или презрением, как на благо и радость или наказание и источник страдания. Она имеет исключительное значение для экономического прогресса, роста производительности труда и благосостояния населения, оказывает влияние на все социальные, политические и экономические практики. Некоторые дореволюционные российские ученые называли ее четвертым фактором производства после известных трех — земли, труда и капитала. «Выгодное для большинства народа устройство его быта зависит больше от качества самих людей, нежели от государственных форм», — писал известный русский экономист И.И. Янжул¹. Отечественные обществоведы сравнительно недавно обратили внимание на важную роль трудовой этики в экономическом и социально-экономическом развитии², в зарубежной историографии эта проблема возникла со времени выхода в свет книги М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» в 1905 г.³

Можно идентифицировать три идеальных типа трудовой этики: 1) максималистская, буржуазная, или протестантская, 2) минималистская, или субсистенциальная (англ. subsistence — средства к существованию) и 3) гедонистская. В литературе широко используется понятие протестантской трудовой этики, распространенной в буржуазных обществах, и мало внимания уделяется двум другим типам. Согласно протестантской морали, труд — смысл жизни, а не средство добывания пропитания. Честная и добросовестная работа, рвение и рациональная организация труда,

отвращение к показной роскоши, аскетизм — добродетельны. Предпринимательство рассматривается как нравственно оправданная, общественно полезная и жизненно необходимая деятельность. Материальный успех — критерий усердности и добросовестности; богатство — свидетельство хорошо исполненного долга перед Богом. Протестантская трудовая этика ориентирует человека на достижение максимально возможного результата в своей работе, на получение максимального дохода, превышающего потребление, а предпринимателя — на максимальную прибыль в рамках существующих законов, на экономию ресурсов ради инвестиции их в производство⁴.

Именно протестантская трудовая этика, по мнению М. Вебера, создала новый этический климат в обществе, сформировала в людях особое отношение к трудовой и предпринимательской деятельности и массу положительных качеств: выдержку, ответственность, инициативу, реализм, целеустремленность, добросовестность, рачительность, трудолюбие, честность, расчетливость⁵. Однако многие историки негативно относятся к теории Вебера. Протестанты не согласны относить все пороки, сопутствующие капитализму, на счет кальвинизма. Католики критикуют Вебера за то, что он принижает роль католицизма в экономическом прогрессе Европы. По мнению ряда исследователей, концепция Вебера не поддерживается историческими фактами. Социологи подчеркивают методологическое значение протестантской этики как пример «идеального типа»⁶.

Субсистенциальная трудовая мораль, распространенная в традиционных обществах, представляет собой противоположность протестантской. Труд — не цель и смысл жизни, а средство добывания пропитания, необходимость, в христианских обществах — наказание за первородный грех. Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:19). «Божественное правосудие наказало человека за его преслушание, как то: изнурительные труды, скорби, телесные немощи, болезни рождения, тяжкая до некоторого времени жизнь на земле, странствования, и напоследок телесная смерть» — говорилось в Послании Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере в 1723 г.⁷ Работать следует до удовлетворения скромных потребностей в питании, одежде и жилище, весь доход тратить на потребление и не стремиться к накоплению. Традиционное общество с подозрением относится к обогащению путем интенсивного труда и не считает предпринимательство добродетельной и достойной деятельностью. Прибыль — греховна, поскольку получается за счет обеднения других.

В постмодерн-потребительском обществе широкое распространение получила гедонистическая трудовая этика. Согласно ей, работа —

средство получения высокого дохода, который следует тратить на престижное и приятное потребление — на хорошую еду и дорогие напитки, на комфортное жилье и красивый автомобиль, на развлечения и безмятежный отдых. Шопинг и потребление, наслаждение телесным и интеллектуальным — самое приятное времяпрепровождение.

Какой трудовой этики следовал российский крестьянин в XIX — начале XX в.?

Трудовая этика включает много аспектов, соответственно, и критерии для оценки ее могут быть разные⁸. В докладе я попытаюсь оценить отношение к труду через бюджет времени (табл. 1).

Таблица 1

**Использование годового фонда времени крестьянином рабочего
возраста в 1850–1900-е гг.**

Виды затрат	1850-е	1880-е	1900–	в % от распределенно-		
	гг.	гг.	1904 гг.	го времени		
	дней	дней	дней	%	%	%
Полеводство	135	124	107	42	37	30
Промыслы	5	19	36	2	6	10
Домашняя работа	14	14	14	4	4	4
Итого производственная деятельность	154	157	157	48	47	44
Натуральные повинности	32	32	32	10	10	9
Непогода	20	20	20	6	6	6
Общественная работа	12	12	12	4	4	3
Поездка на ярмарку и базар	4	6	8	1	2	2
Болезни	3	3	3	1	1	1
Воскресенья и праздники	95	105	123	30	31	35
Итого распределенное время	320	335	355	100	100	100
Нераспределенное время	45	24	10	12*	7*	3*

* В % к годовому фонду времени.

Как получены эти цифры?

Праздники

Все празднично-воскресные дни в России разделялись на три группы: 1) воскресенья, 2) официальные государственные и церковные праздники и 3) народные, так называемые храмовые, или бытовые. Различия бюджетов времени между отдельными общинами, так же как и в отдельные периоды, определялись преимущественно бытовыми праздниками. Многие из них возникали по самым разным обстоятельствам, весьма важным с точки зрения крестьянства — открытие в деревне церкви или написание новой иконы, прекращение благодаря когда-то произведенному коллективному молебну, как считали крестьяне, засухи, града, дождя, пожара и др. Эти праздники становились ежегодными и закреплялись обычаем данной местности. Вследствие этого происходила их аккумуляция, что приводило к постепенному увеличению их числа⁹.

Три замера числа праздничных дней относятся к 1850-м, 1872 и 1904 гг. Для середины XIX в. данные получены: 1) по сведениям прессы, добровольных корреспондентов Русского географического общества, 2) по материалам, собранным в 1872–1873 гг. Высочайше учрежденной Комиссией для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России¹⁰. Комиссия собрала письменные сведения от 958 священников, губернских и уездных предводителей дворянства, местной администрации, хлебных торговцев, землевладельцев, управляющих имениями, проживающих в 41 губернии Европейской России. Им предлагалось высказаться по вопросам анкеты, включавшей 268 пунктов, в том числе на 62-й вопрос: «Увеличилось или уменьшилось в последнее десятилетие и насколько число рабочих дней в зависимости от праздников? Увеличилось ли число прогульных дней? Сократилось или увеличилось вообще рабочее время у сельского населения?» Приглашенные эксперты оценивали число праздников в 1872 г. сравнительно с дореформенным уровнем. Обобщение этих сведений дает число празднично-выходных дней в канун отмены крепостного права как 95¹¹.

Еще более внушительную коллекцию сведений о числе праздников собрало Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности (далее — Совещание 1902 г.). Правительство создало его для получения объективной картины состояния сельского хозяйства. Было образовано 83 губернских и 535 уездных и окружных комитетов, включавших в общей сложности 13 490 лиц, среди которых были помещики (26%), чиновники (25%), земские деятели (22%), крестьяне (17%), представители сельскохозяйственных обществ, специалисты по сельскому

хозяйству (агрономы, землемеры и т. п.) и предприниматели (10%). Обобщение сведений, сообщенных экспертами, привело к выводу: за 30 лет, 1873—1902 гг., число празднично-выходных дней возросло на 18 и составило в среднем по Европейской России 123 дня¹².

Число рабочих дней

Крестьяне работали в поле, на наделной общинной земле вместе с другими членами общины и на приусадебном участке, находившемся в полном их распоряжении, где они не были связаны принудительным севооборотом. Дополнительно к земледелию они держали скот и птицу и занимались промыслами в своем хозяйстве, а некоторые, число которых со временем увеличивалось, и за пределами своей деревни. Немало времени расходовали на домашнее хозяйство (всех работ не перечислить, поскольку крестьяне вели полунатуральное хозяйство и большую часть предметов своего потребления изготавливали сами). В крепостной период владельческие крестьяне, находившиеся на барщине, работали половину времени на помещика; оброчные крестьяне свою повинность перед помещиком, а казенные перед государством выполняли посредством оброка. Дифференцировать затраты труда на эти многочисленные занятия крайне затруднительно, потому что в крестьянском хозяйстве они были переплетены, взаимно увязаны и обусловлены; сферы труда и отдыха разграничивались условно и недостаточно четко. Я попытался сначала оценить только ту часть годового бюджета времени, которая расходовалась исключительно на работу в земледелии (посев, обработка поля, посев, уход, уборка и т. п.), поскольку на нее уходили целые рабочие дни и подсчитать их число возможно.

Начну с 1850-х гг. В ходе подготовки законодательства по отмене крепостного права Губернские дворянские комитеты доставили в Редакционные комиссии сведения о барщине и оброке по всем 44 губерниям Европейской России, где имелись крепостные. Общее число барщинных рабочих дней, приходившихся на одно тягло, включавшее одного мужчину и одну женщину, в год составило 70 дней¹³. Это и было принято за единую для всей России норму компенсационных рабочих дней за барщину, ставшую законом: за высший душевой надел крестьяне обязаны отработывать 70 рабочих дней в год — 40 мужских и 30 женских¹⁴.

Если в первой половине XIX в. половину рабочих дней помещичьи крестьяне по закону отдавали своему владельцу¹⁵, то на работу на себя они должны были затрачивать тоже 70 дней. Рабочих дней в году не более 140, из них на помещика — половина, засвидетельствовал сельский священник Нижегородской губернии¹⁶. Но в своем хозяйстве крестьянин трудил-

ся производительнее. Кроме того, он нуждался во времени для занятия домашними промыслами. Поэтому полевые работы и сенокос поглощали у него меньшее число рабочих дней — примерно 65, а всего вместе с барщиной или оброком — около 135 дней. Пять дней оставалось для промышленной деятельности, не связанной с сельским хозяйством. Число рабочих дней в конкретном году зависело от погоды и обстоятельств жизни общины и отдельного крестьянского хозяйства, поэтому в 1850-е гг. колебалось в пределах от 120 до 150 дней. В середине XVIII в. число рабочих дней, затрачиваемое на полеводство и сенокос, оценивается приблизительно в 130–140¹⁷. Таким образом, 135 дней — это примерная ориентировочная оценка того числа рабочих дней, вокруг которого варьировалось фактическое число рабочих дней, затрачиваемых помещичьими крестьянами на полеводство в XVIII — первой половине XIX в.

У государственных крестьян бюджет рабочего времени был примерно таким же. Как показали результаты работы специальных кадастровых комиссий Министерства государственных имуществ в 1850-е гг., которые захронометрировали трудовые затраты в казенных имениях Европейской России, на обработку земли, находившейся в пользовании крестьянского двора, требовалось от 120 до 150 дней, в среднем 135 дней в год¹⁸. После удовлетворения этой потребности оставался значительный резерв рабочей силы. Например, в 1850-е гг. в Костромской губернии избыток рабочей силы, считая только работников-мужчин, достигал 37% от всех работников мужского пола, во Владимирской губернии — 45%¹⁹.

В пореформенное время число рабочих дней, затрачиваемое на полеводство, уменьшалось вследствие роста производительности труда и уменьшения пашни на душу крестьянского населения — в 1880-е гг. до 124, в 1901–1910 гг. до 107 (табл. 2).

Таблица 2

**Трудовые издержки в полеводстве Европейской России в 1880-е
и 1901–1910 гг.**

	1880-е гг.	1901– 1910 гг.
Посевная площадь главнейших полевых произведений, млн десятин	67,8	74,5
Площадь лугов, млн десятин	7,5	24,8
Издержки труда на обработку и уборку десятины зерновых, человеко-дней	31,5	31,5
Издержки труда на обработку и уборку десятины лугов, человеко-дней	7,8	7,8

Всего издержек труда на полеводство, млн человеко-дней	2135,7	2542,1
Число работников мужского пола среди крестьянства, млн	17,6	23,7
Рабочих дней на одного работника, необходимых для обработки земли и уборки урожая	124	107

Подсчитано по: **Посевная площадь**: Свод 1906. Т. 1: 41; Сб. сведений 1884: 32–33; Сб. стат.-экон. 1916: 32–33, 84–85. **Трудовые издержки**: Временник 1893: 1–43; Материалы 1903: 81–85, 230–231; Стоимость 1915: 368–375, 384–391, 408–415, 424–431. **Число работников**: Статистика 1914: 16; Временник 1893: 2; Материалы 1903: 81–85; Общий свод 1905: 64–67; Свод 1906. Вып. 1: 17; Статистика 1907: XXIV–XXV, XXXVII–XXXVII.

«Свободное» от сельскохозяйственных работ и праздников время

Исключив из годового календарного фонда времени воскресенья, праздники и рабочие дни, затрачиваемые на полеводство, в 1850-е и 1900-е гг. остается примерно 135 дней, которые уходили на удовлетворение всех оставшихся потребностей, главным образом на домашнюю работу, непогоду, болезни, общественные дела, торговые операции (поездки на ярмарку и базары). Их количество изменялось в зависимости от конкретных обстоятельств каждого года, но в определенных пределах. Я приблизительно распределил эти «свободные» дни по отдельным категориям бюджета времени в 1880-е гг. Предполагаю, что в течение всего XIX в. они были примерно такими же, за исключением времени, расходуемого на неземледельческие промыслы (табл. 3).

Таблица 3

Использование крестьянами годового календарного фонда времени, оставшегося после исключения воскресений, праздников и рабочих дней, затрачиваемых на полеводство, в 1880-е гг.

Виды затрат времени	Дней
Натуральные повинности, в том числе:	32
подводная	8
квартирная	8
дорожная	6
караульная	6

полицейская	4
Непогода	20
Неземледельческие промыслы	19
Домашняя работа	14
Общественная работа (заседания схода, суда стариков и т. п.)	12
Поездка на ярмарку и базар	6
Болезни	3
Итого	106
Нераспределенные	30

Подсчитано по: **Натуральные повинности**: Временник 1889: 5, 6, 12–13, 16, 24–25; Стат. мат. 1886; **Неземледельческие промыслы**: Материалы 1903: 215–245; **Непогода**: *Веселовский* 1857; *Вильсон* 1869: 33; *Таргонский* 1895: 1–59; **Домашняя работа**: *Чаянов* 1989: 236; **Болезни**: Щербина 1897: 360.

Данные получены следующим образом. В Министерстве внутренних дел в 1888 г. все натуральные повинности были оценены и переведены на деньги. Разделив эту сумму на число крестьян-работников мужского пола и затем на величину поденной оплаты пешего работника мужского пола, получим трудовой эквивалент этих повинностей — 32 дня.

Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 по 1900 г. благосостояния сельского населения собрала сведения о числе крестьян, занимавшихся промыслами, и их заработках. Разделив сумму, заработанную в неземледельческих промыслах, на число крестьян-работников мужского пола и затем на величину поденной оплаты промышленного рабочего, получим трудовой эквивалент заработков — 19 дней.

К непогоде, мешавшей работе земледельцев, можно отнести дождь, грозы, град, ураганы. Грозы, град и ураганы часто совпадали с дождливыми днями, которых в течение весны и лета, когда проходили основные земледельческие работы, в Европейской части России насчитывалось от 44 в южных степных до 76 в западных губерниях, средним числом 60. Учитывая, что дожди не всегда продолжались целыми днями и что некоторые работы производились в дождь, среднее число ненастных дней в году принято за 20.

На домашние работы в переводе на целые рабочие дни, согласно земским обследованиям в конце XIX — начале XX в., крестьянская семья расходовала в год от 11 дней в Харьковской до 16 дней в Вологодской

губернии, в среднем — 14 дней. Мужчины занимались домашними работами не больше, чем женщины, следовательно, не более 14 дней в году.

По данным земских переписей в Воронежской губернии в 1884–1891 гг., взрослый работник болел от 2 дней (состоятельные) до 4 дней (бедные крестьяне) в год; принимаем в среднем 3 дня. Для сравнения: в СССР в 1965 г. один работник, занятый в промышленности, болел в среднем в год 12 дней, в 1987 г. — 10 дней²⁰.

Расходы времени на удовлетворение других потребностей приходится приблизительно оценивать путем интерполяции. На исполнение общественных обязанностей я положил 12 дней в год, учитывая многочисленные сходы крестьянской общины (в них должны были участвовать все главы семей), и наличие у земледельцев других общественных обязанностей (суд, помочи и др.), связанных с самоуправлением, значение которого после крестьянской реформы усилилось²¹. «Сельские сходы собираются неисчислимое число раз в году (иногда по пустякам собирают подряд десять сходов) для найма и расчета пастуха, денежных раскладок, дележа земли, сбора оброка, ссоры двух соседей, выборы старосты (в некоторых деревнях старосты обязаны служить месяц, и, следовательно, ежемесячно выбирают нового), всех причин, по которым собираются сельские сходы, не перечесть. На этих сходах обыкновенно выпивается много водки»²².

Отношения с рынком в 1880-е гг. — поездка хотя бы один раз в год на ярмарку и несколько раз на базар — требовали тоже по крайней мере 6 дней. Крестьянин нуждался в деньгах на уплату разного рода налогов, сборов и оброков, на покупку необходимых в хозяйстве товаров и на водку. В деревне стационарные торговые заведения, за исключением кабака, отсутствовали; приходилось ездить в ближайший город на базар или на торжки и ярмарки, проходившие где-нибудь поблизости. В 1857 г. среднее расстояние между ближайшими городами и посадами в Европейской России составляло около 87 км, в 1914 г. — 83²³. Учитывая плохое состояние дорог, поездка крестьянина на лошади из многих сельских поселений в ближайший город требовала не менее дня. В течение XIX в. отношения крестьян с рынком росли и крепили, о чем свидетельствует рост товарности земледелия: в начале XIX в. она составляла 9–12%, в 1850-е гг. — 17–18%, в 1909–1913 гг. — около 31% чистого сбора основных сельскохозяйственных продуктов²⁴.

Все перечисленные затраты времени поглощали около 112 дней; нераспределенными остаются лишь 24 дня в году, которые в случае необходимости могли быть израсходованы на труд или отдых, на семейные праздники, на исполнение разного рода обрядов и на религиозную жизнь.

Как следует из данных табл. 1, во второй половине XIX в. расходы времени на полеводство сократились на 28 дней — со 135 до 107, на не-земледельческие промыслы почти на столько же (31 день) увеличились — с 5 до 36, а на домашнюю работу остались без изменения. В результате к началу XX в. произошло переключение части трудовых ресурсов с земледелия и животноводства на промыслы, что послужило важнейшим фактором роста уровня жизни крестьянства²⁵, ибо доходы от промыслов на работника были существенно выше, чем от земледелия и животноводства. Повышение доходов позволило крестьянам увеличить число воскресно-праздничных нерабочих дней на 28.

Расходы времени на полеводство, промыслы и домашнее хозяйство являлись величиной более или менее постоянной — 154–157 дней, так как изменение на 3 дня несущественно и может быть результатом неточности исходных сведений.

В конце XIX в. традиционная трудовая этика начала изменяться, и в некоторых местностях крестьяне, в случае острой необходимости, стали работать в воскресенья и праздники. Однако работа в некоторые воскресенья и праздники никак не изменяет рассчитанного мною бюджета рабочего времени. Число рабочих дней *в полеводстве и промыслах оценено по потребности на исполнение фактически выполненных крестьянами работ*. В силу этого, если крестьянин по каким-то причинам трудился в воскресенья и праздники, он по необходимости отдыхал в будние дни, потому что работа была уже сделана. В пореформенное время *в деревне существовал дефицит работы и избыток рабочих рук* и не было нужды, за исключением форс-мажорных обстоятельств, трудиться в праздники и воскресенья. Эксперты Комиссии 1901 г. рассчитали на 1900 г. для каждой из 50 губерний Европейской России, сколько требуется рабочих рук: а) в земледелии в момент наивысшей потребности — во время уборки урожая, на *всей* пахотной земле (не только на крестьянской наделной, но и на частновладельческой) и б) во всех существовавших не-земледельческих промыслах. Оказалось, все 50 губерний имели избыток рабочих рук от 12% в Самарской до 76% в Волынской, в 46 губерниях от 30% и выше, в среднем для всех 50 губерний избыток составил 51,5% — в наличии имелось 44,7 млн работников обоего пола, а потребность составляла 21,7 млн²⁶. Запас трудовых ресурсов всегда имелся и в дореформенное время. После крестьянской реформы он увеличивался, и его с избытком хватало на исполнение домашних работ и других обязанностей. Таким образом, работа в праздники и воскресенья свидетельствовала не о дефиците трудовых ресурсов, а о *секуляризации времени*: воскресенья и праздники утрачивали свою сакральность, уравнивались с будними днями, могли взаимозаменяться — в праздник можно

трудиться, а в будни отдыхать. Благодаря этому земледельцы могли строить свой бюджет времени более рационально, исходя из прагматических соображений, выбирать время работы и отдыха, исходя из реальных потребностей и возможностей, а не из праздничного календаря, как прежде.

Почему образованные современники в конце XIX — начале XX в. полагали, что русские крестьяне имели много праздников? Во-первых, они подсчитали, что у православных российских крестьян собственно праздников, без воскресений, было 71 — намного больше, чем, например, в прибалтийских губерниях у католиков — 43, у прибалтийских протестантов и немецких колонистов — 18, в Германии — 13, в большинстве католических стран — 35 (в некоторых — в Испании и Италии — около 48), в Китае, Японии и других странах Восточной и Южной Азии — 35. Причем их число в пореформенное время увеличилось²⁷. Во-вторых, обилие праздников наносило существенный вред крестьянскому хозяйству, так как отнимало массу времени и средств²⁸. Если бы православные российские крестьяне имели празднично-воскресных дней столько же, сколько западные, то это бы дало производству дополнительно около 3 млрд человеко-дней в год и увеличило бы баланс рабочего времени почти на 20%, благодаря чему крестьяне получили бы дополнительный доход на сумму 1870 млн руб.²⁹

Относительная неэффективность использования годового фонда времени объяснилась несколькими факторами. Часто указывается, что число рабочих дней ограничивал природно-климатический фактор ввиду того, что климат определял продолжительность вегетационного периода растений и число дней в году с температурой, когда можно заниматься земледелием. В принципе это правильно. Но, как показало специальное исследование, крестьяне не использовали в полную меру и тех возможностей, которые реально давал климат³⁰. Кроме того, неземледельческими промыслами можно было заниматься в любую погоду.

В результате огромного естественного прироста населения в пореформенный период — около 1% в год — к началу XX в. большое число крестьян в деревне не находило полного применения своим силам³¹. Однако уйти из деревни многие воздерживались: боялись потерять право на общинную землю, не находили работы в сфере услуг и промышленности, не обладали достаточной грамотностью и квалификацией для переселения в город, не могли преодолеть серьезных бюрократических препятствий для получения права на миграцию из деревни, боялись города и т. п. В этих условиях увеличение количества праздников могло служить своеобразным средством борьбы с аграрным перенаселением — чем меньше оставалось рабочих дней в году, тем большему числу крестьян обеспечива-

лась занятость в сельском хозяйстве (к такому способу прибегают в настоящее время профсоюзы в западноевропейских странах).

Традиция не работать в воскресенья и праздники уходила в глубину веков, освящалась обычаями и церковью. В покаянных книгах XV–XVI вв. среди 18 грехов рассматривается грех, относящийся к тому, что и в праздничные дни не давал себе покоя, и перечисляются возможные работы: в лес ходил, рыбу ловил и т. д.³² «Право на отдых» в праздники было юридически закреплено в Уложении 1649 г. и стало законом³³. Оно было подтверждено в 1797 г. в Манифесте о трехдневной барщине, который не только ограничил барщинные работы тремя днями в неделю, но и подтвердил запрещение помещикам заставлять крестьян работать в праздничные дни, включая воскресенья и храмовые (бытовые) праздники. В XIX в. запрещение работать в праздники вошло в Свод законов Российской империи: «Крестьяне обязаны работать на помещика три дня в неделю; но он не может заставлять их работать на него в воскресные дни, а также: в двенадцатые праздники, в день Верховных апостолов Петра и Павла, 9 мая и 6 декабря во дни Святителя и Чудотворца Николая, и в храмовые в каждом селении праздники. Строжайшее за сим наблюдение возлагается на губернские начальства через посредство местной полиции»³⁴.

Запрещение работать в праздники находило полное понимание у крестьян и было закреплено в обычном праве с коррективами, обусловленными особенностями сельской жизни. Так, разрешались некоторые домашние работы (приготовление пищи, корм скота, уход за детьми). Допускалась коллективная работа, как правило, в пользу бедных вдов или крестьян, пострадавших от пожара или какого-нибудь другого несчастья, за угощение или бесплатно³⁵. Другая праздничная работа ассоциировалась с грехом. Соблюдение закона контролировалось крестьянской общиной; она же и наказывала нарушителей, чаще всего денежным штрафом. В случае сопротивления крестьяне не останавливались перед тем, чтобы применить к нарушителю насилие — избить и сломать инвентарь и инструменты, с помощью которых он производил недозволенную обычаями работу. Если община не могла самостоятельно справиться с нарушителями обычая, а также в случае рецидивов, она обращалась за помощью к низшей административно-полицейской власти, которая по требованию общины привлекала нарушителей к ответственности (Литвак 1979: 262–263). Величина штрафа сильно варьировалась по местностям и зависела от важности праздника, в который производились работы. Например, в начале XX в. величина штрафа, взимаемого общиной, колебалась от 50 коп. до 4 руб. и зависела от характера работ, например, за сенокос репрессия была меньше, чем за жнивьё. Штраф, накладываемый сельской полицией,

достигал 20 руб.³⁶ Это существенная сумма, если средний дневной заработок крестьянина в течение года колебался от 51 до 68 коп.³⁷ Лишь в пореформенное время правительство стало негативно оценивать число праздников в деревне и принимать меры, направленные к уменьшению их числа, но усилия были слабыми, а традиции легко и быстро не изменяются.

Решающее влияние на праздничный календарь оказал, на мой взгляд, культурный фактор. В основе обычая не работать в праздники лежало искреннее народное убеждение, что за работу в праздничный день в будущем виновный потерпит убыток, который вдвое превысит доход, полученный в день работы. Учитывая, что крестьяне были связаны круговой порукой, практиковали земельные переделы и обязательный севооборот, они верили, что наказание за работу в праздник падет на всю общину. Согласно крестьянским представлениям, не только работать, но даже не принимать участия в сельском празднике считалось аморальным и оскорбительным для общины. Крестьянина, уклонявшегося от участия в празднике, односельчане обносили круговой чашей, из которой пили все, что считалось позором³⁸.

Экономику русской крестьянской общины можно назвать моральной экономикой. В идеальной моральной экономике производственные отношения основаны на морали, в Европе — на христианской; хозяйство — полунатуральное; производство ведется ради удовлетворения необходимых потребительских нужд; получение прибыли считается грехом; коллективная трудовая деятельность должна иметь нулевую прибыль, ибо, если кто-то получает прибыль, значит, кто-то имеет убыток; имущественная дифференциация — минимальна³⁹. Известный российский экономист А.В. Чаянов, на труды которого опираются современные экономические антропологи, показал, что *невысокий уровень потребностей русского крестьянина ставит предел его трудовой активности*⁴⁰. В экономической антропологии эта закономерность называется «правилом Чаянова». Люди используют стратегию избавления от лишних забот и хлопот и ограничивают свои потребности необходимым — не имеют лишних вещей, инструментов, запасов⁴¹.

Материальные потребности огромного большинства крестьян были невелики. Целью их хозяйства являлось получение самых необходимых средств для существования, а общей жизненной целью — спасение души. Такие базисные буржуазные ценности, как богатство, слава, власть, влияние, личный успех, индивидуализм, не пользовались у них популярностью. Их мировоззрение можно назвать антибуржуазным. Умеренность в труде и ограничение потребностей выступают в качестве нормативной концепции экономического поведения и в

качестве специфического образа жизни. Принципу умеренности в потребностях, труде и вообще в жизни следовало большинство православных российских крестьян, но, конечно, не все, как не все протестанты, следовали протестантской трудовой этике или предприниматели — буржуазной этике. Эта концепция утверждается во многих пословицах⁴²:

Будь малым доволен — больше получишь.
 В один день по две радости не живет.
 Кто малым доволен, тот у Бога не забыт.
 Кто малым недоволен, тот большого не достоин.
 Много сытно, мало честно. Малое насытит, от многого вспучит.
 Не живи как хочется, а живи как можется!
 Сладкого не досыта, горького не допьяна.
 Того не берут, чего в руки не дают.
 Хлеба с брюхо, одежи с ношу да денег с нужу.

Трудовая этика рабочих

До Великих реформ большинство промышленных заведений останавливало работу во время страды и сенокоса, рабочие имели почти столько же праздников, сколько и крестьяне, и их число устанавливалось не законом, а обычаем или соглашением между рабочими и предпринимателями. На отдельных фабриках и заводах существовало большое разнообразие нерабочих дней; предприятия работали не круглый год, а в большинстве случаев — 200–240 дней, как свидетельствует практика казенных предприятий, где число рабочих дней регламентировалось, а иногда лишь 100 с небольшим дней в году⁴³. Продолжительность чистого рабочего дня накануне эмансипации варьировалась от 9 до 14 часов, зависела от времени года — летом она доходила до 14 часов, зимой — уменьшалась до 9 часов, на большинстве предприятий составляла 12 часов⁴⁴.

Изменения в ритме промышленного труда стали происходить с приходом промышленной революции. На фабриках с машинным производством уже в середине XIX в. повсеместно обнаружилась тенденция к сокращению и унификации числа праздничных дней⁴⁵. Непрерывное производство позволяло владельцу механизированной фабрики быстрее вернуть затраты, сделанные на дорогое оборудование, воспользоваться конъюнктурой, когда она благоприятна, выдержать жесткую конкуренцию с мануфактурами. В ряде случаев, например в металлургии, производство не могло без огромных убытков быть остановлено. Поэтому среднее число рабочих дней, устанавливаемое соглашением между рабочими и предпринимателями, к 1885 г. увеличилось до 283⁴⁶, к 1904 г. — до

287,3 дня. С 1905 г. под влиянием рабочего движения число рабочих дней стало уменьшаться и в 1913 г. составило 276,4⁴⁷. Время же, фактически отработываемое отдельным рабочим, было меньше. В 1913 г. общие потери рабочего времени, помимо праздников и воскресений, оценивались в 19 дней: вследствие простоев — 6,4 дня, болезней и других уважительных причин — 8, прогулов — 4,6 дня⁴⁸. Принимая, что потери рабочего времени в 1885 и 1904 гг. были примерно такими же, как и в 1913 г., фактическое число рабочих дней на одного рабочего в 1885 г. равнялось 264, в 1904 г. — 268, в 1913 г. — 257.

Параллельно с увеличением числа рабочих дней уменьшалась их продолжительность: у мужчин, занятых в промышленности, подчиненной фабричной инспекции (горная и казенная промышленность не были в ее ведении), с 12,3 — в 1850-е гг. до 11,7 часа — в 1885 г., до 10,6 часа — в 1904 г., до 10,2 часа — в 1905 г. и до 10 часов — в 1913 г.⁴⁹ (у женщин и детей рабочий день был короче). В результате годовой рабочий период включал теоретически в 1850-е гг. 2952 часа, в 1885 г. — 3311, в 1904 г. — 2931, в 1913 г. — 2764 часа, а фактически 2718, 3089, 2841 и 2570 часов соответственно.

Следовательно, в пореформенное время, вплоть до 1905 г., занятость рабочего в течение года была больше, чем до 1861 г., а с 1905 г. — меньше. Переход от ручного производства к машинному вследствие производственной и экономической целесообразности привел к повышению непрерывности труда в промышленности вследствие роста числа рабочих дней и переходу к двух- или трехсменной работе.

В 1913 г. у российских рабочих, занятых в крупной промышленности, среднее число отработанных на производстве дней в год составляло 257,4 (при 10-часовой продолжительности рабочего дня круглый год), число выходных и праздничных дней — 88,6 и число неявок на работу и простоев — 19 дней⁵⁰. Многие рабочие вели также и домашнее хозяйство. Отсюда следует, что, условно говоря, «производственная деятельность» у рабочего продолжалась примерно в 1,6 дольше, чем у крестьянина.

Трудовая этика рабочих в пореформенное время находилась в стадии трансформации. Появился целый слой рабочих, так называемая «рабочая аристократия», отличавшихся современным отношением к труду. Но для большинства рабочих этика в основном оставалась субсистенциальной. Этот вывод у одних историков находит поддержку⁵¹.

Если изживание рваного ритма труда, уменьшение числа праздников, четкое отделение времени работы от времени отдыха, развитие современной трудовой этики у российских рабочих в конце XIX — начале XX в. находилось на начальной стадии, то у рабочих ведущих западных

стран переходный период от субсистенциальной к буржуазной этике труда в начале XX в. в *основных чертах* завершался. На Западе, как и в России, процесс этот был длительным и болезненным и растянулся на два столетия. Еще в первой половине XIX в. в Великобритании, а в Германии и Франции и в более позднее время пережитки традиционного отношения к труду были очень живучи⁵². «Читая официальные отчеты (фабричных инспекторов 1876–1878 гг. — *Б. М.*) об условиях жизни фабричного люда в Германии, можно было бы иной раз подумать, что речь идет о наших русских фабриках и заводах: стоит лишь несколько усилить мрачный фон общей картины, — отмечал известный русский санитарный врач А.В. Погожев. — Фабриканты в Пруссии часто высказывали жалобы инспектору, что в летнее время рабочие у них разбегаются с фабрики и отправляются искать себе работы у сельских хозяев, так как этот труд оплачивается летом лучше... Инспектор из Вестфалии жаловался, что несмотря на дурные времена, дисциплина среди фабричных рабочих крайне дурно поставлена во многих отношениях. Синий понедельник (вроде *St. Monday* в Великобритании. — *Б. М.*) все еще пользуется популярностью у рабочих»⁵³.

Итак, вплоть до начала XX в. большинство российских работников, будь то крестьяне или рабочие, придерживались принципов субсистенциальной трудовой этики. Они работали умеренно и любили праздники не потому, что были ленивыми, а потому, что в их системе ценностей труд занимал иное место, чем у людей, воспитанных в протестантской культуре. Их хозяйственные практики хорошо объясняются концепцией «моральная экономика», используемой исследователями для анализа европейского крестьянства в доиндустриальную эпоху⁵⁴. Принципы моральной экономики: производственные отношения основаны на христианской морали; натуральное хозяйство; производство ради удовлетворения необходимых потребительских нужд; получение прибыли — грех; коллективная трудовая деятельность должна иметь нулевую прибыль, ибо, если кто-то имеет прибыль, значит, кто-то имеет убыток; имущественная дифференциация — минимальна⁵⁵. Субсистенциальная трудовая этика больше соответствовала представлениям российского работника о правильной жизни, чем протестантская этика. Узкое место субсистенциальной трудовой этики состояло, однако, не в том, что ее приверженец не мог интенсивно работать в принципе, а в том, что работать в полную меру своих сил он считал необходимым не каждый день, а лишь в экстраординарных ситуациях, да и в эти минуты трудового энтузиазма он не мог трудиться качественно из-за недостатка квалификации, знаний, рачительности, предприимчивости и элементарной дисциплины. Образованные современники отчетливо это сознавали, как это видно из следу-

ющей характеристики российских работников, данной Особым совещанием о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902 г.: «По общему признанию, народный труд в России мало продуктивен и не доброкачествен. Так как качество труда зависит от свойств трудящегося, то и необходимо искать главную причину наших невзгод прежде всего в самих производителях, неумелых, нерачительных, неопытных и мало предприимчивых»⁵⁶.

Следует отметить, что субсистенциальное отношение к труду существовало во всех традиционных обществах и в литературе получило не слишком удачное название «этика праздности»⁵⁷. На русском языке это звучит особенно плохо, так как может восприниматься как этика, поощряющая лень, бездеятельность и праздность. На самом деле термин имеет в виду наличие большого числа праздников, во время которых запрещались многие виды трудовой деятельности, но поощрялась деятельность, не связанная с производством — общественная, религиозная и т. п. Во всех западноевропейских странах в Средние века и в большинстве из них в доиндустриальную эпоху, т. е. до конца XVIII — начала XIX в., трудовая этика также не отвечала «духу капитализма»⁵⁸. В эпоху трехполья от Англии до России и от Швеции до Испании крестьяне имели примерно одинаковое количество земли, работали примерно столько же и в таком же ритме, как русские крестьяне в XIX — начале XX в., а в периоды улучшения конъюнктуры уменьшали время работы, как это наблюдалось в русской деревне; они тоже имели много праздников, лишь немногим меньше, чем русские крестьяне⁵⁹. Западноевропейские горожане следовали такой же субсистенциальной этике, но им для удовлетворения своих материальных потребностей приходилось работать больше — не 150–160 дней, как крестьянам, а 210–220⁶⁰. Таким образом, субсистенциальная трудовая этика была общим европейским явлением в доиндустриальную эпоху, и причина этого состояла не в климате, не в природной среде обитания, а в менталитете, присущем человеку традиционного общества.

Процесс трансформации субсистенциальной в протестантскую трудовую этику в советское время продолжился. Трем поколениям советских людей усиленно прививалось социалистическое отношение к труду, которое во многих аспектах приближалось к буржуазному. Был разработан комплекс специфических мер (ударники, социалистическое соревнование, хозрасчет, самозакрепление, стахановское движение и т. д.) для стимулирования труда⁶¹. В результате этого к концу советской эпохи трудовая мораль российских граждан продвинулась в сторону буржуазной⁶². Об этом свидетельствует сравнительное исследование отношение к труду российских и немецких рабочих в начале 1990-х гг. (табл. 4).

Таблица 4

**Отношение к труду российских и немецких рабочих
в начале 1990-х гг., в %**

Отношение к труду	Россияне	Немцы
Инструментальное (как заработок)	43	24
Терминальное (как смысл жизни)	26	44
Смешанное	31	35
Число респондентов	250	204

Источник: *Темницкий А. Л.* Отношение к труду рабочих России и Германии: терминальное и инструментальное // Социс. 2005. № 9 (257). С. 54–63.

Инструментальный тип отношения к труду (только способ зарабатывать) характерен для 43% российских и 24% немецких рабочих, терминальный (как смысл жизни) — 26 и 44%, смешанный — 31 и 35% соответственно.

В постсоветскую эпоху происходит дальнейший рост инструментального отношения к труду⁶³. По данным ВЦИОМ на 2000 г., на вопрос: «Что значит для человека работа?» 70% ответили: «Работа — это прежде всего источник средств существования»⁶⁴.

В настоящее время россияне отдыхают 116 дней в году: 12 праздников, (1–5, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября), 52 субботы и 52 воскресенья; 249 дней — рабочие. В переводе на рабочие часы — в 1913 г. производственная деятельность у рабочих продолжалась 2570 часов в год, у крестьян — 1710 часов. Через 100 лет российские труженики по закону должны работать 1992 часа в год — на 29% меньше, чем рабочие, но на 16% больше, чем крестьяне в 1913 г. (табл. 5).

Таблица 5

Годовой бюджет рабочего времени в часах в 1913 и 2013 гг.

	1913 г.	2013 г., по закону	2013 г., фактически
Рабочие (на предприятиях)	2570		
Крестьяне (полеводство и промыслы)	1710		
Все работающие (на производстве)		1992	2142

Нормальная продолжительность рабочего времени, установленная КЗОТ, — не более 40 часов в неделю — не соблюдается. Четко определенного рабочего дня фактически нет; сверхурочные и работа в выходные дни зачастую являются не исключением, а нормой, как показывают результаты Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 8 лет, с 1992 по 2000 г. (табл. 6).

Таблица 6

Средняя продолжительность рабочей недели в РФ в 2000 г. (час.)

У всех работников	43
На государственных предприятиях	43
В частных фирмах	47
Предприниматели, имевшие наемных работников	63
Предприниматели, не имевшие наемных работников	49

Источник: *Денисова Ю.С.* Трудовые перегрузки как тенденция в рабочем процессе // Социс. 2004. № 5. С. 100–107.

Средняя продолжительность рабочей недели у работников допенсионного возраста составила на государственных предприятиях — 43 часа в неделю, на негосударственных — 47. Чем «буржуазнее» работник, тем больше он трудится. Самая высокая трудовая нагрузка у предпринимателей, собственников предприятий — они трудятся в среднем 63 часа в неделю, самозанятые, не имеющие наемных работников, — 49 часов, работающие на частное лицо — 53 часа. Последние с правовой точки зрения абсолютно не защищены, поскольку отношения между ними и работодателями чаще всего не оформляются и находятся вне правового регулирования.

Та же картина наблюдалась и через 12 лет. По данным Росстата, в 2012 г. средняя продолжительность рабочего дня равнялась у людей в возрасте 25–29 лет — 8 часов 52 минуты, в возрасте 55–59 лет — 9 часов 21 минута и в возрасте от 30 до 54 — менее 8 часов. Однако поскольку от 30 до 50% россиян работают на двух и более работах, очевидно, что большинство работает более 43 часов в неделю⁶⁵.

Сравнение с рабочей неделей в других европейских странах обнаружило нивелирование различий в продолжительности рабочего времени (табл. 7).

Таблица 7

Продолжительность рабочей недели в разных странах в 2015 г.

Нидерланды	30,5
Финляндия	33,0
Франция	35,0
Ирландия	35,3
США	34,5
Дания	37,0
Германия	38,0
Норвегия	39,9
Болгария, Эстония, Италия, Польша, Португалия, Румыния	40,0
Греция, Австрия, Израиль	43,0
Великобритания	43,7
Аргентина	44,0
Мексика, Перу, Индия, Колумбия, Непал, Таиланд	48,0
Япония	50,0
Китай	60,0

URL: <http://www.aif.ru/dontknows/actual/1354251> (дата обращения 20.05.2015)

Заметно больше работают только в Китае — 60 часов в неделю и Японии — 50 дней, при 10-дневном отпуске в обеих странах. Россиянам осталось поднять эффективность труда, и ключ от двери, которая ведет к золотому миллиарду, будет наш.

¹ Янжул И.И. Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора первого призыва: Материалы для истории русского рабочего вопроса и фабричного законодательства. СПб., 1907. С. 215.

² Отечественные обществоведы сравнительно недавно обратили внимание на важную роль трудовой этики в экономическом и социальном развитии деревни: Гордон А.В. Тип хозяйствования — образ жизни — личность // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993. С. 113–135; Коваль Т.Б. Христианская этика труда (Православие, Католицизм, Протестантизм. Опыт сравнительного анализа). М., 1994; Лапицкий М.И. Трудовая этика в аспекте политики (заметки на полях трудов Федора Степуна) // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. Лето. 2000. № 2. С. 178–191; Латов Н.В., Латова Ю.В. Российская экономическая ментальность на мировом фоне // Общественные науки и современность. 2001. № 4. С. 21–37; Они же. Этнометрические подходы к сравнительному анализу хозяйственно-культурных ценностей // Вопросы экономики. 2008. № 5. С. 1–14; Трудовая этика как проблема отечественной культуры: современные аспекты. Материалы круглого стола // Вопросы философии. 1991. № 1. С. 3–30; Шершнева Е.Л., Фелдхофф Ю. Культура труда //

процессе социально-экономических преобразований. СПб., 1999; *Шкаратан О.И., Карачаровский В.В.* Русская трудовая и управленческая культура // Мир России. 2002. № 1. С. 3–56 и др.

³ *Вебер М.* Хозяйственная этика мировых религий: Попытка сравнительного исследования в области социологии религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994; *Лукассен Я.* Мотивация труда в исторической перспективе: некоторые предварительные заметки по терминологии и принципам классификации // Социальная история. Ежегодник. 2000. М., 2000. С. 194–205; *Рих А.* Хозяйственная этика. М., 1996; *Скотт Дж.* Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. Хрестоматия // Т. Шанин, А.В. Гордон (ред.). М., 1992. С. 202–211; *Сядун Ф.* Крестьянство как образ жизни // Там же. С. 12–75; *Labour and Leisure in Historical Perspective, Thirteenth to Twentieth Centuries* // I. Blanchard (ed.). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1994; *Scott J.W.* The Glassworkers of Garmaux: French Craftsmen and Political Actions in a Nineteenth-Century City. Cambridge; Mass: Harvard University Press, 1974; *Shapely P.* Work and Work Ethic // Encyclopedia of European History from 1350 to 2000: In 6 vols. / P. N. Stearns (ed.). New York etc.: Charles Scribner's Sons, 2001. Vol. 4. P. 451–466; *Stearns P.N.* Lives of Labour: Work in a Maturing Industrial Society. London: Holmes and Meier, 1975; *The Historical Meaning of Work* / P. Joyce (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1987; *Thompson E.P.* The Making of the English Working Class. New York, Pantheon Books, 1964; *Idem.* Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism // Past and Present. 1967. Vol. 38. P. 56–97; *R. Les mineurs de Garmaux, 1848–1914.* Paris: Les Editions Ouvrières, 1971: In 2 vols.; *Tylecote M.* The Mechanics' Institutes of Lancashire before 1851. Manchester: Manchester University Press, 1957 и др.

⁴ *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990. С. 70–96, 184–207; *Зомбарт В.* Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М., 1994. С. 12–20; *Маркович Д.* Социология труда. М., 1988. С. 502–551; *Шварцбург Ц.В.* Экономическая антропология сбережений: историко-институциональный подход // Историко-экономические исследования. 2008. Т. 9. № 1. С. 5–20.

⁵ *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения.

⁶ *Арон П.* Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 531–546; *Marshall G.* In Search of the Spirit of Capitalism: An Essay on Max Weber's Protestant Ethic Thesis. New York: Columbia University Press, 1982. P. 10–11, 82–83, 90. Интересный анализ трудовой этики протестантизма, православия, ислама, буддизма и конфуцианства см.: *Рязанов В.Т.* Этноэкономика: роль религиозной этики // Рязанов В.Т. Хозяйственный строй России: на пути к другой экономике. СПб., 2009. С. 139–151.

⁷ Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.). URL: <http://azbyka.ru/otechnik/pravila/1723/> (дата просмотра: 28.05.2015).

⁸ *Рязанов В.Т.* Этноэкономика: основные характеристики // Рязанов В.Т. Хозяйственный строй России. С. 124–138.

⁹ *Астырев Н.М.* Праздники в крестьянском быту Московской губернии // Статистический ежегодник Московского губернского земства за 1887 г. М., 1887. Отд. 8. С. 1–26; *Бернштам Т.А.* Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX — начала XX в.: Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 213–230; *Владимирский В.* Обзорение современного сельского хозяйства в России «по достоверным источникам» и предположения к его улучшению. СПб., 1874. С. 5, 22–25; *Карышев Н.* Труд, его роль и условия приложения в производстве. СПб., 1897. С. 302–309; Статистическое описание Калужской губернии. Козельский уезд. Калуга, 1889. Вып. 2. Текст. С. 200–235.

¹⁰ Архив Русского географического общества. Р. 29 (Пермская губерния). Д. 9. Перечень праздников в приходских деревнях Оханского уезда Пермской губ. в 1850-х гг.; Положение 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Гл. 3. Ст. 189; *Буницкий К.* Вычисление дней, празднуемых в течение года рабочими людьми в Александровском уезде Екатеринбургской губернии // Зап. имп. Об-ва сельского хозяйства Южной

России. 1866. С. 306–310; Город у Красного Яра / Г.Ф. Быконя (ред.). Красноярск, 1986. С. 35–36; *Доброзраков М.* Село Ульяновка Нижегородской губернии Лукояновского уезда // Этнографический сборник. СПб., 1853. Вып. 1. С. 33; Заметка о влиянии праздничных и прогульных дней на общее экономическое положение России // Владимирские епархиальные ведомости. 1865. № 7; *К.Д.* Несколько замечаний об урочных работах в сельском хозяйстве // Журнал МГИ. 1853. Ч. 47. С. 237; *Преображенский В.* Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении. СПб., 1854. С. 99–101; *Соловьев Я.А.* Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии. М., 1855. С. 226; *Сумароков П.* Деревенские письма // ОЗ. 1861. Т. 138. С. 510.

¹¹ Доклад Высочайше учрежденной Комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России. СПб., 1873. Доклад. С. 1–3; Там же. Отд. 1. С. 201–224; Там же. Приложения. I. Дополнения С. 22–28; Там же. Приложения. VI. Стенографические ответы лиц, приглашенных в Комиссию. СПб., 1873. Ч. 1 (далее: Доклад комиссии 1872 г.); *Владимирский В.* Обзорное современное состояние сельского хозяйства России. СПб., 1874. С. 5, 22–25. Подробно о работе комиссии см.: *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в России XVIII — начала XX века. 2-е изд. М., 2012. С. 449–460.

¹² Просвещение / Н.Л. Петерсон (сост.). СПб., 1903. С. 12–14; Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности: В 49 т. СПб., 1903. Труды местных комитетов. Т. 3: Бессарабская губерния. СПб., 1903. С. 62–76, 188, 386; Т. 4: Виленская губерния. СПб., 1903. С. 27–28, 115; Т. 5: Витебская губерния. СПб., 1903. С. 444; Т. 6: Владимирская губерния. СПб., 1903. С. 184; Т. 8: Волынская губерния. СПб., 1903. С. 134; Т. 10: Вятская губерния. СПб., 1903. С. 40, 451; Т. 11: Гродненская губерния. СПб., 1903. С. 172–173, 258, 345, 459–461; Т. 14: Калужская губерния. СПб., 1903. С. 19, 26–27, 50, 64; Т. 15: Киевская губерния. СПб., 1903. С. 132, 604, 716–717, 1069–1070, 1131–1134; Т. 17: Костромская губерния. СПб., 1903. С. 463; Т. 19: Курская губерния. СПб., 1903. С. 48–49, 79–83, 358–360, 541; Т. 21: Минская губерния. СПб., 1903. С. 127, 174, 282; Т. 22: Могилевская губерния. СПб., 1903. С. 94; Т. 23: Московская губерния. СПб., 1903. С. 512–513, 585–586, 616, 631, 673; Т. 24: Нижегородская губерния. СПб., 1903. С. 45; Т. 25: Новгородская губерния. СПб., 1903. С. 263, 410–412, 442–443, 457–458; Т. 31: Подольская губерния. СПб., 1903. С. 164, 463–464, 481–483, 486, 561–562, 802, 804, 811, 814–817, 936–941, 1007, 1015–1018, 1053–1054, 1112; Т. 32: Полтавская губерния. СПб., 1903. С. 352–353, 641–642, 718, 724–735; Т. 33: Псковская губерния. СПб., 1903. С. 69–70, 113, 118, 126, 127, 146–147, 192, 235–236, 251–252, 344–346; Т. 34: Рязанская губерния. СПб., 1903. С. 272–273, 387–393, 571–572, 582; Т. 35: Самарская губерния. СПб., 1903. С. 174; Т. 36: С.-Петербургская губерния. СПб., 1903. С. 39, 41; Т. 37: Саратовская губерния. СПб., 1903. С. 412, 446, 566, 608; Т. 39: Смоленская губерния. СПб., 1903. Ч. 2. С. 176, 179, 247–248, 306; Т. 40: Таврическая губерния. СПб., 1903. С. 189–190; Т. 41: Тамбовская губерния. СПб., 1903. С. 198, 430; Т. 42: Тверская губерния. СПб., 1903. С. 275, 445; Т. 44: Уфимская губерния. СПб., 1903. С. 184–185; Т. 45: Харьковская губерния. СПб., 1903. С. 414; Т. 46: Херсонская губерния. СПб., 1903. С. 66, 68–69, 214, 261; Т. 47: Черниговская губерния. СПб., 1903. С. 94–96, 116, 432. Подробнее см.: *Миронов Б.Н.* Благополучие населения. С. 474–475, 486.

¹³ *Скребицкий А.И.* Крестьянское дело в царствование императора Александра II: Материалы для истории освобождения крестьян: В 4 т. Бонн-на-Рейне, 1865/66. Т. 3. С. 1296–1297.

¹⁴ Положение 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. М., 1916. Гл. 3. Ст. 189; *Миронов Б.Н.* Благополучие населения. С. 258–260.

¹⁵ Свод законов Российской империи. Изд. 1857 г.: В 15 т. СПб., 1857. Т. 4. Ст. 1046. См. также: *Окунь С.Б., Паина Э.С.* Указ от 5 апреля 1797 г. и его эволюция (к истории указа о трехдневной барщине) // Труды Ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР. 1964. Вып. 7. С. 283–299.

- ¹⁶ *Доброзраков М.* Село Ульяновка... С. 33.
- ¹⁷ *Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 1998. С. 210.
- ¹⁸ Материалы для статистики России, собираемые по ведомству МГИ. СПб., 1859–1860. Вып. 2. С. 187–188, 249; Вып. 3. С. 105–113; Вып. 4. С. 84–85; Хозяйственно-статистические материалы, собираемые комиссиями и отрядами уравнивания денежных сборов с государственных крестьян. Вып. 2. СПб., 1857. С. 26–27, 72–74.
- ¹⁹ Материалы для статистики России, собираемые по ведомству МГИ. Вып. 4. С. 90–91; Вып. 5. С. 56–57.
- ²⁰ Труд в СССР: Статистический сборник. М.: Финансы и статистика, 1989. С. 260.
- ²¹ *Громыко М.М.* Мир русской деревни. М., 1991. С. 73–85, 155–169; *Полищук Н.С.* Развитие русских праздников // Русские / В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук (ред.). М., 2003. С. 539, 561.
- ²² Доклад комиссии 1872 г. Приложения. I. Дополнения. С. 28.
- ²³ *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 286.
- ²⁴ *Яцунский В.К.* Социально-экономическая история России XVIII–XIX вв. М., 1973. С. 104.
- ²⁵ *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в России XVIII — начала XX века. 2-е изд. М., 2012. С. 294–296.
- ²⁶ Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 по 1900 г. благосостояния сельского населения среднеземледельческих губерний сравнительно с другими местностями Европейской России. Ч. 1–3. СПб., 1903. Ч. 1. С. 248–249.
- ²⁷ Доклад комиссии 1872 г.: Отдел 1: 223–224; *Васильчиков А.И.* Землевладение и земледелие: В 2 т. СПб., 1876. Т. 2. С. 582–584; *Ермолов А.С.* Всенародная агрономия. М., 1996. С. 92–100; Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Труды местных комитетов. Т. 34. С. 387.
- ²⁸ Доклад комиссии 1872 г.: Отдел 1: 201–224; Просвещение / Н.Л. Петерсон (сост.). С. 12–13; *И.В.* Анкета о праздновании различных праздников в Грязовецком уезде Вологодской губернии // Известия Архангельского общества изучения русского Севера. 1913. № 10. С. 445–447; Положение крестьянского хозяйства. Причины его упадка: община и большое число праздничных дней // Труды ВЭО. 1878. Т. 3. Вып. 3. С. 375–381.
- ²⁹ Просвещение / Н.Л. Петерсон (сост.). С. 12–13.
- ³⁰ *Миронов Б.Н.* Кто виноват: природа или институты? Географический фактор в истории России // Общественные науки и современность. 2014. № 5. С. 130–141; 2015. № 1. С. 83–99.
- ³¹ Материалы Комиссии 1901 г. Т. 1. С. 247–249.
- ³² *Корогодина М.В.* Исповедь в России в XIV–XIX веках: исследование и тексты. СПб., 2006. С. 275, 451.
- ³³ Сборное Уложение 1649 года / А.Г. Маньков (ред.). СПб., 1987. С. 33–34, 190.
- ³⁴ Свод законов Российской империи. Изд. 1857 г. Т. 4. Ст. 1046.
- ³⁵ *Громыко М.М.* Мир русской деревни... С. 73–85.
- ³⁶ Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Труды местных комитетов. Т. 3. С. 72; Т. 34. С. 272–273; Т. 47. С. 432.
- ³⁷ Материалы Комиссии 1901 г. Т. 1. С. 242–243.
- ³⁸ Архив Российского этнографического музея. Ф. 7 (Этнографическое бюро В.Н. Тенишева). Оп. 2. Д. 275. Л. 17, 78.
- ³⁹ *Скотт Дж.* Моральная экономика... С. 202–211.
- ⁴⁰ *Чапнов А.В.* Крестьянское хозяйство: Избранные труды. М., 1989. С. 237, 244.
- ⁴¹ *Салинз М.* Экономика каменного века. М., 1999. С. 19–102.

⁴² *Даль В.И.* Пословицы русского народа. М., 1957. С. 500–514, 821–822, 924.

⁴³ История рабочих Ленинграда: В 2 т. / В.С. Дякин (ред.). Л., 1972. Т. 1. С. 133; *Китанина Т.М.* Рабочие Петербурга... С. 195–206; *Пажитнов К.А.* Промышленный труд в крепостную эпоху. Л., 1924; История Урала с древнейших времен до 1861 г. / А.А. Преображенский (ред.). М., 1989. С. 430; *Протопопов Д.* О промыслах государственных крестьян Московской губернии // Журнал Министерства государственных имуществ. 1842. Кн. 2. Ч. 2. С. 253; Труды комиссии, учрежденной для пересмотра уставов фабричного и ремесленного. СПб., 1863. Ч. 3. С. 105.

⁴⁴ Проект правил для заводов и фабрик в С.-Петербурге и уезде. СПб., 1860. С. 164–195; *Туган-Барановский М.И.* Русская фабрика в прошлом и настоящем: Историческое развитие русской фабрики в XIX в. М., 1922. С. 93.

⁴⁵ *Карышев Н.* Труд... С. 308.

⁴⁶ Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел санитарной статистики. Т. 4. Ч. 2. М., 1893. С. 369, 375; Фабрично-заводская промышленность и торговля России. СПб., 1893. С. 273–274; Труды комиссии, учрежденной московским генерал-губернатором кн. В.А. Долгоруким для осмотра фабрик и заводов в Москве. Вып. 2. М., 1882. С. 77; *Янжул И.И.* Фабричный быт Московской губернии: Отчет за 1882–1883 г. СПб., 1884. С. 39, 49; *Дементьев Е.М.* Фабрика, что она дает населению и что она у него берет. М., 1897. С. 58–116.

⁴⁷ *Кирьянов Ю.И.* Жизненный уровень рабочих России (конец XIX — начало XX в.). М., 1979. С. 72–83; Рабочий день в фабрично-заводской промышленности / Я.М. Бинеман (ред.). М., 1930. Вып. 2. С. 28, 160.

⁴⁸ *Струмилин С.Г.* Избранные произведения: В 5 т. М., 1964. Т. 3. С. 365–367.

⁴⁹ *Давыдов К.В.* Отчет за 1885 г. фабричного инспектора С.-Петербургского округа. СПб., 1886. С. 20, 156–173; *Михайловский Я.Т.* О деятельности фабричной инспекции: Отчет за 1885 год главного фабричного инспектора. СПб., 1886. С. 52–53, 73–106; *Янжул И.И.* О деятельности фабричной инспекции: Отчет за 1885 год. СПб., 1886. С. 52–53, 73–106; Данные о продолжительности рабочего времени за 1904 и 1905 гг. СПб., 1908. С. 84; *Кирьянов Ю.И.* Жизненный уровень... С. 81; Рабочий день... Вып. 2. С. 158, 160.

⁵⁰ *Патрушев В.Д.* Жизнь горожанина (1965–1998). М., 2001. С. 93–94.

⁵¹ *Коробков Ю.Д.* Трудовая этика рабочих Урала в пореформенный период // Социальная история. Ежегодник. 2007. М., 2008. С. 151–175; *Пушкарева И.М.* 1905 год: Революционный штурм или «перестройка» государственной системы России // Россия в XIX–XX века: Материалы II научных чтений памяти В.И. Бovyкина. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 22 января 2002 / А.Г. Голиков, А.П. Корелин (ред.). М., 2002. С. 283; *Юдина Л.С.* Трудовая этика на заводах Урала в годы Первой мировой войны (1914–1917) // Человек и война: Война как явление культуры / И.В. Нарский, О. Никонова (ред.). М., 2001. С. 216–227. Фельдман согласен со мной, что субсистенциальная трудовая этика рабочих дала трещину, появился слой рабочих, стремящихся жить по принципам протестантской этики: *Фельдман М.А.* Социокультурный облик рабочих уральской промышленности в 1900–1917 годах: историографические проблемы // История в меняющемся пространстве российской культуры // Н.Н. Алеврас (ред.). Челябинск, 2006. С. 307.

⁵² *Hobsbawm E.J.* Workers: World of Labor. New York: Pantheon Books, 1984. P. 186, 200; *Houston R.A.* Coal, Class and Culture: Labour Relations in a Scottish Mining Community, 1650–1750 // Social History. 1983. Vol. 8. P. 1–18; *Hunt E.D.* British Labour History 1815–1914. Weidenfeld: Weidenfeld & Nicolson, 1981; *Mathias P.* The First Industrial Nation: An Economic History of Britain, 1700–1914. 2nd ed. London; New York: Methuen, 1983. P. 181–186; *Pollard S.* The Genesis of Modern Management. Harmondsworth; Middlesex: Penguin Books, 1968; *Reid D.A.* The Decline of St. Monday 1776–1876 // Past and Present. 1976. Vol. 71. P. 76–101; *Idem.* Wedding Days and the Evolution of Leisure time in the Workshops and Factories of Industrial England, 1701–1961 // Labour and Leisure in Historical Perspective... P. 111–123.

⁵³ *Погожев А.В.* Фабричный быт Германии и России. М., 1882. С. I, 136, 138.

⁵⁴ *Скотт Дж.* Моральная экономика... С. 202–211; *Томпсон Э.П.* Плебейская культура и моральная экономия. Статьи из английской социальной истории XVIII и XIX вв. // История ментальностей, историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996. С. 180–198; *Бабашкин В.В.* Концепция «моральной экономики» крестьянства и российской деревни начала XX века // Крестьяноведение: Теория. История. Современность. Ученые записки: 2011. Вып. 6 / Т. Шанин, А.М. Никулин, И.В. Троцук (ред.). М., 2011. С. 135–156.

⁵⁵ *Гуренок Ф.И.* Моральная экономика — третий путь // Философия хозяйства. Альманах центра общественных наук экономического факультета МГУ. 1999. № 1. С. 47–50; «Моральный крестьянин» и «рациональный крестьянин»: (проблемы социального развития и идеологии стран Азии, Африки и Латинской Америки: Сб. обзоров. Вып. 2). М., 1988; *Скотт Дж.* Моральная экономика... С. 202–211; *Томпсон Э.П.* Плебейская культура... С. 180–198.

⁵⁶ Просвещение / Н.Л. Петерсон (сост.). С. 7.

⁵⁷ Современные концепции аграрного развития // ОИ. 1995. № 4. С. 3–33; *Seavoy R.E.* *Famine in Peasant Society.* New York; London: Greenwood Press, 1986.

⁵⁸ *Зомбарт В.* Буржуа... С. 118–144.

⁵⁹ *Blanchard I.* Introduction // *Labour and Leisure...* P. 11–23. Например, у датских средневековых ремесленников было много праздников, но меньше, чем у православных крестьян в начале XX в.: *Йордан Б.* Когда братья пьют вместе... С. 177–196.

⁶⁰ *Кунина А.Е.* Проблемы этики труда в современной американской историографии // Организация труда и трудовая этика: Древность. Средние века. Современность / В.Л. Мальков, Л.Т. Мильская (ред.). М., 1993. С. 180–189; *Коленко В.А.* Трудовая этика и проблема собственности в социальной доктрине католической церкви // Там же. С. 200–209; *Пономарева Л.В.* Отношение к труду в апостолате католической организации «Опус Деи» // Там же. С. 210–224; *Blanchard I.* Introduction. P. 23–27. См. также: *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 192–195, 217–261; *Goff J.L.* *Time, Work and Culture in the Middle Ages.* Chicago; London: The University of Chicago Press, 1980; *Keith Th.* *Work and Leisure in the Pre-Industrial Society* // *Past and Present.* 1964. No. 29. December. P. 50–62. Следует, правда, иметь в виду, что трудовая этика средневековых ремесленников, хотя и поддерживала умеренность, вместе с тем культивировала высокую квалификацию, дисциплинированность, честность, уважение к труду, ответственность, уважение договора, высокое качество труда: *Сванидзе А.А.* Поведенческие принципы в средневековой ремесленной среде и отношение к труду // Организация труда и трудовая этика... С. 98–106; *Он же.* Наемный труд и трудовая этика в ремесленных цехах Швеции: уставные принципы // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2. С. 166–177.

⁶¹ *Мухин М.Ю.* «У советских собственная гордость»: специфические методы трудовой стимуляции в СССР 30-х гг. // Ежегодник историко-антропологических исследований. 2003. М., 2003. С. 296–330.

⁶² *Заславская Т.И., Рывкина Р.В.* Социология экономической жизни: Очерки теории. М., 1991. С. 148–181. См. также: *Маркович Д.* Социология труда. С. 502–551.

⁶³ *Темницкий А.Л.* Отношение к труду... С. 63; *Афонцев С.А.* Мотивация труда в постсоциалистической России: макроэкономический подход // Экономическая история. Обзорное. Вып. 7. М., 2001. С. 41–59; *Малютин М.* Трудовая этика современных русских // Золотой Лев. 2007. № 113–114. URL: http://www.zlev.ru/113/113_22.htm (дата обращения: 8.05.2014).

⁶⁴ *Лерова И.* Отношение к работе различных групп населения: работников, безработных, учащейся молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 1.

⁶⁵ URL: http://statistic.su/blog/kto_i_kak_rabotaet_v_rossii/2012-07-04-715 (дата обращения: 20.05.2015).

КОГИТОКРАТИЯ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Шкуратов Владимир Александрович
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону

***Аннотация.** Отношение «знание-власть» рассматривается как новое, социополитическое измерение исторической психологии. Отталкиваясь от постструктуралистской формулы «власть-знание», автор обосновывает понятие когитократии. Из перечня когитократических пар (ритуал-община, философия-империя, религия-церковь, современное государство-наука, постсовременное управление — масс-медиа) для обсуждения выделены ритуал-община и философия-империя. Затрагивается психополитический аспект сосуществования философии и науки в империях.*

***Ключевые слова:** когитократия, власть-знание, знание-власть, М. Фуко, Л.С. Выготский, опосредствование, антропокультура, парадигма, культура тела, ритуал-община, мифоритуал, философия-империя, современное государство-наука.*

Слово «когитократия» вводит нас в сюжет власти и знания. Предложить этот неологизм¹ меня побудило расширение предметного поля исторической психологии. Словесная конструкция из латинского cogito («мыслю») и греческого κράτος («власть», «сила», «могущество») резонирует с лексиконом постструктурализма, а это направление западной гуманитаристики второй половины прошлого века атаковывало власть-знание или власть знания в современном обществе, в т. ч. распространение психологизма. Критике заодно подверглась и *histoire des mentalités* (ментальная история) тех десятилетий, трактуемая как разновидность линейного макросоциального взгляда на мир.

Сейчас в интеллектуальном ландшафте Западе сосуществуют и прямые наследники идейно-общественных движений 1960–1970-х гг., и объекты критики, ознакомившиеся с модными взглядами Ф. Гваттари, Ж. Делёза, Ж. Дерриды, Ж. Лакана, М. Фуко и взявшие из них кое-что себе без обращения в их критическую веру. Мой интерес в данной статье распространяется только на историческую психологию. В этой области знания также бывают и революционеры, и оппортунисты. Но главное в ее нынешнем состоянии — угасание проектов прошлого века, объединенных надеждой получить от сциентистской психологии готовый аппарат или по крайней мере его остов, для изучения человеческого прошлого.

Угасание длится пару десятилетий, но сейчас дошло до такой точки, когда и словоупотребление «историческая психология» в научной лите-

ратуре почти прекратилось. Между тем труды К. Леви-Строса по первобытному мышлению, М. Фуко по истории безумия, наказания, сексуальности воспринимаются как важный раздел психологического изучения прошлого. Однако просто экспроприировать часть наследия знаменитых авторов *post factum* и «по предмету» в пользу исторической психологии едва ли нужно. Это будет бессильным, да и бесполезным шагом. Ведь речь идет не о спасении тонущего судна, а о переводе знания XX в. в знание XXI.

Предмет должен расширяться более органично, и в этой статье я попытаюсь трактовать сюжеты постструктурализма в терминах моего варианта исторической психологии и в расчете на новое, социополитическое измерение психолого-исторических изысканий. Будут использованы идеи неэпистемологической эпистемологии и, в частности, модифицированный постструктуралистский двучлен «власть-знание», однако достаточно отлично от постструктурализма. В теоретическом плане я попытаюсь ввести потестарное измерение в разрабатываемый мною аппарат исторической психологии, который строится как расширение модели антропокультуры².

Власть-знание и знание-власть

В социальной философии XX в. было общим местом связывать логос и государство. Этому союзу могла даваться положительная оценка. Например: «Отсутствие реальной анархии в больших регионах Европы после крушения Римской империи обязано чувству моральной законности, которое всегда преследовало национальную память имперских народов. Западная церковь также всегда служила там живым воплощением традиций имперского закона.

Важно заметить, что это воздействие права на средневековую цивилизацию происходило отнюдь не под влиянием ряда мудрых представлений, легших в основу поведения человека. То было понятие определенной разработанной системы, которая определяла законность детальной структуры социального организма, а также в точности способ его функционирования. Там не было ничего не ясного. Все строилось не в форме совокупности превосходных максим, но как определенная процедура, приводящая вещи в некоторое соответствие и удерживающая их в нем. Средневековые образовали одну длительную тренировку западноевропейского интеллекта, приучающую его к порядку. Она могла иметь некоторые недостатки, когда это касалось практики. Но сама идея ни на мгновение не утрачивала своей власти. То была эпоха преимущественно упорядоченной мысли, навсквозь рационалистической. Анархия ускорила понимание важности ко-

герентной системы; так же как современная анархия в Европе, стимулировала интеллектуальный образ Лиги наций»³.

Есть и отрицательные оценки. Логически налаженная машина управления обвиняется во всех бедствиях европейской истории: в обезличивании человека, избыточной индустриализации, тоталитаризме, мировых войнах, экономических кризисах, экологических катастрофах. Историческое распространение рассудка (просвещение) квалифицируется как насилие над естественным человеком и вовлечение его в сеть абстрактных отношений⁴.

В 1960–1980-х гг. французский постструктурализм предпринял кардинальную попытку возвыситься над частными оценочными суждениями относительно логократии. Широкое распространение работ Ж. Дерриды, и особенно М. Фуко, имело характер эпистемологического поворота. М. Фуко объявил знание и власть моментами неотъемлемого двустороннего отношения. С помощью формулы *puissance-savoir* (власть-знание)⁵ мэтр постструктурализма сдвигал методологическую ось науки от естественно-научного сциентизма к критике политико-гносеологических оснований современного общества. Подвижка состоялась. Затертый официальным советским марксизмом тезис о буржуазном характере западной науки, освобожден от ограничений к использованию в отношении «передового естествознания» и других объективистских знаний. То, что раньше рассматривалось как открытие законов природы и общества, в значительной степени перешло под рубрики конструирования объектов власти и современного пси-комплекса⁶.

Модель «антропокультура» выводится мной из доктрины опосредствования, но с существенными оговорками, так, чтобы превратить ее в историческую теорию для нужд исследования гуманитарно-социального типа⁷. Гегелево-Марксово *Vermittlung* пытался ввести в психологию Л.С. Выготский, но он успел сделать только наброски, а его последователи, за немногим исключением, употребляли марксизм главным образом в качестве идеологического декора, поскольку как исследователи-эмпирики они не отличались и не стремились отличаться от западных коллег.

Выготский не детализировал политическую движущую силу опосредствования. Правда, «эстетический» Выготский 1920-х гг. (который заканчивается диссертацией «Психология искусства» 1925 г.) не чужд революционному авангардизму: «Поскольку в плане будущего несомненно лежит не только переустройство всего человечества на новых началах, не только овладение социальными и хозяйственными процессами, но и «перековка человека», постольку несомненно переменится и роль искусства»⁸. «Перековка человека» — волевой процесс, и вполне очевидно, кто им будет заниматься. Однако Выготский культурно-истори-

ческих работ выражается более туманно, он предпочитает социальность, овладевающую биологией человека. Социальность действует посредством знаков и по формуле Ф. Бэкона «знание — сила»: «Ребенок овладевает своей реакцией выбора, но не так, что отменяет законы, управляющие ею, а так, что господствует над ней по правилу Ф. Бэкона, т. е. подчиняясь законам»⁹.

Человеческий индивид получает инструменты контроля за своим поведением в детстве от взрослых. Собственно, речь идет о замещении «низших психических функций» «высшими». Взрослый человек управляет сам собой как психократ, т. е. как субъект и личность. Научные понятия помогают владеть собой лучше житейских — большей конкретизации когитократии у Выготского искать не стоит. Для этого лучше возвратиться к Фуко.

Как историк он имеет своим главным и, по существу, единственным объектом тело. Фуко пишет о судьбе телесной культуры и ее подчинении концептуально-визуальному надзору в Новое время. Наука также выступает властью над человеческой телесностью. Нарастивание дискурсивного контроля за телом Фуко прослеживает вполне объективистски, как ученый исследователь в своем главном политико-антропологическом труде «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы»¹⁰.

Однако основные дискурсы Фуко о *power* — *savoir* написаны им в жанре рефлексивной, публицистической прозы, и главный их рефрен — отношение интеллектуала к стесняющим его ограничениям. Тема классическая, и развернута она в соответствующей поэтике, рисующей, конечно, не схваченные властью анатомию и физиологию, а более литературные вещи: личность, социального индивида, его самосознание, Я, борьбу за освобождение и творческое самовыражение. Правда, физиология еще возвратится. Свободную от директив власти телесность Фуко искал в эротических опытах Античности, также в гомосексуальных сообществах Нью-Йорка и Калифорнии. Контроль их свободной, с точки зрения Фуко, жизнедеятельности находится в «самозаботных» компетенциях индивидов, т. е. за пределами научных и литературных дискурсов, в более летучих и ситуативных кодах. Сквозные ссылки на главного постструктуралиста в нынешней гуманитаристике показывают, что постструктуралистская формула на деле покрывает несколько культурных кругов, один из которых предварительно можно обозначить как научный, аналитический, второй как литературный, описательный, а третий как действенный, этикетный. Но это самая предварительная разметка. В макроисторическом плане «круги» маркируют некоторый субстрат, т. е. определенную антропокультуру. Требуется привязать их к формам контроля, которые в разных кругах будут разные. Замечу, что речь не

идет о микросоциологии группового контроля или семиотике норм. Анализ будет институциональным. Моя цель распределить разные суждения о мире и себе, которые называются знанием, по разным и культурно релевантным им матрицам контроля, которые именуются властью, в подобии предварительной и примерной типологии.

Беря пару «власть-знание», я позволил себе поменять местами ее позиции, поскольку отношение будет рассматриваться в ракурсе знания. У Фуко оно рассматривается в ракурсе власти. Уже в своих ранних, эпистемологических, работах он предполагал доминирование власти над знанием, в дальнейшем определял выявление указанного доминирования своей главной исследовательской задачей¹¹.

Перестановка терминов меняет и смысл двучлена. Формула «знание-власть» будет употребляться как родовый термин для нескольких когитократических видов. Цель состоит в том, чтобы исторически конкретизировать постструктуралистский двучлен. Попытки распространить фукеанскую генеалогию власти на досовременную историю имеются, но они оставляют за парой «власть-знание» ее каноническое содержание. А оно, с моей точки зрения, прочитывается у Фуко и его последователей так: «современное (территориальное) государство-наука». Между тем знание, разумеется, не сводится к науке, а власть не сводится к современному (территориальному) государству.

В моем изложении власть и знание будут выступать как паритетные начала. Это позволит удержаться от преувеличений, в частности, от постструктуралистских гиперболизаций дисциплинарного надзора. Никакая власть на земле не избавлена от физических и эволюционно-исторических императивов, поэтому она и вынуждена вступать с их познанием в партнерские отношения и даже признавать за таковым автономный социальный статус. Кроме того, удобно свести знание и власть к двум антропологическим примитивам (слово «примитив» я использую здесь по аналогии с языковыми примитивами) — волевой и когнитивной функциям. Такая психологическая редукция в дальнейшем даст возможность вводить длинную цепь культурно-исторических опосредствований этих исходных функций, вполне признавая, что они выделены и в известной степени «сконструированы» современной наукой для обоснования своего отношения с властью.

О парадигме

Прежде чем приступить к описанию когитократических пар, сделаю разъяснения, без которых мои рассуждения рискуют вызвать недоумение. В развитие моего варианта исторической психологии я буду искать

некие устойчивые связи знания и власти на разных площадках опосредствования, которые называются антропокультурами. Перечень последних можно расширять по мере эмпирического освоения материала и его обобщения. Пока я выделил культуры тела, слова, мысли, образа и эгокультуру. Каждая из указанных антропокультур работает в своем режиме опосредствования со своим антропологическим ресурсом и своими артефактами¹².

Беглый взгляд на перечень вызывает вопросы. Не является ли культура мысли монополистом на использование когниции в качестве власти? Имеется ли когнитивный (мыслительный) момент в таком качестве где-либо, помимо культуры мысли? Первый ответ состоит в том, что нет, второй, что да, но он там непарадигмален, т. е. что мысль вне культуры мысли не легитимизирована как доминирующая социополитическая сила. Ограничиться краткими «нет» и «да» невозможно, следовательно, надо объяснить, зачем и в каком значении в этих рассуждениях появилась парадигма.

Она появилась, поскольку речь идет о социополитической легитимации человеческого существования, т. е. о подведении под норму новых явлений опыта. Поток инноваций непрерывен, и он проходит через нормативный фильтр, прежде чем поступить в коллективный оборот человеческих общностей. Этот фильтр я буду называть парадигмой, а его работу — легитимацией. Понимать подобным образом парадигму мне дает основание автор самой известной ее теории — Т. Кун. В «Структуре научных революций»¹³ он выдвинул два толкования понятия — широкое и узкое. В широком значении парадигма — это и «образ научной реальности», и «стиль мышления», и еще много всякого (рецензенты насчитали в небольшой книге более двадцати значений термина). В узком значении, появившемся как реакция на критику, парадигма — это дисциплинарная матрица, имеющая трехуровневую структуру. В книге «Новая историческая психология»¹⁴ я переименовал парадигму в узком значении в когидигму, а широкое значение куновского термина еще более расширил. Мне кажется, я следую имеющейся тенденции употребления понятия. Сейчас парадигмой именуют нормативные явления в самых разных сферах человеческой жизни, а не только в науке и познании. Едва ли стоит «спорить с веком», тем более что термин оказался удачным обозначением для поисков «общего знаменателя» в социальной деонтике. Однако далее мне пришлось историзировать и специализировать слово. Парадигма стала пониматься мною как конфигурация из социокультурных блоков, регламентирующих и организующих человеческие установления. Культурные блоки, ее составляющие, имеют в глазах общества разную цен-

ность и в разной степени узаконены. Парадигма в таком толковании приобретает характер системы, один из блоков которой является системообразующим, т. е. нормативным для других блоков. Логично, что он будет давать название парадигме. Современная парадигма, как бы ни были пестры применения нормы, имеет общую черту сравнительно с досовременным нормотворчеством. Она секулярная и тяготеет к научной обоснованности. Когда некое явление социальной жизни замечают и «вводят в рамки», то предпочтением пользуются теоретико-эмпирические обоснования. Специалисты в самых разных областях корректируют и обозначают стихийную тенденцию, дают ее анализ. При этом они действуют как ученые, т. е. разделяют общее мировоззрение и специальную теорию, ставят проблему, формулируют гипотезы и обосновывают их на эмпирическом материале. Дальше в легализации социального образца идет только юридическая норма. Но и она, перед тем как облечься в закон, проходит экспертизу, которая выполняется в стилистике более или менее строгого научного исследования. Для современного государства, гарантирующего легальные социальные установления, важно, что их разумность и целесообразность подтверждена наукой.

Сказанное нельзя автоматически применить к любой исторической эпохе. Очевидно, что в досовременных обществах норму обосновывают обряд, миф, религия. Парадигму, в которой Библия — главный источник знания, естественно назвать религиозной¹⁵.

Предвижу вопрос: а как же Античность, разве не она взрастила философию и науку? Читатель может быть спокойным: именно она. Однако философия и наука не были ведущими нормативностями ее опыта. Парадигма Античности была мифоритуальной.

Сделав эти необходимые уточнения, приступлю к описанию когитократических пар. Я предлагал к обсуждению следующий ряд: ритуал-община, философия-империя, религия-церковь, современное (территориальное) государство-наука, постсовременное (глобальное) управление — масс-медиа¹⁶. По ограниченному объему статьи я не дойду до конца перечня и сосредоточусь преимущественно на его первых терминах. Начальная пара ряда подвергнется некоторой модификации. Излишне напоминать, что моя схема носит предварительный характер, она открыта к обсуждению и пересмотру.

К типологии когитократии

Ритуал-община. Ритуал манифестирует исходную телесно-жизненную первооснову человеческого существования. Его архаическая фунда-

ментальность, идущая из времени оно, подтверждается наглядной очевидностью ритуальных фигур. Тело не может сказать о себе что-то вроде *cogito, ergo sum*. Во-первых, телу, по Декарту, не положено разговаривать; как физическая субстанция, оно должно помалкивать и длиться. Во-вторых, оно не имеет первого лица и атрибута мыслящей персоны. Понятие ритуала в науке вырабатывалось вполне по-картезиански, чтобы противопоставить действующее тело мышлению: «Несмотря на различия среди историков религии, социологов и антропологов, их теории ритуала все сходным образом функционируют так, чтобы разрешить комплексную проблему, поставленную исходной бифуркацией мысли и действия. Действительно, теоретический дискурс о ритуале организован как устойчивое целое посредством логики, основанной на оппозиции мысли и действия. Указанный аргумент гласит, что исторически весь предмет обсуждения ритуала возникает как отдельный феномен перед глазами социальных наблюдателей в тот период, когда «разум» и научное продолжение знания определились относительными гегемонами в западной интеллектуальной жизни»¹⁷.

В необозримом массиве *ritual-studies* до сих пор ходит дюркгеймовская трактовка ритуала как действия по реактуализации сакрального символа в целях социального сплочения коллектива¹⁸. Дюркгейм обнаружил в австралийском тотемизме исходную, примитивную религию и отделил верования от ритуала. В отличие от него Леви-Брюль не считал первобытные верования религией и потому сводил верование и действие вместе в так называемой примитивной ментальности¹⁹.

В конце концов, эмансипация, захватившая трудящиеся низы развитых стран и «примитивные народы» третьего мира, распространилась и на телесную культуру, причем настолько, что был признан собственный *modus cognoscendi* последней. За право представлять указанный модус с ритуалом конкурируют и другие претенденты, так что дискуссия перемещается к следующей оппозиции: ритуал или миф? Весьма диалектически и метафорично высказывается по ней К. Леви-Строс: «В целом оппозиция между мифом и ритуалом есть оппозиция жизни и мысли, и ритуал представляет выражение мысли, отдавшей в рабство жизни. Она (оппозиция. — *В. Ш.*) сводит или, скорее, напрасно пытается свести обстоятельства первой к ограниченной ценности второй, что, однако, никогда не может быть достигнуто, в противоположном случае мысль должна сама себя отменить»²⁰. В указанном понимании оппозиции тело предоставляет набор обозначений жизни посредством жестов и предметов, в мифе течение событий выражено словами. Тело работает своими когнициями, а слову предоставлена более высокая роль быть изоморфным самой жизни.

Я не имею намерений углубляться в дискуссии о первобытном мышлении или этнонауках (совокупность практических, неспециализированных, «туземных» знаний). Цель моих рассуждений в том, чтобы обозначить первую (во всяком случае, раннюю) когитократическую связку истории. Хотя современный человек хорошо знает, что двигательная активность есть жизнь и здоровье для его организма, но сам организм высказаться об этом не может. Суждение поручается или картезианскому *cogito*, или выстраивается фигурами анонимных тел. Последний вариант уступает первому в членораздельности, но интереснее нам, коль мы хотим понять, как работает культурно устроенная телесность.

При сравнении субстанциального *cogito*, по Декарту, и когнитивных манифестаций ритуала преэссенциальность познания рисуется в конкуренции разных культурных политик и разных антропокультур. Одна, культура мысли, поддерживает сознание индивидуального Я в сети абстракций, логик и концепций. Другая сводит человеческое существование к соматике.

Но речь идет о культуре, а не биологии. Бытие утверждается через фактурность, за которой стоит живая плоть. Тело дает образ мироздания как физического присутствия. При этом культура тела разрабатывает принцип экономии витальности наподобие того, как мыслекультура — принцип экономии мышления, а словокультура — хорошего литературного выражения. Действие закрепляется в наиболее простых, эффективных фигурах при минимуме аксессуаров. Ритуал же обеспечивает институционализацию телесного миропорядка.

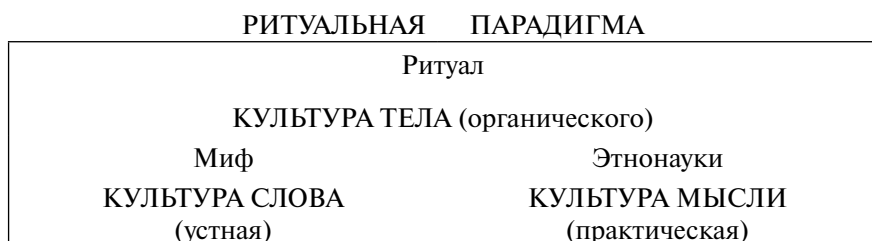
Природа снабжает общество паттернами, по которым то строит первую антропокультуру. Эта культура работает с биоритмами, социализуя природные циклы. Биоритмы питают разнообразные ритуалы, в которых индивид сводится к телесному «есть». Ритуал интертелесен. Он связывает тела и предметы в действии. Эту связь я назвал корпоризацией, а ее функционирование с участием знаниевых схем — фи-комплексом (от *physical* — физический)²¹ по аналогии с пси-комплексом Н. Роуза. Избыточные в аспекте витальной экономии мыслительные, словесные и другие компоненты опыта при этом «страхиваются». Но, очевидно, что указанная редукция равна некоторому утверждению и человек не превращается в животное. Он получает *культурный* признак тела.

Известные нам первобытные и древние ритуалы преимущественно сезонные. Солярно-лунарные циклы породили большое число обрядов. Еще в каменном веке под эти обряды строились мегалиты — центры циклоритуализации первобытного тела. Затем еще более колоссальные сооружения Древнего Египта и Двуречья. Есть и менее броские ритуалообразующие циклы: циркадные, месячные, цирканные, возрастные и т. д.

Ритуалы порождаются онтогенезом (рождение, похороны, инициации, брак), хозяйственными работами, нежелательными природными явлениями и бедствиями. Очевидно, что указанная сфера альтернативна дискурсивным практикам культуры, обеспечивающим пси-комплекс. Пси-комплекс включает живое тело в артефактную среду технической цивилизации, для чего опутывает искусственными кодами словесно-логических дискурсов. Фи-комплекс, наоборот, улавливая и перерабатывая коды природных ритмов, включает человеческие общности в естественную среду, исключая то, что в данный момент будет для природы помехой. Он формует человека как тело в связи с другими телами для исполнения задачи, общей человеку с остальной жизнью: поддержания популяции, экологического равновесия с тем, что популяцию питает и окружает.

Трудно не признать, что ритуал является такой же многозначной конструкцией, как и, скажем, наука. Последняя имеет хозяйственные, технические, политические, культурные и другие аспекты и роли, но все-таки за ее системообразующий признак принято умственное получение знания. Для дописьменных культур такого специального института не выделено. Предполагается, что их познание практично и неспециализировано. Их гнозис «размазан». Ритуал дает в руки кончик нити. Как и наука, первобытное действие является площадкой, на которой культурный инструментарий соединяется для производства необходимых сведений о мире, а также прикладных и гарантированных эффектов для заинтересованных потребителей. Порознь разные вербально-телесные техники (магия, миф, танец) произвести указанные воздействия не могут.

Схематично изображу иерархию системообразующего нормотворчества и «укладов» ритуальной парадигмы так:



Ритуал предстает как особое знание, осуществляющееся и вырабатываемое в действии, на площадке телесной культуры. По отношению к элементам культуры мысли (этнонауки) и культуры слова (миф)

он несет функцию легитимации. Это значит, что опыт становится нормативно признанным, пройдя через фильтр обрядового действия. Ритуальное знание имеет глубоко социетальный характер, причем ключевые характеристики ритуала упираются в операции непосредственной, контактной общности. Локальный коллектив выступает в обрядовых действиях как род самоуправляемой и самоконструируемой, *in vivo*, власти. Это и делает логичным появление пары ритуал-община.

Община в широком значении слова есть контактный человеческий коллектив, первичная социальность, самый естественный способ проживания людей вместе. В ритуале она выступает как знание во власти. Проблема состоит в том, чтобы распространить указанную когитократическую связку на очень широкий и подвижный спектр культурно-политических отношений и форм, в т.ч. выходящих за пределы первобытности.

Подвидом ритуальной парадигмы или даже самостоятельным видом можно предположить мифоритуальную парадигму.

Само по себе соединение мифа с общиной, словосочетание «миф и община» настолько привычны, что кажутся трюизмом. Миф — это вербально-образная мирокартинка первобытности и древности. Однако критерии историзма заставляют вспомнить о ритуале. На рынке гуманитарных понятий миф — предельно перегруженный термин, к тому же, по нынешним представлениям, скорее вечный атрибут человечества, чем его доисторический рудимент. У ритуала же более узкая историческая и специальная приуроченность. Он наделен узнаваемостью перформанса, признаками разыгрываемой телесности, и это позволяет передвигать его к эпохам, где телесность безусловна и не заслонена другими культурными субстратами.

Мифоритуальная парадигма усложнена и раздроблена сравнительно с первоначальной антропокультурной конструкцией. Ей требуется уже систематизация мифов, т. е. вполне автономная и посаженная на письменный субстрат мифология, и такие же развитые производные мыслекультуры. Вместе с ней мы продвигаемся в цивилизации древности. Но при этом ведущей площадкой опосредствований остается телесная культура, а письменное слово и специализированная наука еще не получили преобладания над устной речью и практическим знанием в качестве культурных норм. Появляются механизмы, предвестники культуры механического тела, и отделенная от ремесла инженерно-техническая деятельность (техника), но техника присутствует на фоне полного преобладания ручного физического труда и мускульной энергии.

Вот как может выглядеть мифоритуальная парадигма применительно к Античности:

МИФОРИТУАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА

	ритуал	
миф		КУЛЬТУРА ТЕЛА (органического)
мифология	техника	этнонауки
театр поэзия	риторика	философия наука
литература		
КУЛЬТУРА СЛОВА		КУЛЬТУРА МЫСЛИ
(устного и письменного)		(практической и абстрактной)

Община видоизменяется, переходит из кровнородственной, соседской в гражданскую и городскую (полис). Полис инкорпорируется в тело крупных держав, мифоритуалу приходится конкурировать и вступать в симбиозы с логически взискательным знанием.

Я не имею возможности втягиваться в дискуссии о мифе и общинности. Для моей психолого-исторической схемы знания-власти нужна точка отсчета, и ритуал (миф, мифоритуал) вместе с общиной ее дают.

Там, где мир для человека ограничен общиной (а мир по-древнерусски означает общину), высшей и (действительной) властью для человека является его община (по-древнерусски — мир), а высшим знанием — ритуал, там эта пара является парадигмальной. Но если за пределами этого мира находится другой, с более широким и мощным охватом, то первенство переходит к нему, а нашей когитократической паре остается роль уклада (о соотношении антропокультурной формации и уклада см.²²).

От ритуала-общины к философии-империи

Составляя список когитократий, приведенный в начале параграфа, я отталкивался от фукеанского двучлена «власть-знание», который переведен мною как «современное государство-наука». Непосредственной предшественницей и спутницей последней считается философия. Охватить всю историческую длительность сосуществования философии с государственной властью я не смогу, поэтому ограничусь переходом от одного когитократического тандема к другому.

Итак, парадигма Античности — мифоритуальная. Большинство современников Аристотеля (как и Сократа, Платона, Теофраста) едва ли

помещали философию в центр своего мировоззрения и поверяли ею свои представления о жизни. Она была на периферии их умственных интересов. В древнегреческой школе-гимназии философию не изучали. Там занимались гимнастикой, пением, декламировали Гомера. Философия обитала в сообществах-тиасах. Они имели статус частных культовых объединений. За чем следила полисная когитократия, так это за тем, чтобы предводители этих кружков не пытались насаждать свои учения в качестве общеполисного обряда. Иначе истолковать процессы против философов — Протагора, Анаксагора, Сократа, Деметрия Фалерского — невозможно. Гонений за инакомыслие не было. Любителей мудрости обвиняли в том, что они продвигали свои культы на место народных, т. е. полисных.

Симбиоз преимущественно аграрного сообщества с активной культурой мысли не мог быть бесконфликтным. Он колебался между условным мутуализмом и весьма напряженным антагонизмом. Что философия дала полису приемы и обоснования гражданского устройства, шлифовала логику политической аргументации и этику публичной дискуссии, просвещала массу, ковала элиту, зажигала в трайбалистском мире очаги знаниевого общества — об этом написано очень много. Но является ли рациональность и четкость формулировок для древнейшего гражданского самоуправления абсолютными благами? Уже в начале классической эпохи мы обнаруживаем столкновения полиса с философским рационализмом (процессы Анаксагора и Протагора). В апогее демократии конфликт не смягчается, скорее усиливается.

Полис противился чрезмерному пополнению пантеона за счет обожествления отдельных лиц (отсюда частота обвинений в нечестивости и создании новых богов). Так он отстаивал равенство граждан. Он также препятствовал быстрой рационализации политики, которая разлагала вечевую сакральность государственных решений. Техническая экспертная компетенция в построении нормы не является для полиса идеалом. Философия же, двигаясь в русле мыслекультуры, в определенный момент начинает претендовать на роль логической экспертизы в обосновании человеческих установлений. Своими объяснениями философия разлагает сакральность неписанных божественных гарантий человеку, предлагая взамен необходимую с точки зрения логики и писаную с точки зрения фиксации норму. Полис к такой легитимации относится настороженно, потому что она идет вразрез с непосредственным народоправием. Закон — да, но с одобрения граждан и санкционирующих их согласную волю богов. Непосредственная демократия является видоизмененной контактной общностью. Ученость же может быть консолидирована только в записи. Полис заинтересован в приемах непосредствен-

ной коммуникации, в риторике как языке дискуссии, а не в дедуктивном построении общественных институтов или в культурной методологии логоса. Положение философии в полисе двусмысленно.

Философия так и не попала под непосредственный полисный контроль, хотя дело близилось к этому. В III в. до н. э. «Софокл, сын Амфиклида, внес закон, чтобы никто из философов под страхом смерти не возглавлял школу, кроме как по решению совета и народа»²³.

Философы не захотели под контроль государства и удалились в изгнание. К счастью для философии, закон продержался только год и был отменен. Указанный случай показателен. Очевидно, что полису государственная («общинная»!) философия не нужна. Хоть и в очень специфической форме гражданской общины, полис все-таки тяготеет к двучлену «община-ритуал». Полис не стал запрещать философию, поскольку извлекал преимущества из симбиоза с нею. С ее существованием в форме квазикультового объединения (тиаса) он примирился. До конца Античности философия будет действовать при полисе в качестве такового. Чем дальше, тем больше философия будет переходить под протекцию императорской власти, избавляясь от превратностей свободного политического существования и принимая взамен обязанности перед бюрократической державой. Когитократическая пара «философия – империя» приобретает вполне институциональные очертания в зрело-поздней Античности, при Антонинах и их преемниках.

В послеклассический период философия и полис пришли к сосуществованию. Полис отныне оставил философию в покое. Философия больше не предлагает себя полису в качестве ритуальной деонтики и религии. Примерно в это же время она начинает перемещаться на новую площадку, под крыло Птолемеев, в Александрию, становясь наукой. Но это весьма специфический для Античности и всей досовременности случай, поскольку он требует когитократической пары «наука–территориальное (национальное) государство». В ограниченной степени он имел место в птолемеевом Египте, который, единственный из эллинистических империй, походил на территориальное государство. Массового воспроизводства этого опыта придется дожидаться до Нового времени.

Разумеется, схема есть только схема. Предвижу возражение по тандему «наука – национальное (территориальное) государство», ведь насаждающих науку империй не меньше, чем национальных государств. Напомню, однако, что знамиевый момент в когитократической паре я оцениваю институционально, в аспекте его организационной структурированности и взаимодействия с властью в общественно-политической жизни. Если более конкретно, то меня интересует, как знание вместе с властью генерирует массовые человекоформы эпохи.

В качестве институционализованного человекоприменения наука выступает недавно; на протяжении большей части истории ее роль при власти служебная, а вклад в воспитание личности ограничивается узким кругом избранных. Только в сформировавшихся современных государствах наука становится социальным партнером власти и ведущим фактором массового воспитания. В эпохи же упадка мифоритуалократий и теократий, особенно при малой национальной консолидированности государства, власть, бывает, ищет идейную опору в философии. Самый недавний исторический пример такого альянса — коммунистическая империя СССР, сменившая дореволюционное государственное православие на официальный марксизм-ленинизм. Есть и более старые случаи: философ на троне Марк Аврелий, император Галлиен, обещавший Плотину построить город Платонополис. Стоицизм, неоплатонизм не стали официальными идеологиями Римской империи. Державный город был гражданской общиной, расширившейся на пол-Ойкумены, его власть за пределами метрополии, помимо административно-военного насилия, поддерживалась государственными ритуалами. Поклонники греческой философии на римском престоле, очевидно, чувствовали желательность единого учения, надстраивающегося над многочисленными локальными культурами и не без основания усматривали объединяющее начало в эллинской образованности. Но наклонности просвещенных цезарей не могли, конечно, ни переломить обрядовую инерцию, ни воспрепятствовать приходу христианской теократии. Однако они стали историческим прецедентом. В Новое время к философии благоволили просвещенные монархи: императрица Екатерина II в России, император Франц-Иосиф I в Австрии, закладывавший основы Германской империи король Пруссии Фридрих II.

Вряд ли можно отрицать, что особая роль избранных философских доктрин в культуре и общественно-политической жизни страны гораздо более характерна для Германии и России, чем для республиканской Франции и либерального англосаксонского мира. В XIX в. философия становится чем-то вроде второй религии германской нации. Во всяком случае, она ставит стиль мышления и мировоззренческие представления образованного человека. Параллельно развиваются естественные науки. Они входят в систему образования (*Bildung*) на основе выработанных философской традицией навыков систематического уморассуждения и морально-интеллектуальных ценностей. В России народонаселение после 1917 г. воспитывается в марксистско-ленинском мировоззрении.

Того социального паритета между знанием (наукой) и государством, который описывают М. Фуко и Н. Роуз, в довеймарской Германии и в России не было. В России (и в меньшей степени в Германии) наука слу-

жебна. Она заводится властью и ею содержится. На роль национальной идеи, которая нужна не нациям-государствам (им нужна наука), а полинациональным конгломератам вроде империй имеются другие претенденты. Здесь социальный паритет временами устанавливается между властью и литературой, властью и философией. В России искания Идеи увенчались успехом, и в красной империи, СССР, единственным равномогущим власти идеологическим игроком признавалась философия марксизма-ленинизма, которая учила о приходе рая на земле — коммунизма. Советский Союз стал показательным случаем «империи-философии» при дополнительной опоре на литературоцентризм. В Германской империи между 1871 и 1918 г. философия играла сходную роль при несколько большей самостоятельности исследовательской науки.

¹ Шкуратов В.А. Русская когитократия // Интеллектуальный Ростов: книга дискуссий. Ростов н/Д, 2014. С. 334–339.

² Шкуратов В.А. Историческая психология. 2-е изд., расшир. М., 1997; *Он же*. Новая историческая психология. Ростов н/Д, 2009; *Он же*. Психология в истории культуры и познания. Ростов н/Д, 2011; *Он же*. Антропокультура и сапиентный диапазон эволюции // Стены и мосты. Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях. М., 2012.

³ Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 67.

⁴ Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М., 1997.

⁵ Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002.

⁶ Rose N. The Psychological Complex: Psychology, Politics and Society in England 1869–1939. L., 1985; *Idem*. Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. L., 1990; *Idem*. Inventing Our Selves: Psychology, Power and Personhood. Cambridge, 1996.

⁷ Шкуратов В.А. Антропокультура и сапиентный диапазон эволюции. М., 2012.

⁸ Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968. С. 331.

⁹ Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 3. С. 278.

¹⁰ Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999.

¹¹ Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002.

¹² Шкуратов В.А. Историческая психология. 2-е изд., расшир. М., 1997; *Он же*. Искусство экономной смерти (сотворение видеомира). Ростов н/Д, 2006; *Он же*. Новая историческая психология. Ростов н/Д, 2009; *Он же*. Психология в истории культуры и познания. Ростов н/Д, 2011.

¹³ Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.

¹⁴ Шкуратов В.А. Новая историческая психология. Ростов н/Д, 2009.

¹⁵ Шкуратов В.А. Библейская психология и библейская наррадика // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. № 2 (17). Ростов н/Д, 2010.

¹⁶ Шкуратов В.А. Русская когитократия // Интеллектуальный Ростов: книга дискуссий. Ростов н/Д, 2014. С. 334–339.

¹⁷ Bell C. Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford, 1992. P. 6.

¹⁸ Durkheim É. Les formes élémentaires de la vie religieuse. P., 1912.

¹⁹ Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.

²⁰ *Levi-Strauss C. Mythologiques, IV. L'homme nu. P., 1971. P. 603.*

²¹ *Шкуратов В.А. Психология в истории культуры и познания. Ростов н/Д, 2011.*

²² *Шкуратов В.А. Междисциплинарность в социокультурном контексте (проекты исторического синтеза и новой истории во Франции) // Стены и мосты. История возникновения и развития междисциплинарности. М., 2015.*

²³ *Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986. С. 199.*

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОПЫТ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ В ГЕРМАНИИ

Горобий Алексей Викторович

Тверской государственной университет,
г. Тверь

Аннотация: Статья «Междисциплинарный потенциал исследований по истории понятий в Германии» преследует цель рассмотреть развитие методологии истории понятий в контексте расширения междисциплинарного взаимодействия в Германии на рубеже XX–XXI вв. В статье затрагиваются вопросы диалога между философией, гуманитарными и естественными науками. Отдельной строкой проходит проблема межнационального и межкультурного понятийного трансфера, в частности, на примере миграции понятий между Россией и Германией. Междисциплинарные исследования рассматриваются как важный фактор институционализации истории понятий, развития ее методологической базы.

Ключевые слова: междисциплинарность, понятия, словари, Германия, философия, история.

История понятий сформировалась в 1960–1970-х гг. в ФРГ как методологическая программа, ориентированная на осмысление языковых (понятийных) и исторических оснований современного знания. Первоначально данная программа применялась в философии и в исторической науке, что выразилось в издании соответственно «Исторического словаря философии» под редакцией Йоахима Риттера¹ и словаря «Основные исторические понятия» под редакцией Райнхарта Козеллека². Уже в этих словарях декларировался междисциплинарный профиль, однако в значительной мере они оставались верны своей дисциплинарной принадлежности. Между тем нарастающая к концу XX в. специализация научных исследований, затрудняющая взаимопонимание между их представителями подчас до такой степени, что речь заходила о «вавилонском смещении языков»³, требовала поиска путей по-настоящему широкого междисциплинарного взаимодействия. Одним из таких путей в настоящее время является история понятий. **Цель данной статьи** — рассмотреть методологическую программу истории понятий в контексте обсуждения ключевых проблем междисциплинарного диалога.

В 1984 г. в Центральном институте истории литературы Академии наук ГДР был задуман *Исторический словарь основных эстетических понятий* — во многих смыслах знаковое событие. В программной статье, опубликованной в западногерманском журнале «Архив истории понятий» в 1989 г.⁴, речь идет о том, что история понятий должна работать не с точки зрения последовательности теорий великих мыслителей, а «снизу» — с точки зрения повседневной, социальной стороны понятий. Она разворачивается на II метауровне — на уровне рефлексии над понятиями как результатами рефлексии (I метауровень) над эстетической практикой (предметный уровень).

В основе концепции словаря лежит следующая гипотеза: история эстетического мышления в эпоху модерна (с XVIII в.) определяется противоречием между системообразующей теорией философской эстетики и системоразрушающей практикой мастеров искусства. В связи с этим лейтмотивом словаря должно быть обращение к тем формам и областям эстетической практики, которые лежат за традиционными границами искусств⁵.

Обычные слова становятся *основными эстетическими понятиями* при обременении их первоначального значения комплексным и противоречивым социально-историческим опытом: «понятия есть памятники проблем»⁶. Параллельно авторы статьи используют и материалистическое определение, согласно которому понятия — это не непосредственно языковое, это конечная интермодальная ступень формирования образов за счет всех органов чувств⁷.

После объединения Германии проект словаря был доверен Центру литературных и культурных исследований в Берлине и реализован в 2000—2005 гг. путем издания 7 томов. Материалистическое определение понятий не было включено в предисловие к первому тому Исторического словаря основных эстетических понятий. Концепция Исторического словаря основных эстетических понятий состоит в рассмотрении эстетических понятий с точки зрения междисциплинарного (межкультурного) и межнационального (переводческого) трансфера, который зачастую ведет к перекодировке и дифференциации понятий в разных культурных средах⁸. Составители словаря говорят о «компаративистской истории понятий», которая освещает диалектический процесс дисциплинарного сужения и одновременно трансдисциплинарного распространения понятий⁹.

Как отмечает Карстен Дутт, Исторический словарь основных эстетических понятий отражает междисциплинарное взаимодействие в первую очередь философии и *литературоведения*¹⁰. Другим свидетельством вклада литературоведения в историю понятий является трехтомный

Предметный лексикон немецкого литературоведения¹¹. В данном словаре содержание понятий эксплицируется в процессе его рациональной реконструкции, которая проходит два этапа: 1) анализ предшествующих вариантов употребления понятийного слова (*explicandum*); 2) очерчивание рекомендуемого варианта словоупотребления на основе логически четко структурированных (например, «необходимый», «типичный», «альтернативный» или «факультативный») семантических признаков уточненного понятия (*explicans*)¹².

В 1992–2012 гг. был издан *Исторический словарь риторики*¹³ как попытка преодолеть «нескоординированность исследований риторики и неясность ее научных контуров, вызванную ее недостаточной институционализацией и рассредоточенностью между сферами компетенции разных дисциплин». Исторический словарь философии Й. Риттера рассматривался как «пилотный проект», который может быть «моделью для всех гуманитарных наук и в особенности для риторики»¹⁴. В основе методологической концепции словаря лежат рассмотрение риторики в культурно-историческом контексте и представление о влиянии риторики на различные стороны культуры европейских стран — на литературу, юриспруденцию, логику и философию. Издатели словаря видят свою задачу в описании «исторических эпох культуры риторики с Античности до наших дней», а также риторики неевропейских письменных и бесписьменных культур. При этом конкретные формы риторики выявляются, исходя из коммуникативной практики других народов с учетом их специфических культурных стандартов¹⁵.

Межкультурный и межнациональный аспект истории понятий разрабатывается Клаусом Штедтке с акцентом на понятийный трансфер между Германией и Россией¹⁶. Он утверждает, что понятия выполняют: а) метаязыковую функцию, фиксируя представления той или иной культуры о самой себе; б) нормативную функцию, устанавливая ценности, традиции, модели поведения и тем самым обеспечивая консенсус внутри культуры. При этом Штедтке опирается на теорию семиотики культуры Ю.М. Лотмана, согласно которой каждая культура вырабатывает некий метаязык для самоописания и отграничения от иных культур. Лотман представляет себе культуру как динамичную модель, в которой «структурные формы» являются продуктом диалога между центром и периферией. В этом свете Штедтке проектирует расширение истории понятий за пределы Германии: вся европейская культурная история может быть интерпретирована как взаимодействие между центральными и периферийными регионами. В частности, применительно к России XVIII в. можно говорить только о переводе западных понятий и освоении западных культурных моделей, а затем появилась собственная худо-

жественная практика и дискурсивная система культуры, которая к концу XIX в. окрепла и, выходя за свои границы, стала активно влиять на европейские «центральные» культуры. Для истории понятий как части сравнительной культурной истории особый интерес представляют:

- исторические стратегии перевода понятий с одного языка на другой;
- связь национальной истории понятий с «центральными» образцами;
- особые функциональные механизмы, за счет которых заимствованные понятия вызывают развитие национальной культуры¹⁷.

С 1972 по 2006 г. в ФРГ издавался *Настольный словарь музыкальной терминологии*¹⁸, выдержанный в русле истории слов. Его редактор Ханс Хайнрих Эггебрехт указывал, что «музыка сама по себе непонятна. Поэтому музыка не может быть предметом истории понятий в строгом смысле. Только отражаясь в вербальном языке, она приобретает понятийные контуры»¹⁹. Схематически это выглядит так:

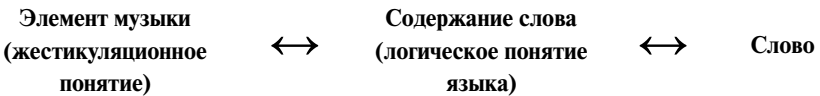


Рис. 1. Соотношение элементов музыкальной истории понятий

Однако Кристиан Каден в статье 1989 г. выдвинул возражение: «Понятия необязательно должны иметь логическую форму и быть привязаны к тому или иному термину»²⁰. Он провозгласил основной задачей музыкальной истории понятий перевод из жестикюляционной модальности музыки в логически-символическую модальность языка. Кроме того, он сформулировал следующие ее программные положения: 1) историзация не в смысле простой последовательности концептуализаций, а в смысле раскрытия процесса их трансформаций, в которых разрывы всегда сочетаются с континуитетом; 2) составление «родословного дерева» понятий (см. рис. 2), отображающего различные их раздвоения и перегибы, а также моделирование процесса переплетения «родословных деревьев» понятий разных культур; 3) изложение истории понятий как открытой, развертывающейся во времени системы²¹.

В 1998 г. в Бад-Хомбурге (Гессен) состоялся симпозиум, на котором обсуждались различные вопросы *междисциплинарности* истории понятий. По результатам симпозиума был издан соответствующий сборник²², в предисловии к которому Пюнтер Шольц задается вопросом, связана ли междисциплинарность истории понятий с ее философским происхождением или она присуща методу истории понятий как таковому? С одной стороны, философия всегда занималась методологической рефлексией

сией над основаниями наук, а значит, она всегда была междисциплинарной. С другой стороны, история понятий сама по себе никогда не ограничивалась пределами какой-либо одной дисциплины. Таким образом, история понятий является междисциплинарной с трех точек зрения. Во-первых, она реконструирует общие для различных дисциплин языковые предпосылки, поскольку всякие новые термины возникают из имеющегося языкового материала. Во-вторых, она раздвигает границы специальной научной терминологии и рассматривает среди прочих такие понятия, которые являются конститутивными для целой культуры. В-третьих, такие интегративные исследования требуют междисциплинарного сотрудничества и способствуют ему²³. По мнению Ирмлин Вейт-Браузе, история понятий, будучи институционально локализована в философии, представляет собой нечто большее, чем просто одну из

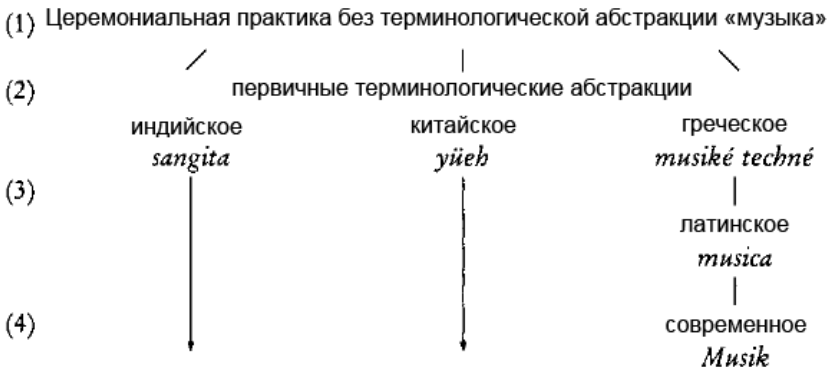


Рис. 2. Родословное дерево понятия «музыка»

философских дисциплин: она есть *conditio sine qua non*²⁴ всех дискуссий о междисциплинарных исследованиях²⁵.

В 2004 г. в Берлине в Центре литературных и культурных исследований прошел семинар «Перелом в истории понятий?»²⁶. Образ «перелома» был связан с завершением крупнейших проектов по истории понятий и с происходящим в настоящее время в гуманитарных науках *культурологическим поворотом*, в который история понятий вносит свой вклад в той мере, в какой она утверждает антитеологическое представление об исторической обусловленности всех форм знания. Обратное влияние культурологического поворота на историю понятий проявляется в смещении предметного интереса истории понятий — от науки к знанию, от эстетики к произведениям искусства, от теории к практикам и техникам, от письменных источников к другим типам передачи инфор-

мации, от абсолютных метафор к метафорологическому мышлению и его референциям²⁷.

История понятий и *естественные науки* долгое время были обособлены друг от друга, однако идущий в настоящее время процесс институционализации истории понятий требует ее выхода за рамки чисто гуманитарной сферы. Это подтолкнуло Центр литературных и культурных исследований к организации в 2007 г. конференции, итогом которой стал сборник «История понятий естественных наук»²⁸. Его редакторы Эрнст Мюллер и Фалько Шмидер во введении указывали, что «историческая семантика естественных наук пока почти не изучена». Если гуманитарная история понятий зачастую преувеличивает миф о преимственности понятий, то в естественных науках, наоборот, не замечаются стабильные семантические элементы и преобладают теории возникновения новых понятий без учета их предыстории²⁹.

Необходимо понимать, что противопоставление гуманитарных и естественных наук не может быть легко преодолено; перенос истории понятий, сложившейся в философии и истории, в сферу естественных наук требует переосмысления или даже ревизии ее инструментария. В естественно-научной сфере история понятий сталкивается не столько с исторически изменяющимися значениями того или иного термина, как в гуманитарных науках, сколько с процессами возникновения понятий, связанных с материальной практикой и недискурсивным знанием. В частности, «технически-аппаратный уровень, конкретные материальные практики проведения экспериментов имеют свою собственную динамику», которая не раскрывается герменевтически³⁰.

Ханс-Йорг Райнбергер различает стабильную и нестабильную привязку понятий к предметам. Стабильные понятийные воплощения — это предметы (феноменотехники) как совокупность экспериментальных условий исследовательского процесса. В этих рамках нестабильно закреплены «эпистемные предметы» как конкретные объекты научного познания³¹. Райнбергер рассматривает историю понятий эмпирических наук через призму развития феноменотехник, однако каждое понятие не является порождением какой-то одной феноменотехники. Для истории науки характерно «кочевание понятий» между различными исследовательскими областями и дисциплинами на микро- и макроуровне³². Как правило, понятия, утвердившись в одной феноменосфере, далее присоединяются к ее экспериментальной динамике и нагружаются локальной семантикой.

Подводя итоги современного этапа в развитии истории понятий, можно согласиться с Понтером Шольцем в том, что междисциплинарность является органическим модусом понятийных исследований, что

связано не только с философски-рефлексивной (над-дисциплинарной) природой истории понятий, но и с универсальным характером многих понятий, свободно кочующих между дисциплинами. В роли посредницы (медиатора) междисциплинарного диалога история понятий способна разрешить многие научные дилеммы — такие как дуализм гуманитарных и естественных наук, соотношение синхронного и диахронного, национального и компаративного аспектов в истории науки и т. д. Кроме того, вовлеченность истории понятий в культурологический поворот придает ей важные социально-конституирующие функции: изучение универсальных понятий способствует интеграции культурного сообщества в целом, что в свою очередь стимулирует расширение междисциплинарного взаимодействия.

¹ Historisches Wörterbuch der Philosophie / Hrsg. von J. Ritter, K. Gründer und G. Gabriel: In 13 Bänden. Basel: Schwabe Verlag, 1971–2007.

² Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. In 8 Bänden. Stuttgart: Klett-Cotta, 1972–1997. В сокращенном виде этот словарь издан на русском языке: Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи: В 2 т. / Пер. с нем. К.А. Левинсон; сост. Ю.П. Зарецкий, К.А. Левинсон, И. Ширле; под общ. ред.: Ю.П. Зарецкий, К.А. Левинсон, И. Ширле. Т. 1–2. М., 2014.

³ *Dogan M.* The Moving Frontiers of the Social Sciences // Grenzüberschreitungen in der Wissenschaft / Hrsg. von P. Weingart. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1995. S. 98.

⁴ *Barck K., Fontius M., Thierse W.* Historisches Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe // Archiv für Begriffsgeschichte. Band XXXII. 1989. S. 7–33, здесь S. 23.

⁵ *Barck K., Fontius M., Thierse W.* Historisches Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe // Archiv für Begriffsgeschichte. S. 11, 25.

⁶ *Adorno Th.* Philosophische Terminologie in 2 Bänden. Band II. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974. S. 13.

⁷ *Barck K., Fontius M., Thierse W.* Op. cit. S. 18.

⁸ Vorwort // Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden / Hrsg. von K. Barck et al. Stuttgart: Metzler, 2000–2005. Band I. 2000. S. 12.

⁹ *Barck K.* «Ästhetik»: Wandel ihres Begriffs im Kontext verschiedener Disziplinen und unterschiedlicher Wissenschaftskulturen // Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte. S. 55.

¹⁰ *Dutt C.* Begriffsgeschichte als Aufgabe der Literaturwissenschaft // Literaturwissenschaft als Begriffsgeschichte / Hrsg. von Ch. Strosetzki. Hamburg: Meiner, 2010. S. 100–101.

¹¹ Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft in 3 Bänden / Hrsg. von K. Weimar, H. Fricke, K. Grubmüller, J.-D. Müller. Berlin: Walter de Gruyter, 1997–2003.

¹² *Fricke H.* Begriffsgeschichte und Explikation in der Literaturwissenschaft // Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte. Hamburg, 2000. S. 67–72.

¹³ Historisches Wörterbuch der Rhetorik / Hrsg. von G. Ueding. In 11 Bänden. Tübingen: de Gruyter, 1992–2012.

¹⁴ *Ueding G.* Das Historische Wörterbuch der Rhetorik // Archiv für Begriffsgeschichte. Band XXXVII. 1994. S. 8–9.

¹⁵ *Robling F.H.* Rhetorische Begriffsgeschichte und Kulturforschung beim «Historischen Wörterbuch der Rhetorik» // Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte. Hamburg, 2000. S. 43–44, 52–53.

¹⁶ *Städte K.* Begriffsgeschichte als vergleichende Kulturgeschichte. Ästhetische Terminologie in Russland // Ästhetische Grundbegriffe. Studien zu einem historischen Wörterbuch / Hrsg. von K. Barck, M. Fontius und W. Thierse. Berlin: Akademie-Verlag, 1990. S. 65–92.

¹⁷ *Ibid.* S. 67–68, 70–71.

¹⁸ Handwörterbuch der musikalischen Terminologie / Hrsg. von H.H. Eggebrecht und A. Riethmüller. Mainz; Stuttgart: Steiner, 1972–2006.

¹⁹ *Eggebrecht H.H.* Musikalisches und musiktheoretisches Denken // Ideen zu einer Geschichte der Musiktheorie: Einleitung in das Gesamtwerk. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985. S. 40.

²⁰ *Kaden Ch.* «Was hat Musik mit Klang zu tun?!» Ideen zu einer Geschichte des Begriffs «Musik» und zu einer musikalischen Begriffsgeschichte // Archiv für Begriffsgeschichte. Band XXXII. 1989. S. 42.

²¹ *Ibid.* S. 47–53.

²² Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte / Hrsg. von G. Scholtz. Hamburg: Meiner, 2000.

²³ *Scholtz G.* Vorwort // Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte. Hamburg: Meiner, 2000. S. 10–12.

²⁴ Обязательное условие (*nam.*).

²⁵ *Veit-Brause I.* Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte als Brücke zwischen den Disziplinen // Die Interdisziplinarität der Begriffsgeschichte. Hamburg: Meiner, 2000. S. 16.

²⁶ Begriffsgeschichte im Umbruch? / Hrsg. von E. Müller. Hamburg: Meiner, 2005.

²⁷ *Müller E.* Einleitung. Bemerkungen zu einer Begriffsgeschichte aus kulturwissenschaftlicher Perspektive // Begriffsgeschichte im Umbruch? S. 13.

²⁸ Begriffsgeschichte der Naturwissenschaften: zur historischen und kulturellen Dimension naturwissenschaftlicher Konzepte / Hrsg. von E. Müller und F. Schmieder. Band XXIII. Berlin: de Gruyter, 2008.

²⁹ *Müller E., Schmieder F.* Einleitung // Begriffsgeschichte der Naturwissenschaften. S. 14.

³⁰ *Porath E.* Begriffsgeschichte der Naturwissenschaften — die historische Dimension naturwissenschaftlicher Konzepte. Ein Workshop des Zentrums für Literatur — und Kulturforschung // Weimarer Beiträge. 2007. № 53. S. 452.

³¹ *Rheinberger H.-J.* Objekt und Repräsentation // Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten / Hrsg. von B. Heintz und J. Huber. Zürich: Voldemeer, 2001. S. 55–61.

³² В частности, понятие морфогенетического поля утвердилось в эмбриологии как раз в то время, когда в физике понятие поля завоевало господство. См.: *Rheinberger H.-J.* Begriffsgeschichte epistemischer Objekte // Begriffsgeschichte der Naturwissenschaften. S. 8.

ПОНЯТИЕ «ЛИБЕРАЛИЗМ» В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ Н.А. БЕРДЯЕВА В НАЧАЛЕ XX В.

Калашников Михаил Васильевич

Саратовский государственный технический
университет им. Ю.А. Гагарина,
г. Саратов

***Аннотация:** Цель статьи — проследить изменения смысла понятия «либерализм» в политическом дискурсе Н.А. Бердяева в 1901–1918 гг. на основе анализа значения слова «либерализм» в его текстах данного периода и выявить причины, вследствие которых это происходило. В статье рассматривается попытка Н.А. Бердяева определить понятие «свобода» в качестве трансцендентального означаемого понятия «либерализм», выявляется связь понятий «либерализм» и «национализм», анализируется влияние революции 1917 г. на изменение семантики понятия «либерализм» в политическом дискурсе Н.А. Бердяева.*

***Ключевые слова:** Н.А. Бердяев, понятие «либерализм», понятие «национализм», историко-семантический анализ.*

Понятие «либерализм» — одно из ключевых понятий общественно-политической сферы эпохи Современности (Модерна). Перипетии смысла понятия «либерализм» в русском общественном сознании конца XX — начала XXI в. делают актуальным историко-семантический анализ этого понятия в русском общественном сознании такой переломной эпохи, как эпоха войн и революций начала XX в.

Цель статьи — проследить изменения смысла понятия «либерализм» в политическом дискурсе Н.А. Бердяева в 1901–1918 гг. на основе анализа значения слова «либерализм» в его текстах данного периода.

В статье использован метод историко-семантического анализа, исходный тезис которого — естественный язык — это изменяющаяся во времени знаковая система семантически организованного общественного сознания. Соответственно, анализ общественного сознания какой-либо эпохи невозможен без анализа языка этой эпохи¹. Тематически статья продолжает исследование автора о понятии «либерализм» в русском общественном сознании XIX в.²

К началу XX в. понятие «либерализм» в русском общественном сознании утрачивает свой проективный потенциал, заложенный в него

Б.Н. Чичериным в эпоху Великих реформ. Уже в 1890-х гг. онтологически оно начинает ассоциироваться с системой юридического равенства и обществом господства рыночных, товарно-денежных отношений. В конце 1890 — начале 1891 г. К.Н. Леонтьев пишет: «Равноправность, либерализм и капитализм, видимо, теснейшим образом связаны между собою в жизни»³.

На рубеже XIX—XX вв., в записной книжке 1897—1904 гг., А.П. Чехов, образно раскрывая политический смысл понятия, записывает: «Умеренный либерализм: нужна собаке свобода, но все-таки ее нужно на цепи держать»⁴. В это время семантическое поле понятие «либерализм» в русском общественном сознании пересекалось и с семантическим полем понятия «мещанство». А сам образ либерала-мещанина представлялся крайне сниженным. А.П. Чехов свои наблюдения, вероятно за каким-то конкретным человеком, отразил в записной книжке так: «Когда этот либерал, пообедав без сюртука, шел к себе в спальню, и я увидел на его спине помочи, то было так понятно, что этот либерал — обыватель, безнадёжный мещанин»⁵. Совершенно в том же духе говорит об этом явлении один из героев очерка М. Горького «Мужик», написанного в 1899 г., В.И. Сурков, помощник присяжного поверенного, обладатель доставшегося по наследству «крупного состояния» и мастер «вдохновенных нелепостей»: «...я <...> не хочу выродиться в порядочного человека... Я боюсь превратиться в порядочного человека <...> Все порядочные люди — это идейные мещане... Порядочность — мещанский идеал. Порядочный человек образуется из платонического почтения к великим реформам и скрытой боязни будочника... Порядочный человек обязан склеивать себе убеждения из передовых статей либеральных газет, и, хотя такие убеждения не отличаются прочностью, но шелестят, как шелковые...»⁶.

То есть слова, означающие «либеральные убеждения», приятные на слух, но потерявшие смысловую связь с явлениями действительности, в этот период не только воспринимались как атрибут мещанства, но даже сами его символизировали.

К началу XX в. понятие «либерализм» не менее тесно связывалось и, как казалось уходящей в прошлое, с позитивистской системой мировоззрения. В 1901 г. Н.А. Бердяев, встав на позиции метафизического идеализма, писал: «“Позитивизм”, который оберегается нашей традиционно-прогрессивной журналистикой от метафизических набегов, есть бесцветнейший либерализм в философии со всеми признаками либеральной половинчатости»⁷.

4 февраля 1904 г. умер Б.Н. Чичерин, а 17 января на сцене Московского Художественного театра состоялась премьера комедии А.П. Чехо-

ва «Вишневый сад». Главные герои комедии, Л.А. Раневская и ее брат Л.А. Гаев, — дети тех, кто вырос в либеральной атмосфере русской дореформенной усадьбы. В период оформления замысла комедии главная героиня, будущая Л.А. Раневская, виделась А.П. Чехову так: «...либеральная старуха (чуть старше 40 лет. — М. К.), одевается, как молодая, курит...»⁸. Однако либеральные идеи в пьесе транслирует ее брат — помещик-шут, «аристократ» Л.А. Гаев, фамилия которого, вероятно, образована от слова гаер — шут⁹. Нет комедии без шута.

В первом действии пятидесятилетний резонерствующий шут Л.А. Гаев, которому уже во втором действии раздраженный Е.А. Лопухин почти кричит: «Баба вы!», обращаясь к столетнему книжному шкафу, произносит пафосную, насыщенную либеральной риторикой речь. «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, — декламирует Л.А. Гаев, — которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (*сквозь слезы*) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания»¹⁰.

Для непонятливых зрителей и читателей в конце первого действия Л.А. Гаев говорит своей племяннице Ане: «И сегодня я речь говорил перед шкапом... так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо». Глупо и неуместно было не только то, как он это сделал, но и то, что он говорил. Необходимо отметить, что в самой речи Л.А. Гаева перед столетним книжным шкафом А.П. Чехов пародировал либеральную риторику эпохи Великих реформ, ощущавшуюся в начале XX в. как пустое и не имеющее цены фразерство, как россыпь симулякров, пустых знаков. Характерно, что известный юрист А.Ф. Кони, ученик Б.Н. Чичерина по Московскому университету, в письмах учителю использовал именно эту риторику. «Тридцать четыре года назад, — писал он 15 ноября 1898 г., — слушал я Вас в университете и в Ваших словах почерпал идеал правды и справедливости...». 12 февраля 1901 г. А.Ф. Кони писал: «...Вы не можете не чувствовать той любви, которую я питаю к Вам, как живому насадителю во мне и носителю “даже до сего дни” лучших идеалов человека и гражданина»¹¹.

Однако в начале XX в. единственным прибежищем «светлых идеалов добра и справедливости», «веры в лучшее будущее», «идеалов добра и общественного самосознания» становится столетний книжный шкаф, стоящий в «комнате, которая до сих пор называется детской» в когда-то «богатом и уютном» господском доме. Собственно, в этом и состоит смысл чеховской иронии.

На смерть Б.Н. Чичерина откликнулся Н.А. Бердяев. В октябре 1904 г. в журнале «Новый Путь», назвав Б.Н. Чичерина «нашим единст-

венным теоретиком либерализма», он писал: «Сила Чичерина была <...> в сознании метафизической природы либерализма, взятого в его идеальной, надисторической чистоте». Б.Н. Чичерин, по мнению Н.А. Бердяева, «понял <...> глубокую внутреннюю связь свободы политической с свободой метафизической». И более того: «...только он понял глубочайшие идеальные основы либерализма». Вследствие этого Б.Н. Чичерин, который «никогда ни в чем не сомневался, этот каменный, рациональный человек», стоит, по мнению Н.А. Бердяева, «многими головами выше обыкновенных либеральных позитивистов, которые защищают либерализм, не понимая его сущности и значения»¹².

В этой же статье Н.А. Бердяев констатировал: «Слово либерализм замарано и обесценено, хотя, — как он полагал, — происходит оно от величайшего из человеческих слов — от слова свобода». Вместе с тем Н.А. Бердяев считал, что существует «чистый, истинный либерализм, не запятнанный прикосновением общественных сил, предавших свободу во имя своих интересов...»¹³.

Пытаясь разорвать уже сложившуюся в русском общественном сознании онтологическую связь либерализма и капитализма, Н.А. Бердяев писал: «Экономический индивидуализм был исторически случайным предикатом либерализма и не входил в его истинную сущность»¹⁴. Более выразительно Н.А. Бердяев писал об этом еще в октябре 1903 г. в журнале «Мир Божий»: «Возьмем для примера либерализм, самую крупную политическую и правовую идеологию и вместе с тем наиболее подозреваемую в чисто классовом экономическом происхождении. Все повторяют ту до пошлости шаблонную формулу, что либерализм есть доктрина буржуазная и возникла для материальных интересов растущего третьего сословия <...> Все недоразумение основано тут на смешении идеальной сущности либерализма, его поистине вечных целей, с теми временными средствами, которыми он пользовался в известную эпоху, с теми искажениями и тою непоследовательностью, которые проявляют реальные исторические силы»¹⁵.

«Исторический либерализм» представлялся Н.А. Бердяеву в этой же статье 1903 г. «ограниченным». Он полагал, что либерализм подвергается искажению «со стороны тех или других общественных сил», и признавал буржуазными «те средства, которыми пользовались в известную историческую эпоху для осуществления целей либерализма». Вместе с тем Н.А. Бердяев полагал, что «идеальные принципы либерализма исходят из глубины человеческого духа и являются раскрытием вечных нравственных ценностей». Вечные принципы, по мнению Н.А. Бердяева, «высшаются «над всякою социальной действительностью и социальной группировкою, и теперь», как он считал, «новые общественные силы

группируются» для их «последовательного проведения в жизнь». Такой силой в 1903 г. он считал социал-демократов, которые, по его мнению, «являются единственными настоящими, последовательными либералами, так как несут знамя свободы и равенства, “естественных прав” человека». Социал-демократам, в частности, по мысли Н.А. Бердяева, предстояло воплотить в жизнь вечные принципы, составлявшие, как он полагал, «вечную нравственную сущность либерализма»: «идеи личности с ее неотъемлемыми естественными правами, идеи свободы и равенства, <...> идеи гарантий всех неотчуждаемых личных прав в государственном устройстве»¹⁶.

В 1904 г. Н.А. Бердяев попытался переформатировать понятие «либерализм» и посредством понятия «демократия» связать его с понятием «социализм». Он писал: «Социальный демократизм есть только метод последовательного развития и воплощения в жизнь принципов либерализма». Однако построения Н.А. Бердяева были логической ошибкой, паралогизмом. Он писал: «Если демократия есть неизбежный вывод из сущности либерализма, то также неизбежно демократия делается социальной». Метаморфоза частного логически приравнивалась к общему, из которого это частное извлекалось. Одновременно Н.А. Бердяев полагал, что «внутренняя сущность демократизма» тождественна «с внутренней сущностью либерализма»¹⁷. То есть метафизически, согласно Н.А. Бердяеву, понятия «либерализм», «демократизм» и «социализм» — это синонимы одного трансцендентального означаемого.

В построениях метафизического идеалиста Н.А. Бердяева понятие «либерализм» оказывалось даже не знаком, а именем платоновской, точнее платонической, вечной идеи свободы, постоянно пребывающей в сверхчувственной неизменной сфере, а не в пространстве чувственного социального — изменяющегося и всегда конкретно-исторического. Идея свободы для него, как и для Б.Н. Чичерина в 1865 г., — это трансцендентальное означаемое понятия «либерализм».

Однако как раз «метафизически» понятие «либерализм», а тем более его некая «идеальная сущность», для материалистически-позитивистского русского леворадикального сознания начала XX в. имело ярко выраженную коннотацию буржуазности, т. е. идеологической (классовой) чужеродности. Одновременно понятие «либерализм» имело и негативные антропологические коннотации «мягкотелости», которой противопоставлялась «твердость», как в оппозиции женское — мужское.

Уже в разгар революции, весной 1905 г. Н.А. Бердяев, ощутив, вероятно, несостоятельность попыток семантического синтеза понятий «либерализм» и «социализм», признается: «...опыт европейского либерализма давит нас как кошмар»¹⁸.

В это время в России понятие «либерализм» было настолько непопулярно, что Конституционно-демократическая партия, учрежденная в октябре 1905 г. (а с января 1906 г. и Партия народной свободы), не использовала его ни в программных документах, ни тем более в названии. «В условиях России начала XX в. они (кадеты), — как заметил Т. Шанин, — отказывались называть себя “либералами” и использовали вместо этого термин “конституционалисты”...»¹⁹. В представлении кадетов «либеральные картонные носы» надели, как на маскараде, октябристы (члены Союза 17 октября)²⁰.

Для правых понятие «либерализм», в целом маргинально маркированное, в это время ассоциировалось и с противозаконными действиями, с коррупцией представителей власти. В феврале 1906 г. один из вождей черной сотни, юрист и публицист П.Ф. Булацель, писал: «...многие наши сановники не сознают, что для русского сановника благо родины должно быть выше, чем личная выгода. Когда-то “либерал” было лестное выражение, но русские либеральные сановники опошлили его»²¹. Впрочем, в том же самом он обвинял и представителей центристских партий.

Современный исследователь пишет, что во время революции 1905–1907 гг. на страницах газет достаточно часто «можно было встретить употребление слова “либерал” в переносном и негативном значении»²². Заметим, однако, что в это время в русском общественном сознании никакого *прямого* значения у слова *либерал* как раз-то и не было. Все его значения были *переносными*, т. е. негативными. Даже Н.А. Бердяев, все еще пытавшийся по-своему реформировать понятие «либерализм», вложив в него «истинный», на сей раз уже анархический смысл, определял его с помощью негативного противопоставления государству. В конце 1906 — начале 1907 г. он писал: «Настоящий, идейный либерализм всегда антигосударствен, анархистичен по своей основной тенденции <...> Чистый и честный либерализм <...> никогда не загрязнит и не опозорит себя общением с государственным насилием и внутренне тождествен с анархизмом»²³.

После революции 1905–1907 гг. понятие «либерализм» в русском общественном сознании уже однозначно ассоциировалось с чем-то оставшимся в далеком прошлом. Проект будущего возникал только из понятия «социализм». В 1910 г., отвечая на поставленный им же самим вопрос «Почему же социализм нашел себе благодарную почву именно среди русской интеллигенции?», «легальный марксист» М.И. Туган-Барановский писал: «Идеал либерализма уже давно потерял свою действительную силу и ни в ком энтузиазма не вызывал; уже давно никто не верит, что политическая и гражданская свобода, как бы широка она ни была, могла

сама по себе привести к удачному разрешению социальных вопросов нашего времени и общему благополучию. Идеал мощного национального государства не мог находить ни малейшего отклика в душе интеллигента, ведущего с этим самым государством упорную борьбу. Таким образом, только для идеала социализма душа русского интеллигента была открыта»²⁴.

В это время понятие «либерализм» и связанные с ним «либерал» и «либеральный» в русском общественном сознании в основном носили не содержательный, а инструментально-терминологический характер. В официально-бюрократическом и политическом дискурсах их использовали для маркировки определенных политических сил. Использовали, по выражению Вяч.И. Иванова, «...Линнеи нашей идеологической флоры <...> в принятой ими классификации, которая для самой флоры безразлична...»²⁵.

В 1940 г. Ф.А. Степун писал: «Одним из первых “добрых европейцев” покинул Бердяев задолго до войны 1914 года духовную родину нашего поколения, либерально-гуманитарную культуру 19-го века; одним из первых почувствовал он, что та жизнь, которою жили наши отцы и деды, которою жили и мы, приходит к концу, что наступает новая эпоха...»²⁶. И действительно, опыт русской революции и новые французские впечатления — зиму и весну 1908 г. Н.А. Бердяев провел в Париже — приводят его к следующему выводу. «Теперь совершается что-то очень важное, — писал он 22 июня 1908 г. Вяч.И. Иванову, — совершается очень глубокий кризис. <...> Старое окончательно рухнуло и настало время очень опасное»²⁷.

К 1914 г. бури и грозы революции 1905–1907 гг., как казалось современникам, остались в прошлом. Представитель купеческой династии и известный издатель начала века Г.А. Леман, вспоминая в начале 1960-х гг. предвоенное время, писал: «Все помнили крылатое слово Бердяева: “смысл жизни потонул в успехах жизни”»²⁸. В январе 1914 г. историк и публицист В.Н. Сторожев уже однозначно писал: «...термины “либерализм” и “реакция” <...> ненужные и непонятные»²⁹.

С началом войны экзистенциально жизнь вновь обретает смысл. На фоне патриотического подъема конца 1914 — начала 1915 г. происходит и временная смысловая реанимация понятия «либерализм». Реанимировать и «национализировать» его попытался, практически в одиночестве, перманентный оппортунист и ренегат П.Б. Струве. Будучи апологетом «Великой России», обращаясь 6 декабря 1914 г. к своим однопартийцам-кадетам, он писал: «Русский либерализм всегда будет осужден на слабость до тех пор, пока он не сознает себя именно русским и национальным»³⁰.

Для П.Б. Струве казалось принципиально важным донести идею о соединении национализма и либерализма. 7 декабря 1914 г. он резко выступил против положения кадета Ф.Ф. Кокошкина о том, «что либерализм не может сочетаться с национализмом, что национальный либерализм невозможен». П.Б. Струве писал, что современная эпоха характеризуется «слиянием или спайкой, которая в ней происходит, между началом национальным и либеральным». Он полагал, что в современной России «национальное начало неудержимо внедряется в либерализм, и тем самым последний сближается с глубинными истоками исторической жизни народа». Вследствие этого, по мнению П.Б. Струве, «...обозначаются новые возможности образований в политической области. Русский либерализм станет национальным, не только фактически, но и сознательно опирающимся на русскую национальную стихию <...> Россия есть Империя <...> Русская национальность в этой национальной Империи есть не только первенствующий, но и скрепляющий элемент, волевой центр. Вот почему в России либерализм для того, чтобы быть сильным, не может не быть национальным. В национализации русского либерализма есть историческая необходимость»³¹.

Конечно, П.Б. Струве понимал либерализм как политическую практику конституционализма. И, как ему представлялось, соединение такого либерализма с национализмом, понимаемым как эмоционально окрашенное чувство и настроение (патриотизм), вполне возможно. Вместе с тем для П.Б. Струве понятие «либерализм» означало и идею либерализма. Он совершенно по-марксистски полагал, что отвлеченные, абстрактные идеи, по крайней мере когда они «овладевают массами», могут быть материальными силами.

Заметим, что понятия «национализм» и «либерализм» не только описывают феномены сознания, которые соответствуют явлениям из разных сфер человеческой деятельности, но и являются абстракциями разного уровня. Попытаться соединить их, конечно, можно, но синтезировать на уровне гомогенной абстракции нельзя. Патриотизм несовместим с идеей безусловного превосходства «прав личности». Национальное чувство подчиняет себе личность отдельного человека. Именно это понимали однопартийцы П.Б. Струве. И тем более никто из них не считал, что в России 1914 г. идея либерализма овладела массами и стала материальной силой.

С другой стороны, соединяя национализм с либерализмом в умозрительную конструкцию, П.Б. Струве, будучи классическим доктринером, понимал ее и как некую политическую технологию. Соответственно, национализм — это живое чувство и настроение, в рамках политического дискурса превращался у него в технический инструмент.

Война меняет ракурс представлений Н.А. Бердяева. В июне 1915 г. он пишет: «Социальный вопрос, борьба классов, гуманитарно-космополитический социализм и пр., и пр., все, что недавно еще казалось единственно важным, в чем только и видели будущее, отходит на задний план, уступает место более глубоким интересам и инстинктам. На первый план выдвигаются вопросы национальные и расовые, борьба за господство разных империализмов, все то, что казалось преодоленным космополитизмом, пацифизмом, гуманитарными и социалистическими учениями»³².

Вполне понятно, что Н.А. Бердяев откликнулся и на новации П.Б. Струве. В июле 1915 г. он писал: «Либеральный империализм являет у нас опыт положительного, созидательного сознания, и в нем есть обращение к исторически-конкретному. Но либеральный империализм слишком уж создается по образцам западно-европейским, слишком уж мало русский и национальный по духу. Душа русской интеллигенции отвращается от него и не хочет видеть даже доли правды, заключенной в нем»³³. Все же в начале сентября 1915 г. Н.А. Бердяеву казалось, что «в последние месяцы русское либеральное движение проявило большую энергию, истинный патриотизм и политический разум»³⁴.

В начале марта 1916 г. Н.А. Бердяев пришел к выводу, что «...традиционный запас либеральных и радикальных идей <...> не отличается уже свежестью и достаточной силой, чтобы воодушевить...». Либерализм и демократизм он уже называет отвлеченной религией, в которую «уже мало кто верит, и мало кто способен по-настоящему ею вдохновляться». «Того пафоса либеральной идеи, который был когда-то на Западе, — писал Н.А. Бердяев, — в наше время уже не может быть. Слишком охлаждает судьба либерализма во Франции и других передовых странах Европы. <...> Либеральные политические идеи в России перегорели до своего практического осуществления в жизнь, да и никогда не были они сильны у нас, всегда осложнялись идеями социальными». Идеи либерализма и социализма Н.А. Бердяев называет старыми и в значительной степени выветрившимися абстрактными идеями, на которых «политическое и социальное освобождение не может уже быть обосновано». Национальную идею Н.А. Бердяев уже не связывает с понятием «либерализм». «Социальное творчество, — по его мнению, — предполагает духовное возрождение личности и нации, организацию народной души и подъем ее внутренней культуры»³⁵.

Заметим, что в полемике о национализме, которая шла в 1916–1917 гг., само понятие «либерализм» уже не упоминается ни одной из сторон. Его нет ни в статьях самого П.Б. Струве, ни в статьях Н.А. Бердяева, Д.Д. Муретова, Н.Е. Трубецкого и Н.В. Устрялова³⁶. Технологически спроецированное П.Б. Струве на русскую реальность понятие «национал-либера-

лизм» («национальный либерализм») уходит из политического дискурса русского общественного сознания гораздо раньше, чем это могло бы показаться на первый взгляд. И это лишний раз подтверждает его эфемерность, искусственность его семантической конструкции³⁷.

В октябре 1916 г. Н.А. Бердяев однозначно пишет: «Меры государственной и общественной социализации хозяйства, которые не стоит смешивать и отождествлять с классовым социализмом, вполне согласуются с современным правосознанием, давно преодолевшим старый доктринерский либерализм»³⁸.

События февраля 1917 г. в русском общественном сознании оказались никак не связаны с понятием «либерализм». В конце апреля 1917 г. Н.А. Бердяев, чутко улавливавший «дух времени», писал: «Политическая революция в России совсем не означает торжества старого “буржуазного” либерализма, который давно уже идейно разложился и не может никого вдохновить. И менее всего такой резко антисоциалистический тип либерализма подходит к русскому душевному складу»³⁹.

В августе 1917 г. Н.А. Бердяев, уже совершенно в духе Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева, писал: «Русскому народу необходимо здоровое и крепкое национальное чувство, но его не было и нет. <...> Чисто либеральные идеи — тепло-прохладные идеи, в них нет огня. И нужно правду сказать: если русские революционные круги исповедовали нигилизм, то русские либеральные круги исповедовали довольно поверхностное просветительство и поверхностный позитивизм, которые также разлагают духовную жизнь и подрывают веру в духовные реальности. Бескрылый русский либерализм сделался национально настроенным лишь во время войны, и революция укрепила его в этой настроенности. Но национальная идея не имеет в нем глубоких корней, для русских либералов в массе патриотизм есть вопрос политической тактики. Они патриоты через силу»⁴⁰.

Октябрьский переворот и начало Гражданской войны в России, по мнению Н.А. Бердяева, исключают понятие «либерализм» из актуальной политической повестки. Летом 1918 г. он выносит вердикт: «Не время теперь и для бесхарактерного, лишенного глубокой духовной основы либерализма. Ваше время прошло, всех вас — и социалистов, и радикалов, и либералов, и консерваторов старого типа, колеблющихся и сидящих между двух стульев. Ныне наступает страшное, ответственное время. И лишь более огненные, более глубокие идеи могут победить тьму, которой мы объаты»⁴¹.

¹ *Калашиков М.В.* Историко-семантический анализ в историческом исследовании: от истории понятий к истории общественного сознания // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 368–390; *Он же.* Идеологема. Концепт? Понятие!

(К вопросу о минимально значимой единице исследования в рамках историко-семантического анализа) // Стены и мосты – III: история возникновения и развития идеи междисциплинарности. М., 2015. С. 124–133.

² *Калашников М.В.* Понятие либерализм в русском общественном сознании XIX века // Понятия о России: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 464–513.

³ *Леонтьев К.Н.* Кто правее? Письма к Владимиру Сергеевичу Соловьеву // Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. М., 2010. С. 174–175.

⁴ *Чехов А.П.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 10. С. 512.

⁵ Там же. С. 504.

⁶ *Горький М.* Мужик. Очерки // Горький М. Собр. соч.: В 16 т. М., 1979. Т. 3. С. 358.

⁷ *Бердяев Н.А.* Борьба за идеализм // Бердяев Н.А. *Sub specie aeternitatis*. Опыт философии, социальные и литературные. М., 2002. С. 16.

⁸ *Чехов А.П.* Собр. соч. Т. 10. С. 476.

⁹ «Гаер <...> шут в народных игрищах, который смешит людей пошлыми приемами, рожами, ломаньем; <...>. Гаеров, ему принадлежащий» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1995. Т. 1: А–З. С. 340).

¹⁰ *Чехов А.П.* Собр. соч. Т. 9. С. 417.

¹¹ *Кони А.Ф.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. 8. С. 144, 172.

¹² *Бердяев Н.А.* Н.К. Михайловский и Б.Н. Чичерин // Бердяев Н.А. Собр. соч.: В 4 т. Paris, 1989. [Т.] 3. С. 180, 188, 190, 193.

¹³ Там же. С. 189, 190.

¹⁴ Там же. С. 193.

¹⁵ *Бердяев Н.А.* Критика исторического материализма // Бердяев Н.А. *Sub specie aeternitatis*. Опыт философии, социальные и литературные. М., 2002. С. 147.

¹⁶ Там же. С. 148.

¹⁷ *Бердяев Н.А.* Н.К. Михайловский и Б.Н. Чичерин // Бердяев Н.А. Собр. соч.: В 4 т. Paris, 1989. [Т.] 3. С. 194.

¹⁸ *Бердяев Н.А.* Культура и политика (К философии новой русской истории) // Бердяев Н.А. *Sub specie aeternitatis*. С. 323.

¹⁹ *Шанин Т.* Революция как момент истины. Россия 1905–1907 гг. — 1917–1922 гг.: Пер. с англ. М., 1997. С. 331.

²⁰ *Кизеветтер Е.Я.* Революция 1905–1907 гг. глазами кадетов: (Из дневников) // Российский Архив. М., 1994. Т. 5. С. 354.

²¹ *Булацель П.Ф.* Чем дальше в лес, тем больше дров // Булацель П.Ф. Борьба за правду. М., 2010. С. 72.

²² *Аверенкова Н.В.* Образы либерала в уральской печати в период Первой российской революции: Автореф. ... дис. канд. ист. наук. Челябинск, 2006. С. 22–23.

²³ *Бердяев Н.А.* Новое религиозное сознание и общественность. М., 1999. С. 194. Первая публикация: *Бердяев Н.А.* Анархизм // Русская мысль. 1907. № 1. С. 26–45.

²⁴ *Туган-Барановский М.И.* Интеллигенция и социализм // Интеллигенция—Власть—Народ. М., 1992. С. 214–215.

²⁵ *Иванов Вяч.* Переписка с о. Павлом Флоренским // Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 117. Из неопубликованного ответа Н.В. Устрялову на его статью «Славянофильство и самодержавие» (Утро России. 1917. № 40. 9 февраля). Написано 21 февраля 1917 г.

²⁶ *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. СПб., 1994. С. 221.

²⁷ Из писем к В.И. Иванову и Л.Д. Зиновьевой-Аннибал Н.А. и Л.Ю. Бердяевых // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 133.

²⁸ *Леман Г.А.* Воспоминания // Российский архив. М., 2010. Т. 19. С. 637.

²⁹ *Сторожев В.Н.* Пятидесятилетие земских учреждений // Заря. 1914. № 1. 5 января.

³⁰ *Струве П.Б.* Ответ моим оппонентам // Биржевые ведомости. 1914. № 14538. 6 декабря. С. 3.

³¹ *Струве П.Б.* Национальное начало в либерализме // Биржевые ведомости. 1914. № 14540. 7 декабря. С. 2; *Он же.* Нация и империя в русской мысли начала XX века. М., 2004. С. 235–236.

³² *Бердяев Н.А.* Конец Европы // Бердяев Н.А. Падение священного русского царства: Публицистика 1914–1922. М., 2007. С. 111–112.

³³ *Бердяев Н.А.* Война и кризис интеллигентского сознания // Бердяев Н.А. Падение священного русского царства. С. 57.

³⁴ *Бердяев Н.А.* О «радикализме» // Бердяев Н.А. Падение священного русского царства. С. 346.

³⁵ *Бердяев Н.А.* Идеи и общественное движение // Бердяев Н.А. Падение священного русского царства. С. 401–402, 404.

³⁶ См.: Национализм. Полемика 1909–1917. 2-е изд. М., 2015. С. 179–288.

³⁷ Подробнее см.: *Калашников М.В.* Понятие «национал-либерализм» в политическом дискурсе России в годы Первой мировой войны // История и историческая память. Саратов; Ставрополь, 2014. Вып. 10. С. 116–139.

³⁸ *Бердяев Н.А.* Государство и собственность во время войны // Бердяев Н.А. Падение священного русского царства. С. 449.

³⁹ *Бердяев Н.А.* О политической и социальной революции // Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. СПб., 1998. С. 22.

⁴⁰ *Бердяев Н.А.* Кто виноват? // Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции. С. 149–150.

⁴¹ *Бердяев Н.А.* Философия неравенства. М., 2012. С. 44–45.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИДЕИ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ С.И. МЕТАЛЬНИКОВА

Шебырова Лариса Геннадьевна
Институт истории естествознания
и техники РАН им. С.И. Вавилова,
г. Москва

***Аннотация:** Работа посвящена междисциплинарным идеям в научном наследии отечественного ученого-эмигранта Сергея Ивановича Метальникова. Помимо работ, выполненных на стыке различных областей биологии, подробно обсуждаются также его менее известные исследования, лежащие на стыке естественно-научных и гуманитарных дисциплин. Анализ научного наследия Метальникова показывает, что он был не только выдающимся биологом, но также самобытным мыслителем и философом.*

***Ключевые слова:** история науки, междисциплинарность, исследования на стыке естественных и гуманитарных наук, творческая эволюция, российская научная эмиграция.*

История науки, будучи дисциплиной на стыке областей знаний, по своей сути вынуждена часто прибегать к междисциплинарным идеям и методам. Вместе с тем междисциплинарность нередко возникает в истории науки в связи с исследованиями деятельности конкретных ученых, работавших на стыке наук и активно использовавших в своей научной деятельности междисциплинарные идеи.

В настоящей работе речь пойдет о междисциплинарных идеях, фигурирующих в научном наследии Сергея Ивановича Метальникова (1870–1946) — российского ученого-биолога, впоследствии эмигрировавшего во Францию. Несмотря на то что основные работы Метальникова посвящены зоологии, микробиологии и иммунологии, часть оставленного им научного наследия отражает также его широкие гуманитарные интересы, и многие из них, выполненные на стыке биологии и гуманитарных дисциплин, являются ярким примером междисциплинарных идей в истории науки.

Вначале кратко изложим основные факты биографии ученого, известные из историко-научных исследований¹. Сергей Иванович Метальников родился в с. Кротково Сенгилеевского уезда Симбирской губернии, в дворянской семье. После смерти его отца семья переехала в Казань, а предположительно в 1887 г. в связи с делами военной службы отца — в Петербург.

После окончания в 1890 г. Ларинской гимназии в Петербурге Метальников поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, где специализиро-

вался в зоотомическом кабинете у профессора Н.П. Вагнера, а позднее у В.Т. Шевякова. Исследовательскую работу начал под руководством академика А.О. Ковалевского, возглавлявшего анатомо-гистологический кабинет. Также в 1895 г., еще до окончания университета, Метальников начал работать в Биологической лаборатории у П.Ф. Лесгафта.

В январе 1895 г. Метальников получил свидетельство об окончании университетского курса, однако окончил университет только в 1896 г., так как был исключен из него за участие в подаче петиции на Высочайшее имя об изменении университетского устава. После окончания университета был оставлен на два года для подготовки к профессорскому званию, работал в Особой зоологической лаборатории Академии наук у Ковалевского, в Институте экспериментальной медицины, в Биологической лаборатории П.Ф. Лесгафта. Неоднократно стажировался за границей, в том числе в Институте Пастера у И.И. Мечникова. После смерти Лесгафта Метальников возглавил Биологическую лабораторию, работал преподавателем и заместителем директора Высших Лесгафтовских курсов, профессором Высших женских курсов. В 1917–1918 гг. Метальников принимал участие в основании Таврического университета в Симферополе. В 1919 г. Метальников эмигрировал во Францию и стал сотрудником Института Пастера в Париже.

Междисциплинарные идеи не могли не возникнуть в научной деятельности Метальникова: занимаясь педагогической работой, он понимал важность обучения не только профильным дисциплинам, но и более широкому множеству общих курсов. В своем очерке «Задачи Высших курсов Лесгафта» Метальников пишет: «Единая наука распалась на множество отдельных частей или специальностей, а вместе с тем и университетское преподавание замкнулось в сферы отдельных факультетов. Со временем, по мере роста отдельных специальных наук, факультеты все более и более специализировались, и уходили друг от друга, и вместе с этим постоянно падали и исчезали те просветительные, общеобразовательные задачи университета, которым они служили раньше. <...> С каждым годом становится все яснее, что современные университеты и высшие школы, не давая общего образования, не дают и хороших специалистов»².

Лесгафтовские курсы, согласно Метальникову, были призваны решить эту задачу. 1 ноября 1912 г. Метальников написал философу и революционеру Н.А. Морозову: «Для пропаганды идей Курсов мы решили устроить бго Декабря в Тенишевск<ом> училище публичное собрание, посвященное вопросам Единства человеческих знаний по след<ующим> программ<ам>: 1) Жизненная связь всех областей знаний 2) Необходимость общего образов<ания> для специалиста 3) Стремление к целостному мирозерцанию 4) Конт 5) Аристотель 6) Идея Лесгафтов<ских> Курсов»³.

Другой предпосылкой к возникновению междисциплинарных идей было увлечение С.И. Метальникова философией. В студенческие годы его другом стал будущий философ Н.О. Лосский. Метальников устраивал у себя дома кружок для обсуждения философских вопросов⁴.

Вопросы на стыке биологии и философии возникли в научной деятельности Метальникова под влиянием идей Анри Бергсона, высказанных последним в труде «Творческая эволюция». Первая его статья, где использовались эти идеи, «Рефлекс как творческий акт», была посвящена попытке развития работ академика И.П. Павлова об условных и безусловных рефлексах⁵.

Суть так называемых моделей творческой эволюции, развиваемых в том числе Бергсоном, состояла в «абсолютизации момента скачков в развитии, в результате чего возникающее новое качество объявлялось несводимым к предшествующему и выступало результатом внутренней творческой силы, по-разному называемой и по-разному истолковываемой»⁶. Согласно Метальникову, такую творческую силу можно найти при исследовании рефлексов: живые организмы могут по-разному реагировать на один и тот же раздражитель в одних и тех же условиях, следовательно, есть еще некоторый внутренний фактор, благодаря которому рефлексы живого организма никогда не повторяются и являются уникальными. Доказывая этот тезис с использованием множества примеров, Метальников в своей работе утверждает, что корни такого внутреннего фактора лежат в биологической индивидуальности каждого живого организма, складывающейся из наследственных факторов и результатов всех изменений, которые произошли с организмом в течение жизни. Живой организм, по Метальникову, является постоянно изменяющимся и творящим самого себя.

Приведенные идеи вошли в основу философской работы Метальникова «О неповторяемости явлений мира»⁷, опубликованной им в журнале «Природа». Результаты предыдущей статьи были распространены Метальниковым в данной работе на весь мир. Каждый момент, по Метальникову, накладывает отпечаток на любой объект в мире, что приводит к уникальности и неповторяемости явлений. Согласно Метальникову, «сущность... всех проявлений мира заключается не в кажущемся постоянстве и повторности, а, наоборот, в бесконечной изменчивости и разнообразии явлений мира». Отметим, что Метальников в этой статье не только излагает свои взгляды и обосновывает их на взятых из области биологии примерах, но и дает разъяснения по поводу того, как в этом случае работают законы природы: несмотря на индивидуальность любого явления в мире, у него существуют некие общие черты с другими явлениями, и именно поиск общих черт в различных уникальных явлениях природы составляет, по Метальникову, главную задачу науки.

Указанные работы Метальникова, выполненные на стыке биологии и философии и развивающие концепцию творческой эволюции, ставят Метальникова в один ряд с такими философами, как Л. Морган и А. Бергсон. В то же время они оказали немалое влияние и на его дальнейшую научную деятельность в области биологии. После эмиграции во Францию в Институте Пастера в Париже Метальников успешно проводил работы по выявлению роли нервной системы и условных рефлексов в иммунитете. Осуществленное им в соавторстве с В.А. Шориным применение метода исследования условных рефлексов Павлова в иммунологии⁸ в дальнейшем привело к развитию психонейроиммунологии как самостоятельной научной дисциплины, одним из основателей которой С.И. Метальников справедливо считается⁹. Несмотря на тот факт, что взгляды Метальникова, касающиеся биологической индивидуальности, остались отличными от мнения большинства иммунологов¹⁰, им был внесен существенный вклад в иммунологию, а выполненные им работы широко цитировались.

Вопросы связи нервной системы и иммунитета, волновавшие Метальникова, он обсуждал не только со своими коллегами-учеными, но и с представителями творческой интеллигенции. Так, Т.И. Ульяновской и О.С. Лавреновой опубликована подробная переписка Метальникова с Н.К. Рерихом. Не только благодаря своим философским интересам, но и научным работам, исследующим роль нервной системы и психических факторов в иммунологии, они нашли немало общих тем для обсуждения. Метальников писал, что заинтересовался йогой и «удивлен, что в Индии, где есть и Университеты, и лаборатории, до сих пор это не изучено. Мне кажется, — писал Метальников, — что одна из главных задач современной науки — это освободить нашу душу от рабской зависимости <от> нашего тела. Хозяином должно быть не наше тело и различные физиологические процессы, а мое духовное Я». Рерих отмечал, что в Метальникове «соединился великий ученый с искренним искателем духовности»¹¹.

После эмиграции во Францию Метальников помимо научной работы много занимался и общественной деятельностью. Его политическая позиция в отношении большевистской власти была твердой и убежденной. Так, написанная Метальниковым статья «Умирающая Россия», присланная в 1921 г. в редакцию газеты «Общее дело», копия которой хранится в Государственном архиве РФ, содержит яркое изложение гражданской позиции и политических взглядов ученого. Метальников пишет, что «большевики уничтожили все демократические учреждения России, большевики уничтожили в корне только что распутившиеся ростки политической и гражданской свободы. <...> Большевизм заслуживал бы оправдания или, вернее, прощения, если бы возмутительные, неслыханные жестокости и издевательства, которые он совершает над

человеческой личностью, привели или приводили к более совершенным и справедливым общественным формам. Но этого нет! <...> Нужно, наконец, понять, что к реакции ведут Россию не Деникин и Колчак, а большевики, которые создают такую психологию в массах, которая неминуемо должна привести к реакции»¹².

Интерес к событиям, происходившим на Родине, и твердая политическая позиция привели Метальникова к написанию одной из своих ключевых работ на стыке естественных и общественных наук. Обеспокоенный проводящимся в России грандиозным экспериментом с перспективой построения коммунизма, ученый в этой работе задался вопросом, является ли построение коммунизма возможным и необходимым в человеческом обществе.

Идеи, положенные в основу этой работы, ученый высказывал и в более ранних трудах¹³. Лекции и доклады на эту тему под названием «Коммунизм у насекомых» Метальников читал в различных организациях: например, в Русском народном университете (17 декабря 1924 г.), в клубе молодежи Российского студенческого христианского движения (11 декабря 1930 г.)¹⁴. Статья с названием «Коммунизм у насекомых» была им опубликована в 1934 г. в журнале «Французский Меркурий»¹⁵.

В этой работе Метальников дает подробное описание «коммунистических» сообществ у насекомых: пчел, муравьев и термитов. Подробно проанализировав устройство этих сообществ, Метальников в своей статье признает, что их устройство, имеющее все признаки коммунизма, весьма эффективно. В то же время он отмечает, что одним из важнейших факторов этой эффективности является биологически predetermined специализация особей, в то время как специализация в человеческом сообществе происходит свободно, с учетом желания и творческой активности индивидуума.

Метальников противопоставляет два пути развития мира: коммунистический и путь индивидуализма. В результате обсуждения приводимых биологических фактов о пчелах, муравьях и термитах С.И. Метальников делает вывод, что важнейшей характеристикой коммунистических сообществ является подавление индивидуальной свободы, независимости и инициативы. В то же время, по Метальникову, человеку свойственен индивидуализм, поэтому перспективы построения коммунистического общества он оценивает невысоко.

Подводя итог данной работы, нужно отметить, что на протяжении всей своей научной жизни С.И. Метальников неоднократно прибегал к междисциплинарным идеям, выполняя работы на стыке наук и перенося методы одной области знаний в другую. Это привело к замечательным результатам как в биологии — области специализации Метальникова, так и в других областях знаний, к которым Метальников обращался в

своих междисциплинарных исследованиях. Личность и научное наследие Метальникова играют важную роль в истории отечественной и мировой науки и интересны не только биологам и медикам, но и педагогам, философам и специалистам по общественным наукам.

¹ Ульянкина Т.И. Зарождение иммунологии. М., 1994. С. 225–227; Она же. Сергей Иванович Метальников // Энциклопедический биографический словарь «Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века» / Под общ. ред. В.В. Шелохаева. М., 1997; Фокин С.И., Телепова М.Н., Шаварда П.А. Профессор С.И. Метальников и его Парижский архив // ВИЕТ. 2004. № 3. С. 110–123; Фокин С.И. Разные судьбы. Петербургские зоологи-эмигранты // На переломе. Отечественная наука в конце XIX–XX века. 2005. № 9. Вып. 3. С. 236–254; Ульянкина Т.И. Сергей Иванович Метальников (1870–1946) (к 140-летию со дня рождения) // Цитокины и воспаление. 2010. № 4; Фокин С.И. Метальников Сергей Иванович // Научный Санкт-Петербург. Биология в Санкт-Петербурге, 1703–2008. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Э.И. Колчинский. СПб., 2011. С. 304; Ульянкина Т.И. Таврический университет (1917–1920) и российская научная эмиграция // Труды Годичной научной конференции ИИЕТ РАН. СПб., 2013. Т. 1. С. 57.

² Метальников С. Задачи Высших курсов Лесгафта. СПб., 1913.

³ Архив РАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1176.

⁴ Ульянкина Т.И. Сергей Иванович Метальников (1870–1946) (к 140-летию со дня рождения) // Цитокины и воспаление. 2010. № 4.

⁵ Метальников С.И. Рефлекс как творческий акт // Известия Императорской Академии наук. 1915. № 1. С. 46–55; *Metalnikov S.* Le réflexe en tant qu'acte créateur. // C. R. Soc. Biol. 1916. Vol. 79. P. 82–83.

⁶ Философия: Учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 407.

⁷ Метальников С.И. О неповторяемости явлений мира // Природа. 1917. № 11–12. С. 1047–1056.

⁸ *Metalnikov S., Chorine V.* Rôle des réflexes conditionnels dans l'immunité // Annales de l'Institut Pasteur. 1926. Vol. 40. No. 11. P. 893–900; *Idem.* Les réflexes conditionnels et la formule leucocitaire // Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1929. Vol. 100. P. 17–19.

⁹ *Bibel D.J.* Milestones in Immunology // A Historical Exploration. Madison, 1988. P. 313–316; Корнева Е.А. Основные этапы развития и тенденции развития иммунофизиологии (к 20-летию основания Международного научного общества по нейроиммуномодуляции) // Медицина XXI век. 2007. № 5 (6); *Korneva E.A.* On the History of Immunophysiology: First Steps and Main Trends // New Insights to Neuroimmune Biology. Berczi I. (ed.). N.Y., 2010. P. 34.

¹⁰ *Löwy I.* On guinea pigs, dogs and men: anaphylaxis and the study of biological individuality, 1902–1939 // Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2003. Vol. 34. P. 399–423.

¹¹ *Лавренова О.А., Ульянкина Т.И.* Наука будущего: переписка Н.К. Рериха и С.И. Метальникова // Культура и время. 2003. № 2. С. 76–85.

¹² ГА РФ. Ф. Р5802. Оп. 1. Д. 1887.

¹³ Метальников С.И. О причинах старости // Природа. 1912. № 9.

¹⁴ Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–1940 гг. Франция. / Под общ. ред. Л.А. Мнухина. М., 1995.

¹⁵ *Metalnikov S.* Le communisme chez les insectes // Mercure de France. 1934. Vol. 252. P. 32–49.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Ляровский Александр Борисович
Северо-Западный институт печати,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье демонстрируются возможности анализа и интерпретации художественных текстов как исторического источника.

Ключевые слова: школьные тексты.

Связь филологии и истории очевидна постольку, поскольку историк имеет дело с текстами. Однако тексты художественные скорее дополняют и иллюстрируют положения, добытые с помощью «более серьезных» источников. Это происходит потому, что историк часто склонен забывать о том, что и сама «художественность» является источником, достойным анализа и интерпретации¹. Поскольку в силу моих научных интересов я имею дело с текстами, написанными детьми в самостоятельных журналах начала XX в., то мне нельзя было обойтись без методик и приемов, выработанных филологами для анализа художественных текстов. И далее речь пойдет о некоторых из таких — даже не методик, а скорее приемов и навыков, — о тех, что оказались наиболее для меня полезными и продуктивными.

К историческим работам чаще привлекаются эпизоды, относящиеся к сюжетам и описаниям, а не к структурам, т. е. к содержанию, а не к средствам выражения. Но совершенно очевидно, что историческому анализу могут быть подвергнуты и форма текста, его внешние и внутренние связи с другими текстами, и его собственная композиция, логика самого текста, механизмы отбора образов и форм и т. д. Все это, во-первых, иногда имеет первостепенное значение для понимания смысла имеющихся свидетельств и, во-вторых, более достоверно, как и всякая имплицитная информация. В качестве примера разберем небольшую совокупность текстов — никому не известных и, прямо скажем, малохудожественных. Это своеобразное любовное послание ученика одного из средних учебных заведений Санкт-Петербурга А. Изаксона, отправленное им в 1909 г. Перед нами целый альбом стихов, посвященных мальчиком своей однокласснице О. Смеловой. А. Изаксон родился в 1895 г., следовательно, в 1909-м ему было 14 лет. Это был явно одаренный человек: после революции он окончил политехнический институт, факультет

теоретической физики и стал профессором в 33 г.² Однако школьная жизнь давалась ему нелегко; возможно, ему было сложно войти в сложившийся коллектив: он поступил в школу только в 1908/09 учебном году, причем сразу в класс первого выпуска, т. е. в самый заслуженный класс школы, класс первого набора³.

Это отразилось, например, в таком его тексте, опубликованном в рукописном альманахе «Весна»:

«У них был ребенок. Они послали его в школу. Вошел. Порасспросили его и начали дразнить и издеваться над ним, а он первое время и не обращал на это внимание, так как он слышал, как говорили о человеческих достоинствах, о справедливости...

Много раз дразнящие его просили, чтобы он помирился с ними — он мирился. Начинал с ними спорить и отстаивать свои права, как равный... И не понравилось это им и начали они ему выказывать презрение. Он же узнал их поближе, начал презирать их умом, но не сердцем, не умел... и приходил домой, смеялся, гримасничал...»⁴

Нетрудно увидеть в этом тексте и подражание Ницше, и переживание ребенка, которому в силу ли каких-то черт его собственного характера, в силу ли особенностей среды было трудно найти общий язык с классом в первый год его пребывания в ВВКУ.

И эти переживания, эта удивительная жажда внимания и дружбы нашли свое отражение в сборнике стихов, посвященном его однокласснице. Характерно, что любовь здесь выступает и как предлог к самореализации (в сборник включены, видимо, все стихи, которые были в наличии, во всяком случае, далеко не все из них могут быть отнесены к текстам любовной тематики) и как просьба о спасении от одиночества. Нетрудно вообразить себе то легкое покалывание ревнивого разочарования, которое должна была почувствовать девочка, прочитав строки посвящения: «Довольно! Я не хочу больше мучиться, я не хочу скрывать в себе все, все те мысли, мучающие меня. Ты может и не знаешь, как тяжело скрывать их, ни откуда не видеть ни сочувствия, ни даже одобрительного взгляда. Мне бы очень хотелось поговорить с тобою о многих вещах... С тобою и Вечесловой. Не знаю, почему? Но мне хочется иметь друзей вас своих и может Шефтер. Да хочется, но думаю безнадежно.

P.S. Прошу тебя не показывать это письмо, но стихи никому, кроме Вечесловой».

Со свойственной заикленным на себе подросткам откровенной прямоотой А. Изаксон в послании к одной девушке перечисляет всех девочек, с которыми хотел бы дружить. Хотя о переживаниях адресата мы можем только догадываться, зато средства выражения, использованные А. Изаксонем, говорят нам о многом. Тут вторичность этих отвратитель-

ных стихов является для нас неоценимым подспорьем для анализа и описания культурного багажа мальчика из интеллигентной семьи (его отец был инженером). Во-первых, видно, что мальчик подражает русской классике в ее школьном изводе. Сравним эти стихи с возможными образцами:

Клянусь я вечностью незримой,
 Клянусь прекрасною душой
 Клянусь я мыслью неуловимой
 Клянусь своею головой
 Клянуся я святым страданием
 Клянуся страстным ожиданием
 Клянусь любовь к тебе
 Клянусь я всем, что лишь прекрасно
 И чувствами святыми я клянусь
 Что я тебя люблю ужасно
 И что к тебе душою рвусь.

Это пишет влюбленный школяр. А вот пушкинские строки из «Подражания Корану»:

Клянусь четой и нечетой,
 Клянусь мечом и правой битвой,
 Клянуся утренней звездой,
 Клянусь вечернею молитвой:
 Нет не покину я тебя... и т. д.

Но в культурный арсенал этого юноши входят также и явно модернистские мотивы, что выражается и в форме, и в содержании стихов. Например, ритмика стихов явно отсылает к современной ему поэзии, что, возможно, позволяло мальчику не так уж и плохо думать о качестве собственных творений:

Ты всепрощающая
 От зла отрекающая
 В страданиях покоящая
 Душу и ум приносящая
 Как пучина спокойная
 Разум берущая
 Душу дающая
 С земли уносящая
 Как пучина бурная.

Похожие перебивчатые ритмы использовались и Гумилёвым («Заводы») и Брюсовым («Ночь»), но упомянутые произведения были созданы уже после 1909 г. Зато мальчик вполне мог подражать Бальмонту:

Свежей весной
 Все-озаряющее
 Нас опьяняющее
 Цветом, лучом, новизной,
 Слабые стебли для жизни прямой укрепляющее,
 Ты пребывающее
 С ним, неизвестным, с тобою, любовь, и со мной!
 («Гимн солнцу» из сборника «Только любовь» 1903 г.).

Однако наиболее современным в его стихах было, конечно, ощущение двойственности и неопределенности мира и созерцающего его субъекта, попытка сочетания непримиримого в одном, едином. Эти мотивы вообще были чрезвычайно характерны для искусства серебряного века⁵. Правда, сам мальчик выражает эти идеи в стихах, поистине ужасающих:

Ночь непроглядна над морем висит
 И волны бушуют и ветер свистит
 И тучи молния прорежет иногда
 И на мгновение она лишь осветит
 И видно горы водяные мне тогда
 Как одна на другую летит
 Люблю я в ночь такую сидеть на берегу.

Ночь, Ни звука, На небе луна
 Озаряет сиянием море. Волна
 О берег плещется. И сквозь тишину
 Слышно как бьется волна о волну
 И дует ветер мягкий, листьями шелестя
 Люблю я в ночь такую сидеть на берегу.

Итак, перед нами некоторая совокупность текстов, которая демонстрирует возможности культуры, в которую погружен автор: это и школьная программа, и современная поэзия — все это предоставляет в распоряжение юного дарования средства для самовыражения и, предположим, для формирования самосознания. Но через много лет после

смерти А. Изаксона и через много лет после создания этих строк, уже в 60-х гг. XX в., когда оставшиеся ученики школы собирали материал для истории своего учебного заведения, краткий очерк об Изаксоне был предварен цитатами из двух его стихотворений. Выбраны были наиболее «позитивные» и «прогрессистские» стихи⁶:

И до первой цели дойдя
Идти вперед и дальше
Все дальше, дальше без конца...
Это первая. А вот вторая:

Я должен сделать то
Что только я могу
Я должен! Ничто
С пути вперед меня своротить не должно.

Прочитаем эти стихи целиком (вычеркнутые одноклассниками строки выделены курсивом).

*Как страшно жить, везде одни лишь люди
Одни лишь люди, и не один не человек.
Но я зачем, зачем всех обвиняю?
И люди есть среди людей.
Бороться надо и идти вперед
И выделить людей среди подобных
И до первой цели дойдя
Идти вперед и дальше
Все дальше, дальше без конца...*

*Как хочется мне иногда
Уйти отсюда в мир иной
Но страдания других я увижу тогда
Становлюся тогда я другой.
Тогда себе я говорю:
«Я должен сделать то
Что только я могу
Я должен! Ничто
С пути вперед меня своротить не должно».*

Итак, что осталось, что именно отобрало время? Что в стихах одноклассника признало поколение его соучеников? И ответ на этот вопрос

чрезвычайно значим, на мой взгляд. Среди модернистских, любовных и романтических стихотворений эпоха сохранила только некоторые пассажи, понятные интеллигентным и взрослым людям: строки, связанные с борьбой, со служением людям.

Причем цитаты искажают смысл стиха, что называется, вырваны из контекста: довольно мрачные и пессимистичные зачины этих стихотворений («Как хочется мне иногда / Уйти отсюда в мир иной...» или «Как страшно жить...») в итоговый «канон» не вошли. Нетрудно заметить, что поставленные в контекст всего стихотворения строки, выделенные одноклассниками, меняют смысл. Так, если «идти вперед и дальше», взятое само по себе, навеивает мысль о девизе Теннисона «Бороться и искать...», хотя с точки зрения прямого совпадения формулировок фраза ближе к горьковскому «Человеку»: «Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше». В любом случае — в ней присутствует пафос и порыв. Однако текст целиком скорее снова отсылает нас к Ницше с его поисками сверхчеловека, или хотя бы к Диогену — с его поисками человека. Имеется в виду не любая цель и не любое движение, а поиск человека среди тех, кто людей только напоминает.

Итак, если мы анализируем всю совокупность высказываний, то перед нами предстает сомневающийся, нервный, мучающийся от отсутствия признания подросток, не обладающий, прямо скажем, поэтическим талантом. Он использует в своих опусах разнообразные формы и способы выражения, выработанные культурой. Однако все это разнообразие и вариативность форм, все его подростковые сомнения и желания перечеркиваются последней характеристикой, данной ему в его жизнеописании бывшими одноклассниками. Какие бы механизмы не действовали при отборе стихов для биографии — представление о качестве, гордость за одноклассника или боязнь гипотетической цензуры, но все равно отобранные были наиболее прогрессивно звучащие стихи, в которых звучат мотивы преодоления и долженствования. Перед нами человек, знающий, чего он хочет, и понимающий, зачем он живет. Более того, нельзя не заметить, что одноклассники пытаются описать жизнь взрослого, выбирая эпиграф из подростковых стихов, и, соответственно, останавливают свой выбор на том, что приличествует взрослому, сложившемуся человеку.

На этом маленьком примере мы можем подойти к реконструкции прошлого в его частности и вариативности. Именно понимание вариативности показывает нам, что же оказалось выбранным и из каких вариантов. Культура советского XX в. во многом сформирована прогрессивными и революционными стремлениями интеллигенции века девятнадцатого. Как программа по литературе, по которой учился школьник

в СССР, целиком основывалась на чаяниях и требованиях выросших гимназистов, которым так не хватало изучения радикальных авторов (Писарев, Чернышевский) и авторов современных (для них это был, например, Чехов и Горький). Если использовать разобранный случай как метафору, то получается, что как из всей совокупности текстов подростка Изаксона были выбраны его одноклассниками самые однозначные тексты, так же как из всех вариантов будущего реализовался тот, в котором не было места принятию двойственности, зато было место борьбе. Если же присмотреться к произошедшему без излишней метафоричности, то видно, что если реальный ученик мучился от неоднозначности, осваивая все варианты сразу, то эпоха выбрала и сделала основным только один вариант. И это наблюдение позволит нам понять, как люди принимали новую реальность и почему; что они теряли, а что приобретали, на что в своем прошлом могли опираться и что исказить, чтобы жить в мире после катастрофы. В багаже учеников была и двойственность восприятия мира, свойственная модерну; была и классическая строгость, и упорядоченность, свойственная устоявшимся культурным образцам; там же можно обнаружить и пафос преобразования мира. Не можем ли мы сказать, что именно с опорой на последнюю составляющую освоенного интеллигентского дискурса и смогли выжить те, на чью долю пришла революция? Время и повседневность отсеивают сомнения и несостоявшиеся любви, мучительное одиночество в маленьком сообществе класса и попытки самореализации в подражании Ницше. И хотя остается только готовое вскопичить в хрестоматию «Я должен!», но историк, который хочет понять прошлое, обязан учитывать, из каких вариантов был проведен отбор, обязан помнить про отсеянное, ибо только так можно понять исторический процесс в его антропологическом измерении.

Но к похожему выводу нас приводит еще и анализ смыслового поля. Филологическая традиция гораздо менее трепетно относится к хронологии и гораздо более внимательно — к перекличкам текстов и к максимальному расширению контекста. Понятно, что один текст читается с помощью другого — этот метод давно применяется как историками, расшифровывающими летописные сообщения с помощью библейских текстов⁷, так и филологами, устанавливающими смысл реакции Пушкина на казнь декабристов с помощью романов Вальтер Скотта. Напряженное единство исторического пространства создается во многом хронологической соположенностью, в то время как в филологическом подходе более важно единство смыслового поля и всегда можно найти такую линию, которая может объединить, например, Горация и Набокова. Эти навыки обращения с текстами вообще учат историка смелее пересекать

границы темпоральных и пространственных единств в поисках единства смыслового.

Широта контекста, безусловно, приносит свои плоды. Приведу только один пример.

В 1916 г. в одном из школьных журналов, издаваемых в Петербурге, в статье «Основные проблемы средней школы» подростком, учеником 7-го класса был опубликован следующий текст: «Самый распространенный недостаток всех людей вообще и учащейся молодежи в особенности — это безволие и следствие его — лень. Лень принимает, помимо своего основного вида... отвращения к труду, еще некоторые скрытые формы: разбросанность, поверхностность, неумение равномерно распределять свой труд, а также нежелание думать и соображать в том случае, где можно взять памятью». Эта критика процесса образования была довольно типична для того времени. В то же время перед нами определенная негативная концепция человеческой личности, перечень ее пороков: безволие, лень, разбросанность, нежелание думать.

Частично эти характеристики личности коррелируют с одним из самых известных высказываний И.В. Сталина о морали и добродетели: «1) слабость, 2) лень, 3) глупость единственное, что может быть названо пороками. Все остальное — или отсутствие вышесказанного — составляет несомненно добродетель! НВ. Если человек 1) силен (духовно), 2) деятельен, 3) умен (или способен) — то он хороший, независимо от любых иных “пороков”!»⁸.

Можно дискутировать о том, соотносится ли безволие со слабостью, а глупость с нежеланием думать. Более того, сложно провести прямую линию от ученика в 1916 г. к диктатору, написавшему эти слова на книге 1939 г. издания. Однако важно подчеркнуть, что речь в этом контексте идет не просто об имморализме Сталина, а о том, что его мысли вполне укладываются в те возможности суждений, которые предоставляли ему общераспространенные и доходящие как «общее место» до школьников концепции человеческой личности дореволюционной эпохи. О важности этих идей мы можем судить по еще одному художественному отрывку.

Живейшие и лучшие мечты
 В нас гибнут средь житейской суеты.
 В лучах воображаемого блеска
 Мы часто мыслью воспаряем вширь
 И падаем от тяжести привеска,
 От груза наших добровольных гирь.
 Мы драпируем способами всеми
 Свое безволие, трусость, слабость, лень.

Нам служит ширмой сострадания бремя,
И совесть, и любая дребедень.

Эти слова вкладывает в уста Фауста Борис Пастернак. Его перевод, скорее вольный и сильный, чем точный, в некоторых частях напоминает вариации на тему, размышления вместе с Гёте о природе соблазна, отчаяния или власти. Перевод Пастернака был сделан в 1948–1953 гг. Взгляд историка может наткнуться в этом переводе на интересные подробности, наводящие на размышление о единстве мысли, характерной для современников. Дело в том, что в подлиннике Гёте нет перечисления пороков, которые «мы драпируем способами всеми»; ни лень, ни слабость, ни безволие не упоминаются. Сам переводимый текст не требовал включения этого перечня в итоговый перевод, но, описывая препятствия к достижению истины, Б. Пастернак включает в монолог Фауста столь понятный, видимо, ему набор негативных характеристик личности.

Может ли текстуальное совпадение, да еще и не очень точное, быть свидетельством чего бы то ни было? Думаю — да, и в каком-то смысле школьник, диктатор и поэт предстают перед нами как представители определенного культурного единства, сложившегося еще до революции и реализовавшегося после нее во многих чертах. И снова звучит тот же самый вопрос, насколько велик разрыв между реальной длительностью истории и ее принятой периодизацией? Как и в случае с А. Изаксоном, мы спрашиваем: сохранившееся после 1917 г. — это то, что пережило катастрофу, или то, что отчасти ее породило? Тот, у кого нет слабости, лени и безволия — это только самописание диктатора или вообще портрет идеального человека эпохи? И сидел ли уже в рассуждающем о вреде лени школьнике из Петербурга тот, кто сумеет понять большевиков с их пафосом переустройства мира и стать участником этого преобразования?

Так мы можем достичь того, что нам так важно в истории — понимания внутреннего единства эпохи и особенностей формирования этого единства. Расширяя смысловой контекст и анализируя правила обращения со смысловыми конструкциями, мы преодолеваем разрывы событийной истории; определяя механизмы отбора текстов, осознаем значимость и истоки избранных вариантов.

¹ Это ни в коем случае не должно заставить нас забыть об огромной работе, проведенной в области использования художественных текстов историками. В области источниковедения см.: *Миронец И.И.* Художественная литература как исторический источник (к историографии вопроса) // История СССР. 1976. № 1. С. 125–141; *Предтеченский А.В.* Художественная литература как исторический источник // Вестник Ленинградского университета.

1964. № 14. С. 76–85; *Шмидт С.О.* Памятники художественной литературы как источник исторических знаний // Отечественная история. 2002. № 1; *Он же.* Историографические источники и литературные памятники // Шмидт С.О. Путь историка: Избранные труды по источниковедению и историографии. М.: Изд-во РГГУ, 1997. С. 113–115. Конечно, наиболее удачные образцы использования художественной литературы в качестве исторического источника на русском языке созданы в рамках семиотического анализа человеческого поведения — начиная с классических работ Ю.М. Лотмана и до таких, как книги И. Паперно и М. Могильнер (*Могильнер М.* Мифология «подпольного человека»: радикальный микроскоп в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999; *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996).

² ОР РНБ. Ф. 1091. Д. 177. Л. 114.

³ Та школа, в которую поступил А. Изаксон, была организована на волне преобразований 1905 г., построена на принципах свободного образования и подчинялась не Министерству народного просвещения, а Министерству финансов.

⁴ ОР РНБ. Ф. 1091. Д. 645. Л. 35.

⁵ См., например: *Рапацкая Л.А.* Искусство «серебряного века». М., 1996; *Пайман А.* История русского символизма. М., 2002.

⁶ ОР РНБ. Ф. 1091. Д. 475. Л. 1.

⁷ См. об этом: *Данилевский И.Н.* Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.

⁸ *Рейфилд Д.* Сталин и его подручные. М., 2008. С. 37.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ГРАНИЦЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Реут Олег Чеславович

Северо-Западный институт управления (РАНХиГС),
г. Санкт-Петербург

Тетеревлева Татьяна Павловна

Северный (Арктический) федеральный
университет им. М.В. Ломоносова,
г. Архангельск

***Аннотация:** Статья О.Ч. Реута и Т.П. Тетеревлевой «Политическая история на междисциплинарной границе и возможности исторического медиаобразования» посвящена изучению возможностей, вызовов и ограничений взаимодействия истории и политических наук при выстраивании нарратива политической истории. Особое внимание уделяется теоретическому обоснованию поли- и кроссдисциплинарности в рамках указанного проблемного поля, а также перспективам интеракции между отдельными предметными областями социально-гуманитарных дисциплин и новыми медиа.*

***Ключевые слова:** политическая история, историческое медиаобразование, Digital Humanities.*

В последнее десятилетие процесс методологического и институционального самоопределения российской исторической науки проходит под знаком растущей деполитизации. Исторические события, явления и процессы предписывается рассматривать как неполитические и даже по преимуществу неполитологические. Не будет чрезмерным обобщение, при котором исторические феномены фактически предугадывается помещать вне сферы *политического*, в том числе и выводя их за пределы политологического знания. «Использование исторической науки в политических целях» оказывается в «тревожной области» наряду с «распространением в обществе разнообразных псевдоисторических теорий, снижением уровня и значения исторического образования, ослаблением уровня профессиональной экспертизы диссертаций, книг, образовательных программ»¹. Деполитизация, разворачивающаяся в обществе,

захватывает и приватизирует новые социально-культурные пространства, включая систему образования и научных исследований. «Политическое стремительно маргинализуется, уходя на периферию и освобождая место какому-то иному феномену, в отношении которого распространенные политологические категории представляются не вполне релевантными»².

Побочным следствием рассматриваемого явления оказывается изолированность части историков, в том числе специализирующихся на политической истории, от новых подходов, развиваемых в политических и «дружественных» социально-гуманитарных науках, что приводит к постепенному вытеснению историков из таких важных сфер профессиональной деятельности, как полидисциплинарные и междисциплинарные конференции, журналы, наддисциплинарные ассоциации. Должна ли, однако, современная историческая наука развиваться исключительно на внутреннем ресурсе, исходя из собственных потребностей и возможностей, лишь наблюдая за достижениями других научных дисциплин и ограничивая себя в адаптации новых подходов? Корректно ли в данном случае констатировать, что методологическое самоопределение дисциплин напрямую зависит от дисциплинарных ядер, которые формируются системой понятий, аксиоматических допущений и объяснительных моделей?

При этом очевидно, что понимание прошлого имеет принципиальное значение для формирования политической идентичности. Образы прошлого, несмотря на попытки отдельных политиков задействовать их в оформлении выгодных им идеологических установок, определяют системы ценностей и, следовательно, политическое поведение людей. Именно поэтому российские историки становятся свидетелями борьбы за присвоение прошлого. Не прекращаются попытки создать свои версии исторического наследия, в том числе через стратегии актуализации «нужного» и забвения «мешающего», и навязать его остальным. В таких обстоятельствах именно профессиональное знание оказывается более чем востребованным.

Интеллектуальная атмосфера академического сообщества последовательно формирует запрос, направленный на определение специфики исторического знания в новых условиях и последующее выявление меры этой специфичности оператором присвоения значимости в ряду политических и социально-гуманитарных наук. Вполне возможно предложить множество объяснений этому явлению: общество устало от потрясений, связанных с драматической «непредсказуемостью прошлого», оно становится все более индивидуалистичным, ориентируется на медиапотребление, управляемое административным ресурсом.

Но давайте предпримем попытку проанализировать описываемую ситуацию в понятиях поли- и междисциплинарности. Это обращение не случайно, поскольку степень взаимодействия истории с политическими (равно как и с другими социально-гуманитарными) науками достигла уровня, при котором методологическое самовосприятие фактически выражается через отношение к вопросу о судьбе междисциплинарных подходов в исторических исследованиях.

Политическое, как правило, определяется исследователями через особую нередуцируемую категорию государственного насилия, лишенную субъективно-личностного смысла. Государство — постольку, поскольку оно есть политический феномен, а также поскольку оно *действительно*, — проявляет себя в том, что берет на себя прерогативу политической категоризации. Эта категоризация, однако, не была произвольной, но обнаруживала историческое измерение и выраженную динамику. Последняя определяется как цепь сменявших друг друга в Новой и Новейшей истории центральных областей культуры и общества. Поэтому и государство как аппарат насилия является политическим в той мере, в какой оно овладевает управлением именно в центральной области. Можно заключить, что такое овладение центральной областью политического взаимодействия создает политическую инстанцию как таковую. Однако оно не проходит бесследно: данная область нейтрализуется и деполитизируется, тогда как живительный для *политического* процесс определения границ насилия переносится в новую область. Чтобы сохранять свое политическое значение государство должно не упустить этот момент, иначе *политическим* может завладеть другой центр власти или иная социальная группа. Получается, что государство, которое отвергает необходимость как выстраивания самостоятельной позиции в процессе освоения прошлого, так и управления отношениями в этой сфере, должно объявить себя нейтральным в отношении вопросов истории и отказаться тем самым от своего притязания на господство.

Подобно тому как государство снимает этнические и культурные конфликты — посредством гражданско-правовых институтов или же, если брать более или менее современный вариант, посредством социокультурной политики толерантности и мультикультурализма, оно предпринимает попытку нейтрализации науки, изживая из нее ценностный элемент и требуя ее «чистой»/дистиллированной версии или столь же нейтральных «образовательных услуг». Что же происходит с научно-образовательной деятельностью после того, как она подверглась нейтрализации? Она теряет общественно-политический смысл, вытесняясь в сферу частных интересов индивида, производства индивидуальных и индивидуально ориентированных различий.

Этому способствует и то обстоятельство, что и в истории, и в политических науках исследовательский вокабуляр ориентирован на объяснение наблюдаемых изменений в уже известных и устоявшихся терминах, эмпирическое использование которых способствует подтверждению или опровержению вырабатываемых теоретических построений. В указанном смысле историю и политологию даже можно представить, как области знаний, ориентированные на обесцвечивание категориального аппарата, на переход от языка универсальных понятий к нейтральному языку теорий. Хотя здесь самым естественным образом возникает вопрос: могут ли рассматриваемые построения полностью избавиться от нормативно окрашенных исходных понятий и категорий, которые помещаются в основание политико-академических концепций, претендующих на статус теоретических моделей? Быть может, они обречены оставаться именно концепциями, а не теориями в строгом смысле слова, с присущими последним идеальными объектами?

Отношения между историей и политическими науками, по сути дела, представляют собой интеракции между отдельными предметными областями различных дисциплин, а не между дисциплинами как таковыми. Поэтому было бы неверно определять их как междисциплинарные. Вне рамок специализации взаимодействие затруднено, а исследовательский прогресс практически невозможен. При наличии творческого обмена понятиями и попыток применения языков описания (которые являются отражением используемых методов), заимствуемых из других наук, достижения в такой области знаний, как политическая история, определяются гибридизацией отдельных направлений различных дисциплин.

При различении специализации в рамках формальных дисциплин и специализации, происходящей на стыке различных субдисциплин, конституирующим выступает оппозиция «объективное/социально сконструированное», пришедшая, например, в социологической теории на смену классической дихотомии «объективное/субъективное»³. Политическая история, образовавшаяся в результате подобной гибридизации, при стремлении получить оформление в независимую область знания продолжает свое развитие в рамках двойной дисциплинарной принадлежности. Несмотря на то что в качестве критериев указанной принадлежности принимается преобладание тех или иных компонентов исследования либо формальная приписанность ученого к определенной дисциплине, в условиях современных тенденций развития исследовательского поля определяющим выступает характер рабочей информации.

Однако сегодня информация превращается в один из элементов новой, дигитально организованной медийной культуры, что, без сомне-

ний, способствует качественным изменениям в способах генерации и трансляции исторического знания. Медиатизация отвечает ожиданиям исследовательской аудитории от описания, например, национально ориентированных особенностей исторического опыта, проявляющихся посредством межпоколенной трансляции норм и ценностей. В такой ситуации достоверность замещается имитационными формами, простотой и однородностью, что делает ее чувствительно пластичной, податливой для внешнего воздействия. С другой стороны, достоверность объективно перестает быть достоинством профессионального историка. Получается, что он уже не должен выявлять и доносить достоверные факты, не обязан в неперменном порядке обладать собственным мнением об этих фактах и квалифицированно его формулировать. В этом смысле, осознавая, что источники остаются единственным тестом на профессиональную идентичность, историк должен не сообщать, а говорить. Описание, систематизация и объяснение исторического движения посредством системы понятий, идей и теоретических построений способствуют, но не обеспечивают полноту достоверного представления об историческом прошлом.

По существу, через дискурс достоверности можно выделить некоторые общие черты, присущие феномену восприятия исторического знания со стороны «классических» политологов. Во-первых, это отрицание гуманитаристики в качестве самостоятельной группы наук, обладающей методом и набором объясняющих утверждений. Для них исторические исследования — лишь некий непрекращающийся, не имеющий четких границ и целей творческий процесс, который не может и не должен претендовать на создание теоретических конструкций.

Этому способствует и тот факт, что, по замечанию А. Про, в историческом исследовании понятийный аппарат социальных наук претерпевает кардинальные изменения: при погружении в исторический контекст понятия становятся более гибкими, теряя свою строгость в ходе диахронного исследования, которое и представляет собой «единственное собственное измерение» исторических дисциплин⁴. Во-вторых, в отличие от некой абсолютной достоверности и рационально алгоритмированных методов познания, постулируется ценность релятивизма и нормативности. В-третьих, оспаривается тезис о кроссдисциплинарной природе обоснования исторических явлений и процессов. Их объяснительные модели отличаются высокой степенью герметичности, в какой-то степени связанной со своеобразным развитием дюркгеймовского принципа «объяснения социального социальным» — *политическое* не может объясняться *историческим*. Любая мультипарадигмальная эклектика служит источником непрекращающихся подозрений в отношении

смежных дисциплин в части наличия у них собственного языка объяснения, методологических подходов и исследовательского инструментария.

Ограниченность применения междисциплинарного подхода может иметь определенные основания, связанные с побуждением дробить изучаемую реальность на части. Чередование исследовательских приемов, которое почти никогда не создает возможности для одновременного задействования нескольких дисциплин, в лучшем случае дает результаты при параллельном изучении одного предмета разными средствами, но не при попытках получения синтетических выводов. Ответом на эти новые вызовы, неразрешимые в рамках традиционно понимаемой междисциплинарности, с одной стороны, может стать трансдисциплинарность. С другой стороны, изучение политической истории с привлечением нескольких научных субдисциплин означает применение полидисциплинарности. Плодотворное сотрудничество оказывается возможным между отдельными секторами истории и политологии, а не при тотальном сближении дисциплинарных границ. Но в каких формах проявляется кумулятивный прогресс?

Стоит предположить, что за счет многочисленных эмпирических открытий наиболее вероятно появление концепций, названных Р. Мертоном «теориями среднего уровня»⁵. Из наблюдений непосредственного политического опыта вырастает возможность теоретического взаимообогащения, например, в таком направлении, как электоральная история. И историки, и политологи лишь с незначительными расхождениями будут готовы преодолевать жанровые различия, распознавая цепочки умозаключений. Механизмы описания (но не объяснения!) не будут существенно различаться, а оператор демаркации, т. е. проведения внутридисциплинарных различий, не будет отражать естественные дистинкции, существующие между науками. Социологи, антропологи и психологи, вероятно, будут более скептически, поскольку их представления о действительности строятся на иных аксиоматических допущениях. Это, однако, не может означать быстрого утверждения указанного направления в качестве субдисциплины не только по причине сохраняющейся инерции словоупотребления, но и в связи с консерватизмом кодификаторов специальностей, хотя, без сомнений, в повседневном обиходе научной коммуникации исследователи преодолевают возникающие различия, оформляя востребованную концептуализацию.

Рассматриваемая гибридизация не является универсальной, так как далеко не всегда удастся гармонизировать фиксируемые различия между научными обоснованиями стратегии исследования, применяемыми методологиями и информационными возможностями (заимствованными, например, из электоральной статистики). В этих условиях происходит и

последовательное обесценивание сопрягаемых показателей, переменных, коэффициентов, рейтингов, т. е. тех статистических выводов, которые изначально были направлены на формирование эпистемологических (как результата рационального консенсуса) установок. Результатом выступает ненадлежащее понимание характера прямой связи между исследовательской программой и научной аргументацией, приводящее к утверждению, что знание возникает отнюдь не из взаимодействия нейтрального субъекта с объективной реальностью, а отражает существующие методологические (а порой и аксиологические) границы.

Обосновать анализируемую динамику можно при одновременном использовании двух исследовательских проекций. С одной стороны, это следствие «постмодернистского наступления на науку». И.М. Савельева отмечает: «Казалось бы, историки благополучно пережили атаку постмодернистов и вышли из этой ситуации с минимальными потерями. Годы идут, а исторических работ, выдержанных в постмодернистском духе, почти не появляется, хотя манифестов было достаточно. Однако последствия постмодернизма оказались намного более серьезными. Постмодернистский дух практически не повлиял на исторический метод, но очень заметно воздействовал на тематику. И на отношение к теоретическим моделям, шире — к научности истории. Кроме того, очевидно, что постмодернизм сказался на системе аргументации: стандарты строгого научного изложения значительно ослабли»⁶.

С другой стороны, при озвучивании бесконечно конфликтующих претензий на истину в качестве формы ее поиска все более востребованной альтернативой становится предельно утилитаристский и персонализированный подход к характеру рабочей информации, при котором сами исследователи указывают, какой формат им был бы предпочтительным, где и в какое время. При этом концепция обработки информации выстраивается таким образом, чтобы способствовать их самоидентификации, автоматическому отделению от других.

Парадокс заключается в том, что представленное взаимодействие больше не делает модели кроссдисциплинарного потребления гласными и открытыми: индивидуализация приводит к автономии; универсальность уничтожается, а гибридизация начинает разобщать. Познание нейтрализуется, а предельно индивидуальная исследовательская стратегия раскалывает само пространство *исторического*.

Особый интерес представляют интеракции между отдельными предметными областями различных дисциплин и новыми медиа. В приведенном выше примере это может быть проиллюстрировано возникновением еще одного нового направления — Digital Electoral History⁷. Буквальный русский перевод — «цифровая электоральная история» — представляется

не вполне адекватным, так как наводит на мысль, что речь идет об «электоральной истории в цифрах», ориентированной на изучение статистических источников.

Стоит констатировать, что переход от дигитализации, изначально ориентированной на содействие распространению корпусных технологий в гуманитарных науках, к институционализации полидисциплинарного направления Digital Humanities с новых позиций актуализировал проблему самого существования «корпуса науки» как такового. «“Цифровая революция” современного общества видоизменяет и ставит под вопрос традиционные формы создания и распространения знаний»⁸.

В многостороннем и многовариативном процессе генерации, распространения и использования научного исторического знания в условиях быстрого продвижения медиатехнологий можно выделить целый ряд серьезных методологических проблем, возникающих на всех этапах проведения исследования в распределенной цифровой среде. По М. Таллеру, эта среда изначально была призвана обеспечивать: «1) доступ к информации, необходимой для решения задачи исследования; 2) анализ информации средствами, отвечающими методологическим требованиям конкретной дисциплины и задаче исследования и 3) публикацию новой информации, полученной в результате анализа»⁹.

Стоящая перед Digital Humanities проблема как раз и состоит в том, чтобы выяснить возможности медиатизированных форм познания, научиться и научить сочетать их в исследовательских и образовательных практиках. Соблюсти баланс между конструированием объективистских универсалий и описанием, повествованием, субъективными интерпретациями.

Важно подчеркнуть, что проблемы освоения исторического знания со стороны представителей политологического сообщества являются многофакторными и внутренне противоречивыми, но порой они преднамеренно упрощаются, замещаясь схемами, описывающими относительно известные конструкты: изоляционизм проектной работы, заимствования образцов зарубежной научной мысли, использование различных «конечных словарей» (понятие, предложенное Р. Рорти¹⁰). В процессе творческих исканий зачастую порождаются эвристически незначимые концепции и модели обоснования, что в конечном счете приводит к оправданию необходимости «оберегать норму», «не нарушать жанрово-дисциплинарную конвенцию» и «поддерживать дисциплинарные границы». При непонимании того, что совсем недавно информация была фундаментом для идей, но сейчас информация соревнуется с идеями¹¹, игнорируется процесс формирования в медиапространстве «интерактивной» гуманитаристики, гибко отвечающей на современные общественно-политические вызовы.

Сегодня только информационная и только ценностная функции социально-гуманитарного образования все более дополняются коммуникативной. Коммуникация по поводу содержания нарратива становится важным способом интерпретации современной реальности, а своеобразное пересечение коммуникативной и ценностной функций способствует формированию сложно организуемых каналов социального участия, что нашло свое отражение и в жанровом многообразии, и в содержательном наполнении медиапространства.

В сетевом пространстве ускоряется объективный процесс «измельчения» знания, а сторонники междисциплинарности становятся более чуткими к альтернативным формам его репрезентации. Но именно незавершенные и не стремящиеся стать таковыми медиаисследовательские и медиаобразовательные практики формируют вневременной диалог, в котором участвуют и историки, и политологи.

Одновременно с этим последние три-четыре года начинают характеризоваться как начало этапа проявления синергетического эффекта от своеобразного переплетения тенденций, последовательно фиксировавшихся в сфере медиаобразования на протяжении его почти сорокалетней истории. От первых попыток интеграции медиаобразования в школьное образование через концептуализацию этого процесса, развитие теоретических подходов и форм реализации к социализации коммуникационного взаимодействия и профессионализации медиазнаний — путь, по которому, пусть с некоторым запозданием в сравнении с западным опытом, проходят российские практики.

Все начиналось с понимания важности эволюционного выработки методов организации медиаграмотности как желания и умения понимать медиасообщения, критического восприятия медиапродукции. Ставилась задача научить воспринимать и использовать информацию, получаемую по медиаканалам. Концепция «традиционного» медиаобразования основывалась на привычных средствах массовой информации. Переход к использованию современных информационно-коммуникационных технологий выявил недостатки указанной концепции и сформулировал запрос на развитие дистанционного и открытого обучения. Появление новых медиа поставило в разряд актуальных вопросы обеспечения интегрированных средств обработки информации и организации кросс-медийности. Формирование стандартов интерактивной коммуникации завершило этап, характеризующийся переопределением медиаобразования как системного изменения системы образования, сконцентрированного на всестороннем и комплексном применении возможностей виртуального образовательного пространства и создании открытой сетевой учебной среды.

Историческая профессионализация медиаобразования — отдельное направление рассматриваемых процессов. Воздействие медиа на обучающегося начинается во все более раннем возрасте, на первых этапах социализации. По необходимости утрированные образы и суждения, «заточенные» на тот особый род темпоральности, который и называется историей, способствуют не только созданию ситуационно модернизированных «картинок» в ретроантураже, но и ориентации на коллажное, а порой и коллажно-игровое прочтение продуцируемых медиатекстов. В этом нет ничего неестественного, если анализировать историческое медиаобразование как звено, связующее систему исторического образования и медиакультуру.

Однако определенное отношение к миру историко-политических взаимодействий, его восприятие, оценки вполне способны сохранять свое влияние и по мере развития процессов социализации и формирования интеллектуальной культуры, если элемент «образование с помощью медиа» не дополняется обучением посредством медиа. Вне сомнений, важнейшим аспектом исследуемых процессов выступает интерактивность по отношению к себе и другим, к самим медиа, посредством которых познается природа исторического знания и коммуникации как таковой.

Процесс междисциплинарной гибридизации поставил в разряд актуальных вопросы утраты представителями «обособленных» профессиональных сообществ монополии на историческое и политологическое знание и размывания традиционных границ между сложившимися коммуникационными регистрами. Формирование как коммуникационных, так и медианавыков начинается с попыток выражения собственного мнения и эмоций с использованием разнообразных средств, применением различных медиа при учете их интерпретационных возможностей, овладением терминологией коммуникационной интеракции. При этом каждый разговор о сущности коммуникационных регистров вовлекает в свое течение представление многих конфликтующих позиций. Говорить на языке академической дисциплины означает создавать и воссоздавать различия. Приведение этих различий к общему знаменателю, понимание оказывается тогда метаязыковой задачей. Другими словами, то, о чем говорится, постоянно испытывает на прочность то, как говорится.

Дальнейшее историческое медиаобразование будет направлено на выработку более глубокого понимания центральной роли медиа в современном обществе, на активизацию взаимодействия педагогов, обучающихся и медиа, на осознание того, что современные информационно-коммуникационные процессы усложняются, а научно-образовательные практики медиатизируются. Как следствие, исследователи будут начинать осознавать воздействие медиа на сферу исторического знания и производства смыслов, понимать роль и значение средств массовой ин-

формации, выбирать индивидуальные подходы к формированию и корректировке мироощущения и мировоззрения.

Актуальной проблемой для развития современной системы медиаобразования является открытость технологий и процедур интеграции медиазнаний в базовое историческое образование. Ведь, к примеру, сам по себе поиск в Интернете информации и ее критический анализ может лишь развить фобии, связанные с доминированием в новых медиа, востребованных в силу «проверенности временем» и, следовательно, «достоверных» текстов, а также с нарушением иерархизации научных и ненаучных нарративов в силу иллюзии «равенства мнений».

Проблемным остается вопрос дискурсивного рассмотрения исторического медиаобразования в контексте социальной среды, и в частности, тех процессов, которые протекают в сообществе отечественных историков под влиянием новых теоретических и методологических подходов, меняющих взгляд на саму природу социального и гуманитарного знания. Расширяется пространство истории и политических наук, увеличиваются их творческие возможности, способствующие продвижению новых моделей исследовательского сотрудничества, экспертно-консультационной деятельности и инновационных подходов в преподавании. Совокупность этих факторов предопределяет в итоге особую значимость разработки широкого круга вопросов, связанных с изучением возможности методологически корректного обобщения медиаобразовательных практик в сфере исторического образования.

Сказанное не позволяет нам оставить в стороне сформулированный выше вопрос о попытках государства нейтрализовать науку. Рассмотрение генетической связи конструирования образов прошлого и политических процессов свидетельствует о том, что медийность не является нейтральным проводником смысла, но сама производит определенный смысл, который, кстати сказать, непросто опознать и декодировать. В случае деполитизации процесс «придания истории смысла» во многих (если не во всех) случаях принимает формы, плохо поддающиеся рационально-управленческим манипуляциям. Своеобразным ответом на это является режим стандартизации, приведения объектов управления — категориальных сеток — к рационально-наглядной форме, кодификации, формализации, классификации и упорядочиванию, в том числе «жестких» расстояний между дисциплинарными ядрами.

¹ Манифест о создании Сообщества российских историков (Хартия историков), черновой вариант, 9 февраля 2014 г. / Сост. И.И. Курилла.

² Куренной В.А. Государство как механизм деполитизации // Государство. Научные тетради Института Восточной Европы. М., 2009. Вып. III. С. 86.

³ Вахитайн В.С. Инциденты на дисциплинарных границах, 20 марта 2013 г. URL: <http://postnauka.ru/longreads/10116> [15.02.2014].

⁴ Про А. Двенадцать уроков по истории: Пер. с фр. М., 2000. С. 141.

⁵ Merton R. On Sociological Theories of the Middle Range // Social Theory and Social Structure. N.Y.: The Free Press, 1949. P. 39–53. URL: <http://www.csun.edu/~snk1966/Robert%20K%20Merton%20-%20On%20Sociological%20Theories%20of%20the%20Middle%20Range.pdf> [15.02.2014].

⁶ Савельева И.М. Исторические исследования в XXI веке. Теоретический фронт // Диалог со временем. 2012. № 38. С. 25–53. URL: http://roii.ru/publications/dialogue/article/38_2/savelieva_i.m./historical-studies-in-the-21st-century-theoretical-frontier [15.02.2014].

⁷ Реут О.Ч. Digital Electoral History и модернизация политических коммуникаций // PolitBook. 2013. № 2. С. 24–34.

⁸ Манифест Digital Humanities // Материалы конференции THATCamp. 2010. 18–19 мая. Париж. URL: <http://tcp.hypotheses.org/501> [15.02.2014].

⁹ Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012. № 1. С. 5–13. URL: http://kleio.asu.ru/2012/1/hcsj-12012_5-13.pdf [15.02.2014].

¹⁰ Рорти П. Случайность, ирония и солидарность: Пер. с англ. М., 1996.

¹¹ Бендер Т. Историки в публичном пространстве // ГЕФТЕР: Интернет-журнал об исторической науке и обществе. 2012. 25 мая. URL: <http://gefter.ru/archive/4669> [15.02.2014].

ЦИФРОВЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (DIGITAL HUMANITIES): ВЫЗОВЫ И ТУПИКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

Володин Андрей Юрьевич
МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы развития междисциплинарности в формирующемся направлении «цифровых гуманитарных наук» (Digital Humanities). Критически рассмотрена новейшая литература, особое внимание уделяется вопросам построения междисциплинарных связей, возможностей роста и тупиков развития. Рассматривается оцифровка как повседневная исследовательская практика гуманитариев, предлагается насыщенный переход от спонтанной к систематической оцифровке, как следствие, переход от оцифровки-описания к оцифровке-реконструкции.

Ключевые слова: оцифровка, цифровые гуманитарные науки, цифровая история, междисциплинарность в цифровую эпоху, digitization, digital humanities, digital history, digital interdisciplinarity.

Оцифровка сегодня — привычная практика любого гуманитария, будь она *спонтанная*, когда нужно выписать важную цитату, или *систематическая*, когда оцифровывается комплекс документов¹. Но оцифровка сама по себе, хотя и является подспорьем, не решает важных задач гуманитарных исследований. Возникает резонный вопрос: какое приращение знания мы получаем в эпоху «цифрового перехода», или же речь и вовсе идет лишь о репродуцировании «аналогового» материала в «цифровой»?

Например, в последние годы в исторической литературе активно ведутся споры о перспективах развития компьютерного источниковедения, направления призванного ответить на ключевые вопросы «цифрового перехода» в ремесле современного историка². Но теории строят свои обобщения с отставанием от практики, которая требует формулировки правил, необходимых и достаточных для использования компьютерных технологий для решения повседневных исследовательских задач.

Современное положение «оцифровки» в профессиональной работе гуманитариев — как незаметной, но принципиально важной практики — ставит существенные вопросы в контексте новой «цифровой» (или

«дигитальной») междисциплинарности — ответить на некоторые из них на примере цифровых гуманитарных наук призвана данная статья.

Цифровые гуманитарные науки: в поисках самоопределения

Digital Humanities — цифровые гуманитарные науки или цифровая гуманитаристика — новое направление, в последнее десятилетие активно завоевывающее место в гуманитарных междисциплинарных компьютеризированных исследованиях. Компьютеризация началась в гуманитарных науках не сегодня, ведь к помощи компьютерной техники в гуманитарных исследованиях обратились с появлением больших вычислительных машин. Но цифровая эпоха в гуманитарные науки пришла после микрокомпьютерной революции с развитием вычислительных мощностей и персонализации компьютерных систем, позволяющих не только создавать сложные виртуальные реконструкции, но и представлять их в электронной среде с помощью средств Всемирной паутины³.

«Цифровой переход» в гуманитарных науках можно считать состоявшимся. По сути, любое гуманитарное исследование сегодня основано на спонтанной или систематической, выборочной или сплошной оцифровке документов и объектов историко-культурного наследия. Оцифровка стала одной из важных ежедневных практик ремесла гуманитария. В этой связи встает широкий спектр вопросов, в чем преимущества и недостатки наступления цифровой эры в гуманитарных исследованиях — именно эти вопросы оказываются во главе угла в весьма обширной литературе, посвященной проблемам определения, самоопределения и развития междисциплинарного направления цифровых гуманитарных наук. Важной составляющей в рамках цифровой гуманитаристики также являются специализированные ветви, например «цифровая история» (digital history)⁴.

Многие гуманитарные дисциплины весьма успешно включились в процесс использования компьютерных технологий для решения научных задач, лидерами в этом стали филология и история. Филологи значительно продвинулись в компьютеризированном изучении текстов, создании лингвистических корпусов, автоматизации процедур текстологического анализа. Историки сосредоточились на изучении оцифрованных исторических источников, представлении исторических сведений в формате баз данных, оцифровке и электронной публикации свидетельств прошлого.

При этом более всего актуальным становится переход от измерительных технологий к реконструкциям, связанным с быстрым развитием средств компьютерной визуализации и распространением сетевых

технологий. Данный переход можно условно датировать 2005 г., когда постепенно стало заметно терминологическое изменение: от исторического или гуманитарного компьютеринга (humanities computing, history and computing) терминология начала переходить к цифровым гуманитарным наукам⁵. Перемена названия означала постепенное изменение статуса — от технической поддержки к интеллектуальному прорыву со своими профессиональными практиками, научными стандартами и теоретическими построениями⁶. Во многом переход от «измерительных» возможностей компьютерных технологий к реконструкционным и презентационным связан с освоением интернет-технологий в разных гуманитарных областях⁷.

Отправной точкой для дискуссии о развитии исследований в русле цифровой гуманитаристики стало издание «Компаньона по цифровым гуманитарным наукам»⁸. В сборнике были собраны многочисленные статьи, посвященные вопросам междисциплинарного синтеза в истории, филологии, археологии, антропологии и социальных науках. Сегодня в мире существуют сотни центров, заявляющих среди научных интересов цифровую гуманитаристику; их даже нанесли на интерактивную карту⁹. С этого момента одной из актуальных (и как показала практика, непростых) задач стало определение, что же можно относить к цифровым гуманитарным наукам, а что нет (ведь возможно простое расширительное определение, что к цифровой гуманитаристике относятся все современные исследования, выполненные с помощью цифровых инструментов). Исходя из многочисленных версий определения, выявить устоявшуюся точку зрения на цифровые гуманитарные науки как научное направление¹⁰.

Данное определение является основой исследовательского подхода к определению цифровой гуманитаристики. В таком случае цифровые гуманитарные науки — это проектный подход к решению научных проблем, предполагающий в качестве итога исследовательского труда определенный информационный цифровой продукт, например электронный онлайн-ресурс. В каком-то смысле возможности электронной публикации и сетевого доступа начинают играть роль «дополненной реальности», когда классические формы научного творчества (статьи, монографии) дополняются электронными ресурсами, содержащими цифровые приложения, часто играющие самостоятельное научное значение¹¹. Следует отметить, что среди специалистов наблюдается относительный консенсус, что цифровые гуманитарные науки предполагают не только использование компьютера как исследовательского инструмента, но и необходимость расширения цифрового историко-культурного наследия путем публикации электронных ресурсов, реконструкций и

визуализаций. Без таких публикаций исследование может быть компьютеризированным, но не может относиться к направлению.

При этом уже настал момент, когда от самоопределения¹² требуется переходить к практике — научным открытиям и новым интерпретациям¹³, памяти об опасности оказаться во власти программного обеспечения¹⁴.

Меж чем дисциплинарность?

И переходя от слов к делу, возникает вопрос: какие дисциплины вступают в контакт на просторах цифровых гуманитарных наук? Надежды состоят в том, что на основе электронных платформ откроется возможность широкого гуманитарного сотрудничества специалистов, а значит, удастся преодолеть принцип узкой междисциплинарности, когда одна из гуманитарных дисциплин соединяется с информационными технологиями, а остальные сферы гуманитарного знания остаются за пределами этой смежности.

В принципе междисциплинарный подход цифровой гуманитаристики может оказаться весьма плодотворным, если будет состоять не в простом заимствовании понятий или теорий из смежных наук или адаптации их методик. Этот подход потребует поиска консенсуса в широком междисциплинарном поле, где, например, встречаются текстология и корпусная лингвистика, археология и трехмерное моделирование или, к примеру, источниковедение и компьютерные науки (computer science)¹⁵. Поиск точек соприкосновения гуманитарных специальностей и информационных технологий происходит во многих областях. Например, археография ищет пути взаимодействия с современными стандартами форматов электронных документов¹⁶, а дипломатика расширяет повестку дня вопросами цифровой дипломатики¹⁷.

Главным аспектом такого рода междисциплинарности является не просто соприкосновение, а необходимое сотрудничество специалистов из разных гуманитарных и технических дисциплин. В работе помимо историков, филологов и специалистов по информационным технологиям принимают участие архивисты, библиотекари, музейные работники. Основой сотрудничества становится освоение потребностей и возможностей, как содержательных, так и технических особенностей, встретившихся на перепутье дисциплин.

По верному наблюдению М. Таллера, сообщество цифровой гуманитаристики сегодня во многом разделяется на несколько групп:

- исследователей «текста как такового»,
- исследователей-собирателей «фактов» в электронных (иногда весьма обширных) коллекциях,

- исследователей «не-текстов» (в т.ч. виртуальных реконструкций),
- исследователей влияния цифровой среды на гуманитарные науки в целом¹⁸.

При этом накал дебатов об исследовательских принципах и методах цифровых гуманитарных наук сегодня находится на пике. Ключевыми вопросами в дискуссиях становятся следующие: каким образом можно использовать междисциплинарный потенциал гуманитарных наук; как соотносятся реальность и виртуальность, аналоговый и цифровой «миры»; есть ли принципиальные отличия гуманитарного знания и в чем особенности существования этого знания в цифровую и сетевую эру; каким образом технологии помогают или, напротив, препятствуют решению научных проблем¹⁹.

Тупик междисциплинарности?

Так или иначе, большая часть дискуссий в рамках цифровой гуманитаристики касается вопросов оцифровки памятников истории и культуры или же проблем создания и верификации их виртуальных реконструкций. Стоит отметить, что если еще несколько лет назад виртуальная реконструкция воспринималась исключительно как игровая реальность, то сегодня трехмерные реконструкции становятся строгим научным методом²⁰.

Оцифровка документов и памятников прошлого и настоящего воспринимается специалистами по-разному. Ученые в оцифровке видят прежде всего облегчение доступа к нужным для исследований документам. Архивисты спорят о том, должны ли быть цифровые копии фондом пользования или сохранным фондом. Библиотекари часто видят в оцифровке возможности привлечь внимание к редким и любопытным коллекциям. Специалисты в области информационных технологий в оцифровке видят возможности и ограничения технических средств оцифровки и форматов сохранения результатов. Вероятно, эти разные точки зрения объединяет вопрос сохранности историко-культурного наследия в цифровом формате, столь актуальный для направления цифровых гуманитарных наук.

Если 10 лет назад боялись того, что через 100 лет возникнут сложности с чтением данных с компакт-дисков, потому что и диски испортятся и аппаратуру, пригодную для их чтения, будет сложно найти в рабочем состоянии, то сегодня куда более серьезные опасения вызывает вопрос устойчивого хранения данных, чтобы данные не теряли своего качества при перезаписи и обновлении форматов²¹.

Многообразие окружающих нас электронных ресурсов переносит нас в «эру данных». Понятие электронного ресурса в данном контексте шире и точнее понятия электронного документа. Данные меняют наш

подход к исследовательским материалам хотя бы потому, что они оказываются недоступными для человека без какого-то специального устройства-посредника (недаром долгое время данные называли машиночитаемыми). Влияние новых средств коммуникации на информационную среду замечено давно. К примеру, М. Маклюэн выделяет период развития медиасреды — «галактику Маркони», которая пришла на смену «галактике Гутенберга», уже больше века назад, ведь современная электронная цивилизация открывается изобретением телеграфа Морзе в 1844 г.²²

Важным отличием исследований в области цифровой гуманитаристики является то, что принципиально не противопоставляются два режима, условно называемые, «аналоговый» и «цифровой»²³. Исследовательский поход лишен категоричности, и никто не предполагает победу одного режима над другим. Более того, если рассматривать пример исторических наук, то несмотря на впечатляющие темпы оцифровки исторических документов, тотальная оцифровка (ретроконверсия) вряд ли достижима в ближайшей перспективе. Триада «данные—информация—знания» выходит на первое место в методологических дискуссиях о существовании историко-культурного наследия в разных форматах²⁴.

«Данные» как источник для гуманитарного исследования меняют привычную источниковедческую перспективу. Мы начинаем смотреть на видовое разнообразие источников не как на объективное осязаемое различие (ведь наметанный глаз исследователя молниеносно отличает личное письмо от делопроизводственного документа, пусть и хранящегося в одном архивном деле), а как на дополнительное виртуальное свойство, которое может быть — как показано (в электронной копии-изображении), так и просто указано в описании к оцифрованному документу²⁵.

Такой переход позволяет заметить и еще одну важную профессиональную перемену в практике гуманитария — в «эру данных» тексты оказываются в одном ряду с изобразительными, аудиовизуальными и прочими мультимедийными источниками (гипермедиа). И несмотря на сильное сопротивление исконного формата публикации результатов научного исследования в виде монографии, современность требует возможного расширения книжных страниц за счет мультимедийных онлайн-ресурсов.

«Эра данных» в истории и смежных гуманитарных дисциплинах во многом созвучна международной тенденции изучения «больших данных» (big data)²⁶. Большие массивы данных требуют новых подходов, при этом специализация технологических решений для нужд гуманитарного исследования принципиально необходима, как это было во времена утверждения концепции источник-ориентированных баз данных²⁷.

При этом возникает не менее важный вопрос: является ли оцифровка практикой гуманитарных исследований или же это удел специалистов по построению информационных систем?²⁸ Нельзя сказать, что есть очевидный ответ на него. Кратко обобщая мнения, встречающиеся в литературе, оцифровка может оказаться полезной и осмысленной для целей гуманитарных наук, если она целенаправленно решает три задачи:

- 1) сохраняет важные исторические документы в цифровых форматах²⁹;
- 2) позволяет применить электронные средства обработки данных (как ручные, так и автоматизированные)³⁰;
- 3) представляет документальную основу гуманитарных исследований заинтересованной общественности, например, онлайн (в виде сайтов-компаньонов исследований)³¹.

Складывается впечатление, что для дальнейшего плодотворного развития цифровых гуманитарных наук необходимо глубокое осмысление оцифровки как *повседневной исследовательской практики*, переход от спонтанной к систематической оцифровке, а также переход к расширительному пониманию источников гуманитарного исследования — их полному цифровому представлению и, как следствие, к изучению не только текстов, но и памятников прошлого в их цветущей мультимедийной сложности. По сути, этот вариант развития означает переход от *оцифровки как описания* (записи в новом формате, реплики, копии) к *оцифровке как реконструкции* (созданию новых контекстов, порождению новых смыслов). Вместе с этим момент требует установления стабильных инструментов и методик, позволяющих использовать сильные стороны цифровых форматов представления данных, чтобы «цифровой переход» оказался не только повторением или продолжением классических практик новыми техническими средствами, но и позволил открыть новые горизонты познания и понимания.

¹ Оцифровка с технической точки зрения — это описание объекта, изображения или сигнала (в аналоговом виде) в виде набора дискретных цифровых замеров (выборки) этого сигнала/объекта, при помощи специальной аппаратуры, т. е. перевод его в цифровой вид, пригодный для записи на электронные носители.

² Подробное рассмотрение последних дискуссий см.: *Варфоломеев А.Г., Иванов А.С.* Компьютерное источниковедение. Семантическое связывание информации в репрезентации и критике исторических источников. Петрозаводск, 2013. Гл. 1.

³ *Rosenzweig R., Grafton A.* Clio Wired: The Future of the Past in the Digital Age. Columbia University Press, 2011.

⁴ *Ayers, Edward. L.*, 1999. The Pasts and Futures of Digital History (Online Essay). URL: <http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html>; *Cohen D., Rosenzweig R.* Digital History: A Guide

to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. University of Pennsylvania Press, 2002. P. 220–247; History in the digital age / Weller T. (ed.). London; New York: Routledge, 2013; *Володин А.Ю.* Цифровая история (digital history): виртуальная реальность или исследовательская практика? // Стены и мосты II: Междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории. М., 2014. С. 140–147; История современной России: Цифровая инфраструктура междисциплинарных исследований. М., 2014. Глава «Центра истории и новых медиа имени Р. Розенцвейга» С. Робертсон отмечает, что для цифровой истории «цифровые гуманитарные науки» могут оказаться полезными, чтобы найти отличия и таким образом определить суть собственного направления (*Robertson S.* The Differences between Digital History and Digital Humanities. URL: <http://drstephenrobertson.com/blog-post/the-differences-between-digital-history-and-digital-humanities/>).

⁵ Defining Digital Humanities: A Reader / M. Terras, J. Nyhan, E. Vanhoutte (eds.). Ashgate Publishing Ltd, 2013.

⁶ *Hayles N.K.* How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis. University of Chicago Press. 2012. P. 24–25.

⁷ Например, данный процесс заметен в исторической науке: *Владимиров В.Н.* Интернет для историка: и все-таки новая парадигма! // Круг идей: историческая информатика в информационном обществе. Труды VII конференции АИК. М., 2001. С. 279–289; *Володин А.Ю.* Ad fontes ergo ad Internet // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 32. Материалы X конференции АИК. Апрель 2004 г. М., 2004. С. 58–61; *Гарскова И.М.* Источник в цифровом формате: концепции исторической информатики // Идеи академика И.Д. Ковальченко в XXI веке. М., 2009. С. 140–153.

⁸ *Schreibman S., Siemens R., Unsworth J.* (ed.). A Companion to Digital Humanities. Blackwell Publishing, 2004. URL: <http://www.digitalhumanities.org/companion/>

⁹ См.: Прототип интерактивной карты центров Digital Humanities. URL: <http://huminf.tsu.ru/dh-map/>; первые результаты исследования центров опубликованы: *Можжаева Г.В., Можжаева-Реня П.Н., Сербин В.А.* Цифровая гуманитаристика: организационные формы и инфраструктура исследований // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 389. С. 73–81.

¹⁰ Подробнее о вариантах определения см.: *Володин А.* Digital humanities (цифровые гуманитарные науки): в поисках самоопределения // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2014. Т. 26. № 3. С. 5–12; Debates in the Digital Humanities / M.K. Gold (ed.). University of Minnesota Press, 2012. URL: <http://dhdebates.gc.cuny.edu/>

¹¹ *Carter B.* Digital Humanities: Current Perspective, Practices, and Research (Cutting-Edge Technologies in Higher Education). Emerald Group Publishing Ltd, 2014; *Jones S.E.* The Emergence of the Digital Humanities. Routledge, 2013.

¹² Defining Digital Humanities: A Reader / M. Terras, J. Nyhan, E. Vanhoutte (eds.). Ashgate Publishing Ltd, 2013.

¹³ Важным шагом на этом пути является коллективная монография: Advancing digital humanities: research, methods, theories / Ed. by K. Bode, P.L. Arthur. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014.

¹⁴ *Manovich L.* Software takes command: extending the language of new media. New York; London: Bloomsbury Academic, 2013.

¹⁵ *Гарскова И.М.* Источниковедческие проблемы исторической информатики // Российская история. 2010. № 3. С. 151–161.

¹⁶ *Тихонов В.И.* Информационные технологии и электронные документы в контексте архивного хранения (статьи разных лет). М., 2009; *Vandendorpe C.* From Papyrus to Hypertext: Toward the Universal Digital Library (Topics in the Digital Humanities). University of Illinois Press, 2009.

¹⁷ *Варфоломеев А.Г., Иванов А.С.* Компьютерное источниковедение. Семантическое связывание информации в репрезентации и критике исторических источников. Петрозаводск: ПетрГУ, 2013. «Charters Encoding Initiative» (CEI) Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана. URL: <http://www.cei.lmu.de>

¹⁸ *Таллер М.* Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012. № 1. С. 5–13.

¹⁹ *Burdick P., Lunenfeld P., Burdick A., Drucker J., Presner T., Schnapp J.* Digital Humanities. MIT Press, 2012.

²⁰ *Жеребятьев Д.И.* Методы трехмерного компьютерного моделирования в задачах исторической реконструкции монастырских комплексов Москвы. М., 2014; *Яблоков К.В.* Компьютерные исторические игры 1990–2000-х гг.: проблемы интерпретации исторической информации: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2005.

²¹ Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению полученным информационным массивом / Ю.Ю. Юмашева. М., 2012; *Тихонов В.И.* «Уничтожить нельзя хранить»? Методологические и практические аспекты экспертизы ценности электронных документов // *Круг идей: междисциплинарные подходы в исторической информатике.* М., 2008. С. 16–62.

²² *Маклюэн М.* Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М., 2005.

²³ *Gregory I.* Challenges and opportunities for digital history. *Front. Digit. Humanit*, 2014. URL: <http://dx.doi.org/10.3389/fdigh.2014.00001>

²⁴ *Save As... Digital Memories / Garde-Hansen Joanne, Hoskins Andrew and Reading Anna* (eds.). Palgrave, 2009.

²⁵ О «цифровом переходе» на примере исторической науки см.: *Володин А.Ю.* «Цифровая история»: ремесло историка в цифровую эпоху // *Электронный научно-образовательный журнал «История» (ЭНОЖ).* 2015. Вып. 9. URL: <http://history.jes.su/>

²⁶ *Manning P.* Big data in history. Palgrave, 2013; *Graham S., Milligan I., Weingart S.* The Historian's Macroscope: Big Digital History. URL: <http://www.themacroscopic.org>; *Armitage D., Guldi J.* The History Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Ch. 4. URL: <http://dx.doi.org/10.1017/9781139923880>

²⁷ *Таллер М.* Что такое «источник-ориентированная база данных»; что такое «историческая информатика»? // *История и компьютер: новые технологии в исторических исследованиях и образовании.* Геттинген, 1993.

²⁸ См., например: *Яник А.А.* Исторические исследования в новых реальностях информационного общества XXI века // *История современной России: Цифровая инфраструктура междисциплинарных исследований.* М., 2014. С. 11–38.

²⁹ См., например: *Бородкин Л.* Digital history: применение цифровых медиа в сохранении историко-культурного наследия? // *Историческая информатика.* 2012. Т. 1. № 1. С. 14–21.

³⁰ В данном контексте важно отметить дискуссию вокруг книги Франко Моретти (Moretti) «Distant reading» (L.; N.Y.: Verso, 2013), в которой практика «пристального чтения» (close reading) противопоставляется «отдаленному чтению» (distant reading), состоящему в количественном и систематическом анализе большого корпуса текстов (комплекса документов).

³¹ Свежий пример: Университет Небраски опубликовал интересный опыт исторического исследования, совмещенного с сайтом-компаньоном. Монография посвящена Вашингтону в период гражданской войны: *Civil War Washington: History, Place, and Digital Scholarship.* University of Nebraska Press, 2015. URL: <http://civilwardc.org>

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА: ВЫЗОВ ТРАДИЦИЯМ ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ?

Комочев Никита Алексеевич
Институт славяноведения РАН,
г. Москва

***Аннотация:** Статья посвящена дипломатической семиотике — направлению, которое разрабатывается представителями «марбургской школы» дипломатики (Германия). На основе работ основателя данного направления П. Рюка и других исследователей показаны возможности, которые дипломатическая семиотика дает для анализа средневековых актов. Прослеживаются историографические истоки дипломатической семиотики, тесно связанные с историей развития дипломатики. Ставится вопрос о пределах возможностей и перспективах данного направления.*

***Ключевые слова:** дипломатика, акты, Средневековье, палеография, вспомогательные исторические дисциплины, П. Рюк, Ж. Мабильон.*

Дипломатика — дисциплина, занимающаяся изучением актовых источников, традиционно консервативна и самодостаточна. Поэтому появление в конце XX в. так называемой дипломатической семиотики воспринимается в этой специализированной сфере как явление редкое. Развитие дипломатической семиотики связано с деятельностью «марбургской школы» дипломатики, представленной трудами Петера Рюка (1934–2004) и его учеников¹. Главное значение данного направления состоит в смещении акцента с содержательных на изобразительные аспекты и подходе к акту с точки зрения его коммуникационных функций.

Появление таких идей нельзя считать случайным, учитывая общую тенденцию дипломатики XX в., — изучение акта как продукта духовной и материальной жизни своего времени², что является частью более общей тенденции — смещения интересов от политической истории и истории права к социальной истории и истории отдельных представителей общества с их «культурой»³. В этой связи важным вопросом при изучении актов, выданных от имени представителей верховной

власти, является отражение в актах идей господства и правления. Считается, что первым рассматривал акт как выражение политических взглядов (на византийском материале) Ф. Дёльгер. В правовом искусстве и церемониале он видел пропаганду идеи правления. Акт у Ф. Дёльгера выступает как символ императорской власти и господства, это касается и внешней формы, и внутренней формы (особенно преамбулы⁴.

Идеи репрезентации власти в актах занимают заметное место в работах так называемой «венской школы» дипломатики, начиная с Генриха Фихтенау, который использовал термин «монархическая пропаганда»⁵. Проводниками «пропаганды» были внешняя форма, формат, шрифт, имя и титул государя и др. На Западе к роскошному оформлению актов прибегали только в отдельных случаях, и это имело свои причины. Большой формат импонировал читателю, а буквы большого размера подчеркивали происхождение слов из уст государя и дистанцию монархической сферы от повседневности.

Художественное начертание букв с многочисленными лигатурами было малопонятно современникам. Хорошая защита от подделок, которую обеспечивало такое письмо, не была основной причиной его использования. Так, при использовании «удлиненного» шрифта в меровингских актах, когда визуально выделялись имя и титул короля, тем самым подчеркивалась дистанция между ними и основным текстом. Имели значение и строки, содержащие удостоверения. При Оттонах часть текста, касающаяся короля, писалась более крупными буквами, чем подпись канцлера и первая строка⁶.

К другим признакам Г. Фихтенау относил графические символы, широко использовавшиеся уже в меровингских королевских актах. В Византии и в папской канцелярии акт адресовался к читающей публике, там продолжали римские традиции и графические символы в раннее время играли не столь большую роль. На Западе же, где далеко не все могли прочесть акт, монограммы, печати, хрисмоны, удостоверительные знаки имели большое визуальное значение. Г. Фихтенау писал, что магическую силу диплому придавал хрисмон, а таинственный и волшебный характер — тиронские знаки⁷. Это было уже серьезное отступление от традиционного исследовательского «рационализма». Если в классических трудах Т. Зиккеля внешние особенности актов объяснялись с современной исследователю точки зрения, то Г. Фихтенау пытался рассматривать акт как продукт своей эпохи. Степень оправданности и доказательности исследовательских гипотез — вопрос особый.

Внутренняя форма, по Г. Фихтенау, также была инструментом «монархической пропаганды» — особенно вербальная инвокация, титул государя с инвокативными формулами (*Devotionsformeln*), преамбула. Преамбула содержала типичные понятия и высказывания, показывающие развитие политического мышления⁸.

Основная мысль Г. Фихтенау и его «венской школы» состоит в том, что публичный акт является не только средством осуществления власти (*Herrschaftsmittel*), но и знаком этой власти (*Herrschaftszeichen*), отпечатком политической истории⁹. В этом русле написаны книги самого Г. Фихтенау о преамбуле и его ученика Х. Вольфрама об интитуляции.

Работы Г. Фихтенау имели двоякое влияние, с одной стороны, получила развитие идея репрезентации власти в актовом формуляре, с другой — выражение этой идеи внешней формой источника. К первому направлению (изучение «вербальной риторики») относятся в первую очередь упомянутые работы Х. Вольфрама об интитуляции. Второе из названных направлений (изучение «визуальной риторики» актов) получило развитие благодаря «марбургской школе» П. Рюка¹⁰.

Среди направлений, в которых работал П. Рюк, — история его родной Швейцарии, дипломатика, палеография, кодикология, хронология, историографические сюжеты, но дипломатическая семиотика стояла в центре его научных интересов. Фотоархив в Марбурге, содержащий копии средневековых грамот из хранилищ разных стран Европы, стал основой его исследований. Одним из первых П. Рюк стал использовать компьютер, ввел курс информатики для историков в 1981 г., осуществлял перевод в электронную форму фотоархива актов. Другим направлением работы Марбургского института под его руководством стало создание электронного банка данных библиографической картотеки по вспомогательным историческим дисциплинам. П. Рюк был организатором ряда тематических международных коллоквиумов, посвященных фотографическим собраниям актового материала (1986), пергамену как материалу для письма (1987), графическим символам (1989), методам описания памятников письменности (1990).

Уже в диссертации, посвященной грамотам базельских епископов¹¹, П. Рюк уделил большое внимание подробному описанию пергамена, почерков и формата. Он прослеживал историю написания каждой буквы вплоть до стандартизации почерков в XII–XIII вв. При работе с актами П. Рюк использовал и фотокопии оригиналов,

монография включает факсимильные воспроизведения актов и печатей.

При работе с грамотами П. Рюк применял как индивидуальный анализ каждого источника, так и систематическое рассмотрение всего корпуса взятых актов в хронологической последовательности. Им были лично просмотрены все оригиналы, кроме одного, находящегося в Вене. Весь корпус известных П. Рюку источников включал 75 епископских актов, из которых 60 считаются подлинными, 9 сомнительны и 6 фальсифицированы, при этом автор считал возможным обнаружение со временем и других оригиналов. Дополнительно им были рассмотрены 12 неепископских актов, тесно связанные с основной группой¹².

Для общей характеристики актов Рюк использовал таблицу со следующими графами: архивный номер, дата и место, автор, получатель, диктатор и писец (церковь, монастырь, епископ и др.), вид акта (т. е. его содержание), текст, в составе которого сохранился акт (оригинал, копия), страница в книге, на которой акт описывается¹³.

В этой ранней работе можно видеть зачатки почти всех направлений его дальнейших исследований. В то время как дипломатика традиционно уделяет основное внимание тексту акта, П. Рюк обращал внимание на визуальные аспекты, игравшие при создании акта, по его мнению, не меньшую роль, чем текст. Впоследствии он пошел еще дальше, отдавая предпочтение визуальному ряду, текст для него оказывался по своей значимости на втором месте. Согласно П. Рюку, немецкие королевские и императорские акты были в первую очередь рассчитаны для рассматривания и только во вторую очередь для чтения (акт — плакат средневековья!). Это позволило ему подходить к актам как произведениям искусства¹⁴.

Попытку рассматривать графические признаки как *semiotica diplomatica* сделал еще в 1765 г. К. Гаттерер, но эта идея не находила вплоть до XX в. особого сочувствия¹⁵. Во времена П. Рюка она уже не могла не вызвать интереса, почва для этого была подготовлена. В 1970-е гг. Бернгард Бишоф, признанный специалист в области латинской палеографии, уже подчеркивал взаимосвязанность палеографии и истории искусств, а также необходимость применения технических средств и подсчетов при изучении рукописей — «с применением технических средств палеография — искусство видеть и чувствовать, находится по пути превращения в искусство измерения». Б. Бишоф провозглашал индивидуальный подход к каждой рукописи, как к особенному явлению¹⁶.

Классическая дипломатика П. Рюка не удовлетворяла, поскольку в ней не было места дипломатической семиотике. Отмечает П. Рюк и парадокс: дипломатика, наверное, единственная наука, обобщающие работы по которой имеют чуть ли не столетнюю давность¹⁷.

Своего рода резюме возможностям «марбургской школы» подвел сам П. Рюк в курсе лекций, прочитанном им 24–28 апреля 1995 г. по приглашению О. Гийожаннена в парижской Школе хартий. Текст этих лекций был подготовлен в адаптированном виде уже его учениками¹⁸. Рассмотрим содержание этих лекций.

Недостаток современной дипломатики, по словам П. Рюка, заключается в том, что эта наука лишь констатирует, она не ставит вопросов почему и каким образом, так как не может на них ответить, используя свой традиционный арсенал методов. Палеография, напротив, представляет письмо в качестве автономной знаковой системы и культурного феномена. Дипломатика, в которой *descripen veri ac falsi* (различение истинного от ложного) должно оставаться одной из важнейших задач, может последовать примеру палеографии. Тогда акт будет рассматриваться как самостоятельный культурный продукт и специфическое средство коммуникации, которое не ограничивается функциями правового удостоверения, а отражает комплексную систему кодов (элементов коммуникационного процесса) внутри общества той или иной эпохи. Расшифровать систему кодов — значит раскрыть эстетическую систему, и в этом смысле любой акт является произведением искусства.

Несмотря на то что большинство средневековых западноевропейских актов, в отличие, скажем, от византийских, скромно оформлены и выдержаны в черно-белых тонах, сама организация листа (композиция), разделение его на две зоны и выделение полей отражает определенную концепцию. Вопрос, чем вызваны устойчивые традиции в оформлении актов, настоятельно требует своего решения.

Писцы средневековых актов, действительно, не были новаторами, а должны были следовать сложившимся традициям, и канцелярия обычно представляется как консервативный институт. Тем не менее, замечает П. Рюк, если взять, например, дипломы Оттонов, то редкий год не приносил каких-либо новшеств. Эти новшества позволяют проследить существенные элементы развития акта, которые через века могут прояснить нам смысл дипломатического «посольства».

В качестве таких элементов, которые далее разбирает П. Рюк, выступают у него формат актов, композиция (*Seitengestaltung*) листа, графические символы, шрифт.

Вопрос, чем объясняется разнообразие средневековых форматов, представляется автору довольно темным, учитывая то, что дипломатика традиционно почти не занималась этим вопросом. В самом деле, пишет П. Рюк, почему прецепты меровингских королей писались на широких листах, а их судебные протоколы — на узких и длинных; почему в Италии акты вытянуты в высоту, а в северных странах — в ширину и т. д.?

Играло свою роль то, какое животное использовалось для производства пергамена — овцы и козы на юге, телята на севере. С другой стороны, зачастую использовались отрезки, первоначально не имевшие ничего общего с нужным форматом, да и с течением времени под действием климата и температур могли происходить отклонения от первоначального формата. Тем не менее П. Рюк выявляет общую тенденцию перехода от очень широких форматов Каролингов, через квадратные форматы (около 1000 г.) к узким форматам XII в. и назад к широкому, но меньшего размера, форматам XIII в. Кроме того, им прослеживается связь с античной практикой различения разных видов актов по форматам. Эта практика проходит почти через все Средневековье и собственно акты в подлинниках обычно широкоформатны, а их копии и судебные акты вытянуты в высоту¹⁹.

Теперь о композиции или способе организации листа средневековых актов. Самое существенное, по мнению П. Рюка, состоит в том, что акт предназначался в первую очередь не для читателя, а для зрителя и слушателя, напоминая в этом смысле плакат. Если визуальный центр обычной книжной страницы находится выше геометрической середины листа, то взгляд, обращенный на акт, останавливается на знаках, расположенных ниже геометрической середины страницы — там, где находятся монограммы, печати, подписи и т. д. В отличие от листа книги текст акта не выглядит однородным, в нем симметрично выделены зоны с разным визуальным наполнением. Особым искусством симметрии отличались акты папской канцелярии. Поля слева и справа от занятой текстом площади были одинаковой ширины, сам текст изображал фасад храма; рота, монограммы и подпись папы в центре выстраивались в три колонки.

С течением времени, как отмечает П. Рюк, происходит все большая текстуализация акта, т. е. основным носителем информации становится текст. Это заметно и по переходу к более приспособленным для чтения форматам. Исчезают со временем и визуальные маркеры: в XI в. — хрисмон, потом удлинённый шрифт (*Elongata*) инвокации, имя короля перестает выделяться. Меняется область монограмм и удо-

стоверения, печать закрепляется сбоку и т. д. П. Рюк видит во всем этом существеннейшие изменения²⁰.

Графические символы (signa), так же как хрисмон, удостоверительные и подтвердительные подписи, за исключением сравнительно легко интерпретируемой монограммы, выглядят, по словам П. Рюка, довольно загадочно. Основная отмеченная им тенденция в развитии графических символов состоит в переходе от их дуктального характера (т. е. связанного с движением руки и курсивным шрифтом) к скульптальному — более стандартизованному и геометрически правильному. При этом некоторые знаки теряют свой первоначальный магический смысл.

Любое курсивное написание включает в себе непрерывную линию, причем ее форма формируется рукой автоматически. Основными элементами всех символических знаков являются четыре: стержень (ствол), дуги (изгибы, крючки), петли и пересечения. При интерпретации знаков необходимо учитывать их многозначность. Трудно представить, чтобы тот или иной знак имел только одно значение.

Относительно актового шрифта П. Рюк замечает, что создавался он также в первую очередь в расчете на зрительное восприятие. Легкость его чтения — вопрос второй, недаром ведь даже такой реформатор шрифта, как Карл Великий (при нем был введен каролингский минускул), оставил для актов трудночитаемый меровингский шрифт. Папской канцелярии нечитаемый шрифт не мешает до XI в., и многочисленные акты должны были сопровождаться транскрипциями, выполнить которые могли только специалисты. В XVI в. был введен новый папский шрифт, чрезвычайно трудно читаемый. С точки зрения техники письма все эти действия были совершенно неоправданы. С течением времени шрифт теряет эту функцию и сближается с книжным шрифтом. Это соотносится и с отмеченными выше тенденциями — уменьшением формата, вытеснением символических знаков²¹. Сама по себе иерархия шрифта, выработанная еще в турском скриптории в 800 г. — капитальный шрифт, унциал, полуунциал, минускул, свидетельствует о многообразии функций шрифтов разных типов²².

Как мы видим, в отношении внешней формы средневековых актов количество вопросов значительно превышает число ответов. Школе П. Рюка принадлежит подтверждение той мысли, что метод вспомогательных исторических дисциплин оставался в течение веков по сути дела одним и тем же — сравнение возможно большего числа источников, а это доказывает необходимость использования изображений актов²³. В последнее время, с возможностями цифровых технологий, это

становится особенно актуальным. Скрупулезное описание внешних особенностей, их факсимильное воспроизведение является сейчас «хорошим тоном» и в публикациях средневековых грамот.

Идеи П. Рюка за короткий период успели пустить корни в европейской дипломатике, и уже в учебники вошло, что «акты могут быть не только правовым документом, но и произведением искусства»²⁴.

Тем не менее, несмотря на определенные успехи исследований П. Рюка и его учеников, в историографии продолжает сохраняться и скепсис. Вызван он тем, что при изучении визуальных особенностей актов и интерпретации этих особенностей историк вынужден отходить от твердых методов и вторгаться в область гипотез и догадок. Доля субъективности подобных исследований на настоящий момент довольно велика.

Об этом говорит один из ведущих современных дипломатистов Т. Кёльцер, подчеркивая, что представление акта как системы языковых, графических и других знаков (визуальной риторики) подвержено большой доли субъективизма и неоднозначности²⁵. Акт, по его словам, в первую очередь правовой документ, а не криптограмма, требующая своей разгадки. Содержание и форма акта — две стороны одной и той же медали, акт по своему назначению должен был фиксировать правовое содержание, и в этом его главная задача. Что касается методологии, то согласно Т. Кёльцеру, до сегодняшнего дня основными являются методы Ж. Мабильона и Т. Зиккеля — сравнение с достоверными параметрами и мнимый кризис дипломатики связан не с методом, а с его применением, так как все меньше историков используют его. Дипломатист должен заниматься тем, что он может делать с успехом, его задачи — критика и понимание²⁶.

Применение компьютера облегчает работу, позволяя в первую очередь более удобно работать с источниками, но не дает метода, а значит, и не меняет сущности исследовательского процесса. Большие перспективы связаны с электронными базами данных и электронными архивами, которые заменяют собой фотособрания. Становится реальностью мечта, чтобы каждый исследователь имел интересующие его средневековые акты на своем компьютере²⁷. Это дало бы новые перспективы исследователям и облегчило бы жизнь архивам.

С этим нельзя не согласиться, тем более что вызовы и искушения современных тенденций в исторической науке на данный момент скорее подтверждают стойкость традиционной дипломатики, хотя и меняют постепенно ее облик.

Критические замечания в отношении дипломатической семиотики связываются и с другими аспектами. У П. Рюка верно то, что акт

представляется системой признаков. Поэтому изучение какого-то отдельно взятого элемента — формата или изобразительных элементов само по себе недостаточно (а именно это чаще всего делается), необходимо комплексное изучение внешней формы акта по разным признакам и в связи с его содержанием. Методологически это сделать довольно трудно. Но это не значит, что сама задача невыполнима. В самой постановке задачи большая заслуга П. Рюка. Он часто говорил о необходимости вернуться к Ж. Мабильону, одному из основателей дипломатики: «Мы должны вернуться к Мабильону, не в 80-е гг. XIX в., а в 80-е гг. XVII в., когда акты в большей мере были материалом для историка, когда глаза и уши эпохи барокко видели в них все функции картины и текста»²⁸. Действительно, Ж. Мабильон даже хронологически ближе отстоял от средневековых грамот, чем современные исследователи.

Призыв о возвращении к Ж. Мабильону можно понимать и в смысле возвращения к простоте, т. е. к свежему и непосредственному восприятию актов как исторических источников, отказу от шаблонов и стереотипов. Такой взгляд с учетом владения методикой классической дипломатики способен привести к новым открытиям.

¹ Из отечественных работ по данному вопросу см.: *Кашианов С.М.* Актуальные проблемы дипломатики // Проблемы источниковедения. М., 2006. Вып. 1 (12). С. 470, 472; *Комочев Н.А.* Марбургская школа П. Рюка в современной дипломатике // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Мат-лы XXII междунар. науч. конф. М., 2010. С. 259–262. Творческому наследию П. Рюка посвящена специальная статья, изначально прозвучавшая как доклад на коллоквиуме Международной комиссии по дипломатике: *Worm P.* Ein neues Bild von der Urkunde: Peter Rück und seine Schüler // *Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde* / Hg. von W. Koch, T. Kölzer. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2006. Bd. 52. S. 335–352. Представления о трудах школы дают следующие сборники: *Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in Europa. Geschichte, Umfang, Aufbau und Verzeichnungsmethoden der wichtigsten Urkundenfotosammlungen, mit Beiträgen zur EDV-Erfassung von Urkunden und Fotodokumenten* / Hg. von P. Rück (Historische Hilfswissenschaften. Bd. 1). Sigmaringen, 1989; *Mabillon Spur. Zweiundzwanzig Miscellen aus dem Fachgebiet für Historische Hilfswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Zum 80. Geburtstag von W. Heinemeyer* / Hg. von P. Rück. Marburg an der Lahn, 1992; *Arbeiten aus dem Marburger hilfswissenschaftlichen Institut* / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm (Elementa diplomatica 8). Marburg an der Lahn, 2000; *Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück* / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm (Elementa diplomatica 9). Marburg an der Lahn, 2000.

² *Fichtenau H.* Monarchische Propaganda in Urkunden // *Fichtenau H.* Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Aufsätze. Stuttgart, 1977. Bd. 2. S. 18.

³ *Goetz H.-W.* Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt, 1999. S. 382.

⁴ *Fichtenau H.* Op. cit. S. 21–22.

⁵ Сам Г. Фихтенау подчеркивал, что термин «пропаганда» не очень хорошо звучит в данном контексте, но другого аналога, по его мнению, нет. Ibid. S. 22.

⁶ Ibid. S. 24–28.

⁷ *Fichtenau H.* Mensch und Schrift im Mittelalter / Hg. von L. Santifaller. Wien, 1946. Bd. 5. S. 109–110.

⁸ *Fichtenau H.* Monarchische Propaganda... S. 31–36.

⁹ Это подчеркнул и Гётц: *Goetz H.-W.* Op. cit. S. 155.

¹⁰ Его краткую биографию см.: Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm (Elementa diplomatica 9). Marburg an der Lahn, 2000. S. 3.

¹¹ *Rück P.* Die Urkunden der Bischöfe von Basel bis 1213: Vorarbeit zu den Regesta episcoporum basiliensium (Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte. Bd. 1). Text- und Tafelband. Basel, 1966.

¹² Ibid. S. 7–8.

¹³ Ibid. S. 16–25.

¹⁴ *Rück P.* Die Urkunde als Kunstwerk // Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm. Marburg an der Lahn, 2000. S. 117.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ *Bischoff B.* Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (Grundlagen der Germanistik, 24). Berlin, 1979. S. 17.

¹⁷ *Rück P.* Erinnerung an Harry Bresslau (1848–1926) // Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm. Marburg an der Lahn, 2000. S. 246. Отметим, что речь идет о европейской дипломатике, по русской последнее и наиболее полное учебное пособие вышло в 1988 г.: *Каушанов С.М.* Русская дипломатика. М., 1988. Выходили и учебники по европейской дипломатике, но несколько позже. Одни из недавних: *Guyotjeannin O.* Diplomatie médiévale / O. Guyotjeannin, J. Pucke, В.-М. Tock. Brepols, 2006; *Vogtherr T.* Urkundenlehre. Basiswissen / T. Vogtherr. Hannover, 2008.

¹⁸ *Idem.* Fünf Vorlesungen für Studenten der Ecole des chartes, Paris // Arbeiten aus dem Marburger hilfswissenschaftlichen Institut / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm (elementa diplomatica 8). Marburg an der Lahn, 2000. S. 243–315.

¹⁹ Ibid. S. 245–247. Стоит заметить, что и по отношению к русским актам можно заметить ту же систему. Например, жалованные грамоты XVII в. — акты, писавшиеся на больших листах. Напротив, указные грамоты и основная часть делопроизводственных источников этого времени дошли до нас в столбцах.

²⁰ Ibid. S. 247–250.

²¹ Ibid. S. 254–260.

²² *Idem.* Anmutung durch Schrift. Zur Aussage der Schriftgestalt // Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm. Marburg an der Lahn, 2000. S. 113.

²³ *Bischof F.M.* Unterwegs. Statistik und Datenverarbeitung in den Historischen Hilfswissenschaften // Mabilions Spur. Zweiundzwanzig Miscellen aus dem Fachgebiet für Historische Hilfswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Zum 80. Geburtstag von W. Heinemeyer / Hg. von P. Rück. Marburg an der Lahn, 1992. S. 23–25.

²⁴ *Vogtherr T.* Op. cit. S. 7. О значении внешней формы актов см. его же статью: *Urkunden und Akten // Aufriß der Historischen Wissenschaften: in sieben Bänden / Hg. von M. Maurer.* Stuttgart, 2002. Bd. 4. S. 154.

²⁵ *Kölzer T.* *Diplomatik und Urkundenpublikationen // Historische Hilfswissenschaften. Stand und Perspektiven der Forschung.* Köln; Weimar; Wien, 2005. S. 20–22.

²⁶ *Ibid.* S. 23–27.

²⁷ *Ibid.* S. 29–30.

²⁸ *Rück P.* *Erinnerung an Harry Bresslau (1848–1926) // Fachgebiet Historische Hilfswissenschaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück / Hg. von E. Eisenlohr, P. Worm.* Marburg an der Lahn, 2000. S. 252.

ПРАКТИКА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ИКОНА В РЕЛИГИОЗНОМ СОЗНАНИИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Сукина Людмила Борисовна
НОУ ВПО Институт программных систем,
г. Переславль-Залесский

***Аннотация:** В статье на основе междисциплинарного подхода исследуется почитание икон как феномен религиозного сознания русского человека второй половины XVI–XVII в. Для реализации междисциплинарной задачи привлекаются письменные и изобразительные источники и методы исторического источниковедения и отрасли искусствоведения — иконографии. Особое внимание уделено междисциплинарному анализу характерного для этого периода русской истории культа иконописных образов национальных святых.*

***Ключевые слова:** междисциплинарный подход, икона, религиозное сознание, исторический источник, иконография, русский святой.*

Почитание икон — одна из специфических черт православия. В Русском государстве XVI–XVII вв. иконопочитание достигло своего апогея и стало одним из маркеров культуры времени, предшествовавшего петровским преобразованиям. Подробности позднесредневекового ритуала иконопочитания рассмотрены О.Ю. Тарасовым, который констатирует, что у русского человека он представлял собой симбиоз «благоговения», «страха» и «уважения»¹.

Строгие дисциплинарные рамки исторической науки или искусствоведения не позволяют в полной мере вскрыть нюансы осознания иконы как священного предмета, связывающего религиозную жизнь определенной эпохи со священной историей и инобытием горнего мира, и одновременно как произведения искусства, созданного художником-современником, человеком, жившим в реалиях позднего русского Средневековья. Лишь междисциплинарный подход, соединяющий возможности использования инструментария нескольких дисциплин, занимающихся изучением прошлого, его духовно-интеллектуальных и материальных следов, сохраняющихся в настоящем, дает эту возможность. В данной работе через призму междисциплинарности мы рассмотрим письменные и изобразительные источники, связанные с почита-

нием иконописных образов в допетровское время, особо выделив характерный для этого периода культ икон русских святых.

Особенности иконопочитания этой эпохи наиболее ярко высвечивают источники иноземного происхождения, так как со стороны всегда лучше видится специфичность того, что находящимся внутри конкретной культуры кажется привычным. Так, наблюдательный иноземец-протестант Адам Олеарий отмечает, что «икона непременно требуется для молитвы; поэтому они должны быть у них (русских. — *Л. С.*) не только в церквах и во время публичных процессий, но и у каждого в его доме, комнате и каморке, чтобы во время молитвы иметь ее перед глазами»². Он же рассказывает о том, что русский человек никогда бы не доверил икону представителю другой, пусть даже и христианской конфессии. Олеарий приводит поразившие его примеры исключительно благоговейного отношения к иконам. Когда немецкий купец Кароль Мёллин купил у некоего русского каменный дом, то хозяин и его близкие соскоблили со стен имевшиеся там фрески с изображениями святых и религиозными сюжетами и даже пыль от них унесли с собой. Если верить А. Олеарию, в 1611 г. во время разграбления Великого Новгорода отрядом Иакова (Якова) Делагарди местное население выкупало у шведских солдат похищенные ими иконы за большие деньги, не обращая внимания на пропажу прочего имущества. Крестьяне, в домах которых голштинскому посольству приходилось ночевать по пути из Нарвы в Москву, не позволяли иноземцам прикасаться к иконам, поворачиваться к ним спиной и ложиться на лавку ногами к образам, а после отъезда гостей приглашали священника для освящения икон и жилища. Входя в чужой дом или присутственное место, русский прежде всего ищет глазами иконы и кланяется им, а потом уже обращает внимание на находящиеся здесь же людей, сколько бы человек ни было в комнате, и вступает с ними в общение. Олеарий пишет, что раньше иноземцам приходилось держать у себя дома православные иконы, так как в противном случае русские не желали иметь с ними никаких дел. Но потом вышло запрещение патриарха вешать иконы в комнатах у немцев, так как последние, по его мнению, были недостойны такой чести³.

Иконам приписывалась большая сила. А. Олеарий отмечает, что русские считают, будто икона живет своей собственной жизнью и может влиять на человека и его судьбу как положительно, так и негативно в зависимости от того, как сам человек к ней относится: «Они их (икон. — *Л. С.*) как-то боятся и страшатся, точно в них действительно имеется какая-то божественная сущность»⁴. Но страх этот, с точки зрения немца-протестанта, проявляется совершенно иррационально, и в отношении русских к иконе в повседневном быту нет никакой последовательности.

Во время плотских утех русские завешивают иконы платком, но в то же время при варке пива держат икону на палке над котлом, чтобы напиток был вкуснее. А. Олеарий описывает событие, случившееся в июне 1643 г., когда у иконы, находившейся в одном из московских храмов, покраснело лицо. Это вызвало такой страх у духовенства, что они обратились к патриарху и царю. Царь вызвал придворных иконописцев и под крестным целованием велел им установить причину происшедшего. Все успокоились только тогда, когда художники сообщили государю, что лик иконы покраснел вследствие стирания от времени верхнего слоя краски и обнажения под ней красного грунта. По наблюдениям Олеария, на страхе перед знаменами на иконах нередко спекулирует рядовое духовенство, выбивая из простецов дополнительные подаяния в церковь⁵.

В то же время А. Олеарию приходилось встречаться и с вполне здравым и умеренным, с его точки зрения, отношением к иконе. В 1634 г. ему пришлось побывать в Нарве, в гостях у русского купца, который провел по иконе платком, желая этим показать, что икона для него всего лишь памятное изображение святого красками на доске и истинная вера состоит не в поклонении святым образам, а в следовании духу и букве Священного Писания и примеру жизни божьих угодников. Однако открыто демонстрировать такой взгляд на икону купец, которого Олеарий называет Филиппом N., не решался, предвидя негативную реакцию не только духовенства, но и своих менее образованных в вопросах религии собратьев, для которых икона была объектом исключительно сакрального значения⁶. Олеарий имел возможность убедиться в правоте своего собеседника на примере протопопа Ивана Неронова, который был сурово осужден церковью, лишен сана и сослан в Каменный монастырь под Вологдой за свое публичное суждение об иконах в близком к протестантизму духе: «Не следует честь, полагающуюся Богу, воздавать иконам, которые руками сделаны из дерева и красок, хотя бы они даже и должны были представлять изображение Бога и святых; не следует ли, в этом рассуждении, скорее почитать людей и молиться им, так как они созданы по образу и подобию Божию и сами сделали эти иконы?»⁷ В результате размышлений по поводу иконопочитания в Русском государстве А. Олеарий приходит к следующему выводу: «Разумные русские вообще чтут свои иконы святых и молятся им по своей религии, однако не ради материи или потому, что приравнивали их изображению Божию, но из любви и почтения к святым, находящимся на небе. Та честь, которая оказывается иконам, ощущается и тем, кого иконы изображают»⁸.

Православный визитер в Россию XVII в. архидьякон Павел Алеппский, так же как и его современник-протестант, в благочестии

русских выделяет иконопочитание: «У всех их на дверях домов и лавок и на улицах выставлены иконы, и всякий входящий и выходящий обращается к ним и делает крестное знамение, также, всякий раз, когда они проходят мимо дверей церкви, издали творят поклоны перед иконой. Равно и над воротами городов, крепостей и укреплений непременно бывает икона Владычицы внутри и икона Господа снаружи в заделанном окне, и перед ней ночью и днем горит фонарь; на нее молятся входящие и выходящие»⁹. Секретарь антиохийского патриарха Макария обращает внимание на то, что, даже приходя за благословением к его владыке, русские сначала молятся перед иконами и лишь потом приближаются к православному иерарху. Впрочем, как и другие иноземцы, Павел Алеппский видит основную причину исключительной набожности и истового иконопочитания русских в том, что «это народ непросвещенный и умственно неразвитый»¹⁰.

Действительно, в русском обществе XVI–XVII вв. было не так много людей, которые могли и смели рассуждать об иконе. Но сохранившиеся письменные источники и сами произведения иконописи этого времени показывают, что в деле иконопочитания и отношении к нему русских людей позднего Средневековья все было не так просто и однозначно, как представлялось поверхностному взгляду заезжих иноземцев, не исключая даже обладателя такого внимательного взгляда и тонкого ума, каким был Адам Олеарий.

В православии икона — сакральный объект, в отношении которого «самомышление», казалось бы, в принципе невозможно. Тем не менее точка зрения русского православного социума и его богословствующей верхушки на икону и ее роль в исповедании веры за два века существенно поменялась. В подтверждение этих слов сравним два высказывания представителей церковной иерархии, с именами которых связано богословие иконы XVI–XVII вв. Одно из них принадлежит Иосифу Волоцкому, впервые в русской богословской мысли на рубеже XV–XVI вв. обобщившему представления о смысле и назначении иконы, существовавшие у не чуждой «книжного учения» части духовенства: «Священные предметы ты почитаешь потому, что через них изволит действовать благодать Божия. Так же и ныне благодать действует через святые иконы, Честной и Животворящий Крест и прочие божественные и освященные вещи»¹¹. Второе извлечено нами из сочинения Димитрия Ростовского начала XVIII в., направленного против раскольников и утверждавшего в том числе новый взгляд Православной церкви на предназначение иконы: «В книзе убо писания не всяк читати сумеет <...> на иконе же изображенная всяк и некнижный простец разумеет... Очима же на изображенние воззрев, вся та абие умом объемлет, разумеет, познавает; и есть жи-

вописное художество скорейшая, внятнейшая и вразумительнейшая повесть, паче повести книжных»¹².

В первом высказывании икона мыслится в качестве священного предмета, не постигаемого человеческим разумом ретранслятора Божьей благодати, который нужно почитать, руководствуясь высокой верой в трансцендентную сущность. Все сомнения в святости иконы являются ересью. Во втором роль иконы снижается до доступного всякому живописного толкования Священного Писания и других книжных текстов. Такое толкование вполне объемлемо умом даже «некнижного простеца». В толковании Димитрия Ростовского икона занимает в системе веры и благочестия приблизительно то же место, которое в католичестве отводилось картинам на религиозные сюжеты. Между этими двумя концептуально противоположными представлениями об иконе — двухсотлетний путь трансформации русского религиозного сознания. Отдельные отрезки или этапы этой трансформации слабо прослеживаются в письменных источниках, поэтому их исследование нуждается в подкреплении материалом самой иконописи, памятники которой XVI—XVII вв. сохранились в изрядном количестве.

Самыми важными по значимости были иконы Троицы, Иисуса Христа и Богородицы и православных святых. Стоглавый собор приговорил: «...и с превеликим тщанием писати и вообразити на иконах и на досках Господа нашего Иисуса Христа и пречистую его Богоматерь <...> и всех святых по образу и по подобию и по существу, смотря на образ древних живописцов и знамени с древних образцов...»¹³. Решение это принималось в рамках общей направленности Собора 1551 г. на поддержание приоритета «древлего» благочестия и ориентации на старину в ритуалах и традициях вероисповедания. Но оно вступало в противоречие с постановлениями предыдущих соборов о канонизации новых национальных святых и самого же Стоглава об их почитании. У русских святых, многие из которых жили в не столь уж отдаленные от момента канонизации времена, просто не было древних образов, на которые мог бы ориентироваться художник середины XVI в. Образцом в этом случае, видимо, должны были служить уже сложившиеся к этому времени иконографические схемы изображения вселенских святых. А чтобы не отдавать решение вопроса о том, как должен выглядеть образ конкретного святого, на откуп разным столичным и провинциальным иконописцам, на церковных иерархов (епископов и митрополитов) возлагалась обязанность составления словесных «подлинников», описывающих характерные внешние черты изображаемого.

Отличие от древних святых вновь канонизированные должны были иначе восприниматься сознанием верующего человека. Новые житий-

ные тексты содержали подробности, привязывающие их к действительности русской жизни, хорошо знакомой самим верующим. И если в начале изображения русских святых носили несколько отвлеченный характер, то постепенно они начинают дополняться деталями, имеющими отношение не столько к устоявшимся иконографическим схемам, сколько к описываемой в житиях исторической реальности. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить бытовавшие в искусстве второй половины XV–XVI в. иконы ростовских святых, Сергия Радонежского, Димитрия Прилуцкого, Кирилла Белозерского с в большинстве своем относящимися к XVII в. образами святых — основателей северных монастырей.

В искусствоведении долгое время существовало мнение, что такое стремление художников изображать русских святых в сопровождении современного им архитектурного пейзажа и деталей антуража свидетельствует о нарождающейся на рубеже Средневековья и Нового времени самостоятельности художественного творчества, постепенно отрывающегося от церковного канона. Но такая «творческая смелость» художника-иконописца, в особенности провинциального, кажется в условиях «предписанного» православия маловероятной. Существенные изменения в иконографии русских святых должны были произойти вслед за столь же существенным сдвигом в восприятии святого в религиозном мировоззрении. Свидетельством такого сдвига, на наш взгляд, является обсуждение на Соборе 1666 г., казалось бы, частного вопроса: правильно или нет иконописцы изображают святых митрополитов Петра, Алексея и Иону в белых клобуках.

Дискуссия о белом клобуке как принадлежности патриаршего чина была актуальна в период подготовки к принятию патриаршества во второй половине XVI столетия, а к середине XVII в. утратила свою идеологическую остроту, превратившись в проблему доктринальную и историческую¹⁴. Поэтому соборный ответ был однозначен: «Чесо ради иконописцы пишут святаго Петра, Алексиа и Иону, московских чудотворцев, в белых клобуках неправедно: зане они клобуки беляя не носиша и ниже бысть еще в российских странах при них сей обычай...»¹⁵. Таким образом, на новом этапе исправления веры «по старине» в качестве ориентира для иконописцев задается не древний образец, который на поверку тоже может оказаться «не исправен», а говоря современным языком, «историческая правда» образа. За нормативными рамками нового художественного канона оказываются в том числе и знаменитые иконы из кремлевского Успенского собора с изображениями Петра и Алексея митрополитов, работы мастерской одного из «пресловущих» иконописцев рубежа XV–XVI вв. Дионисия, на которых оба русских святителя изобраа-

жены в белых клобуках¹⁶. Надо сказать, что до этого соборного решения в белых клобуках изображались и древние ростовские святители Леонтий, Исайя и Игнатий¹⁷.

Как сказалось новое церковное понимание изображений русских святителей на иконописной практике, пока судить трудно. Для этого нужно провести специальное иконографическое исследование. Но и отдельные известные памятники свидетельствуют о том, что традиционные образы оказались столь укоренены в художественной культуре, что и во второй половине XVII в. художники все-таки продолжали писать ростовских и московских митрополитов в белых клобуках¹⁸.

В XVI–XVII вв. одним из самых распространенных иконографических типов изображения святых, особенно русских, становятся их житийные образы. Изображение святого в центре иконной доски окружается по периметру иконками-клеймами, в которых помещаются эпизоды жизни святого и его основных чудес.

Еще В.О. Ключевский отмечал, что русские жития малособытийны и однообразны¹⁹. Но в приписанных к ним чудесах много ценного исторического материала о повседневной монастырской жизни и участии в развитии культа святого именитых и рядовых мирян. В то же время он указывал, что тексты житий не были особенно распространены в качестве нравственно-учительного чтения даже среди грамотной части русского православного сообщества²⁰. Поэтому, чтобы проверить правомерность утверждения Ключевского о том, что оформившаяся в XVI–XVII вв. практика добавления к житиям прижизненных и посмертных чудес святых оказала влияние на восприятие святости православным человеком, необходимо привлечь другие источники. Таковыми, на наш взгляд, как раз и могут быть житийные иконы русских святых.

Процесс изменения восприятия верующими образов святых в XVI–XVII вв. хорошо прослеживается в характерном иконографическом приеме изображения подвижников веры на фоне основанных ими обителей или связанных с их агиобиографией исторических событий. Например, на иконе «Богоматерь Боголюбская с клеймами жития Зосимы и Савватия и со сценами притч» 1545 г. поклоняющаяся Богородице монастырская братия изображена на фоне двух храмов Соловецкого монастыря, воздвигнутых его основателями²¹. В XVII в. такие изображения святого с храмом или монастырем становятся традиционными (Зосима и Савватий Соловецкие, Антоний Свирский, Артемий Веркольский и т. п.). В сознании людей позднего Средневековья образы святых, видимо, постепенно утрачивают свою вневременную, идеальную, полностью отстраненную от посюстороннего мира сущность и взамен приобретают сущность историческую. Их земные деяния, совершенные в конкрет-

ный промежуток времени, исполнены в глазах верующего особой, исключительной ценности. Так, на ярославской иконе середины XVII в. «Сергий Радонежский в житии» один из наиболее почитаемых русских святых представлен в первую очередь как вдохновитель борьбы с татарами, эпизоды которой изображены на среднике иконной доски²².

Еще одной особенностью почитания русских святых, судя по материалам иконописи, является их включение в контекст общенациональной и вселенской святости, что, вероятно, является следствием составления при митрополите Макарии общих Четых Миней и неоднократного использования этой формы обобщения агиографического материала в позднем Средневековье. В более раннее время на иконах вместе со вселенскими святыми представлялись, как правило, русские святители (ростовские и московские митрополиты и епископы), что повышало статус русской церковной иерархии. В XVI–XVII вв. изображение на одной иконной доске русских и вселенских святых или русских святых, живших в разное время, стало обычным явлением.

Нередко объединение святых вместе подчиняется вполне понятной даже современному человеку логике. Так, местночтимые или малоизвестные святые нередко изображались вместе с широко почитавшимся на Руси Сергием Радонежским, сомолитвенники которого тут же приобретали в глазах верующих новые духовные качества²³. Святые могли объединяться благодаря общему имени в святцах («Кирилл Белозерский в житии с Кириллом Александрийским», вторая половина XVI в.²⁴) или месту первоначального почитания (Прокопий Чирин (?) «Царевич Дмитрий и князь Роман Угличский», первая половина XVII в.²⁵). Но иногда определение наиболее вероятной причины совмещения на одной иконной доске нескольких образов требует специальных и довольно сложных исследовательских процедур («Зосима и Савватий, Иоанн Большой Колпак, Илья Пророк», XVII в.²⁶).

Иконографический материал русской иконописи XVI–XVII вв. позволяет лучше понять процесс трансформации почитания русских святых, чей культ является характерной чертой национального религиозного сознания позднего Средневековья. Восприятие образа святого переживает определенное «снижение». На смену надмирной отвлеченности приходит соотнесенность с историческим мифом или современной религиозной действительностью. Именно такой святой, являющийся не столько вместилищем частицы Божьей благодати, сколько доступным осознанию рядовым верующим примером земного благочестия, человеческой веры, любви и терпения, равнодушного отношения к задачам исторического момента, жертвенности во благо государства и всего христианского люда, был востребован временем.

В заключение следует отметить, что избранный нами междисциплинарный подход позволяет рассмотреть трансформацию почитания и других, распространенных в позднем Средневековье иконных образов, в том числе Христа и Богородицы. Реконструкция этой сферы русского религиозного сознания допетровского времени открывает новые возможности понимания особенностей культуры того времени.

-
- ¹ *Тарасов О.Ю.* Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995. С. 31–62.
- ² Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 452.
- ³ Там же. С. 451–454.
- ⁴ Там же. С. 453.
- ⁵ Там же. С. 453–454.
- ⁶ Там же. С. 455.
- ⁷ Там же. С. 456.
- ⁸ Там же. С. 455.
- ⁹ *Павел Алеппский.* Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в середине XVII века. СПб., 1898. С. 69.
- ¹⁰ Там же. С. 70.
- ¹¹ *Преподобный Иосиф Волоцкий.* Послание иконописцу. М., 1994. С. 57.
- ¹² *Димитрий Ростовский.* Розыск о раскольнической брынской вере. М., 1745. Ч. I. Л. 6.
- ¹³ Стоглав. СПб., 1863. С. 219–220.
- ¹⁴ *Лурье Я.С.* Повесть о белом клобуке // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 214–215.
- ¹⁵ *Субботин Н.И.* Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1876. Т. 2. С. 255–256.
- ¹⁶ *Смирнова Э.С.* Московская икона XIV–XVII веков. Л., 1988. Табл. 151, 152, 153.
- ¹⁷ *Воронцова Л.М.* Иконы Сергиево-Посадского музея-заповедника. Новые поступления и открытия реставрации. Сергиев Посад, 1996. Кат. 1 (4б); 1000-летие русской художественной культуры. М., 1988. С. 67. Табл. 85.
- ¹⁸ *Воронцова Л.М.* Иконы Сергиево-Посадского музея-заповедника. Кат. 21. 1000-летие русской художественной культуры. С. 130. Табл. 161.
- ¹⁹ *Ключевский В.О.* Древнерусские жития святых как исторический источник // *Ключевский В.О.* Православие в России. М., 2000. С. 5–307.
- ²⁰ Там же. С. 250.
- ²¹ *Смирнова Э.С.* Указ. соч. Табл. 171, 172.
- ²² *Масленицын С.И.* Ярославская иконопись. М., 1983. Табл. 46.
- ²³ *Салтыков А.А.* Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Л., 1989. Табл. 131.
- ²⁴ 1000-летие русской художественной культуры. С. 82. Табл. 98.
- ²⁵ Там же. С. 110. Табл. 134.
- ²⁶ Там же. С. 127. Табл. 157.

«ДУБОВЫЕ СЕРДЦА ХОЧУ ВИДЕТЬ МЯГКИМИ»: ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЦИВИЛИЗАЦИИ В РОССИИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ В СВЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ Н. ЭЛИАСА

Мухин Олег Николаевич

Томский государственный педагогический университет,
г. Томск

***Аннотация:** Цель статьи — выявление перспективы применения теории Н. Элиаса в междисциплинарном исследовании процессов оцивизовывания в России в раннее Новое время. Выявляются типологические особенности означенных процессов в сравнении с западноевропейскими, а также социокультурные и исторические факторы, влиявшие на их протекание.*

***Ключевые слова:** Н. Элиас, цивилизация, междисциплинарность, раннее Новое время, петровская эпоха.*

Особое внимание историка, ориентирующегося на работу в междисциплинарном ключе, привлекают те концепции из смежных гуманитарных дисциплин, которые по своему содержанию и принципам компоновки сами занимают положение на стыке различных областей знания и потому легко становятся компонентами методологического синтеза. Характерный пример — теория цивилизации, созданная социологом Н. Элиасом.

Данная теория фактически работает на стыке истории, социологии и психологии. Н. Элиас понимает под цивилизацией процесс наращивания рациональных и «цивилизованных», или «культурных», форм поведения и взаимоотношений, который выражался в утверждении норм приличия и подавления аффектов. Этот процесс исследователь рассматривает на конкретно-историческом западноевропейском материале и связывает с важными социальными изменениями, а именно с формированием придворного общества и новой аристократии в XVI — начале XVII в. Безусловно, те или иные представления о «правильном» поведении существовали и в Средние века, однако только с формированием тесного круга придворных, где имело место «давление одних людей на

других» (невозможное в средневековом обществе замков), они утверждаются и распространяются. По замечанию Н. Элиаса, «учтивое, внешне мягкое и почтительное исправление оказывается куда более жестким орудием социального контроля, в особенности, если к нему прибегает вышестоящий человек. Оно куда действеннее для выработки постоянных привычек, чем брань, насмешки или угрозы прибегнуть к телесному наказанию»¹.

Особо важным в процессе оцивилизации является психологический аспект, проявляющийся в переходе новых форм поведения из числа навязываемых индивиду извне социальных предписаний на уровень психической автоматки: «Происходит переход от принуждения, господствующего в отношениях между людьми, к индивидуальному самопринуждению. А это приводит к тому, что многие импульсы переживаются менее спонтанно. Возникающие в совместной жизни механизмы самоконтроля начинают действовать как бы сами по себе. “Рациональное мышление” или “моральная совесть” прочно укореняются между влечениями и чувственными импульсами, с одной стороны, и мускулатурой, с другой стороны. Они все сильнее препятствуют проявлению этих импульсов и не дают им прямо и непосредственно, без собственного дозволения, перейти в действие, осуществляемое с помощью мускулов»². Фактически, речь идет о процессе фиксации актуально-моментальных установок, в терминологии школы Д. Узнадзе.

Различные положения теории Н. Элиаса неоднократно подвергались критике, и в первую очередь его идея о господствующем влиянии дворянских форм цивилизации на другие социальные слои³. Однако, как отмечает С.В. Польской, «концепция “придворного общества”, особенно в части анализа моделей поведения “придворного человека”, устояла и продолжает использоваться историками...»⁴. При этом, будучи достаточно популярной в западной историографии⁵, эта теория фактически игнорируется русистами. Крайне редко можно встретить публикации, авторы которых опираются на идеи Н. Элиаса, как это делает С.В. Польской⁶.

Привлечение теории Н. Элиаса к изучению социокультурных процессов раннего Нового времени в России предоставляет возможности более адекватного анализа, помещая их в историко-сравнительный контекст. Важно отметить, что в отношении российского варианта процессов цивилизации часть замечаний в адрес теоретической конструкции немецкого социолога в определенной мере снимаются: если правы Э. Ле Руа Ладюри и Р. Мюшамбле, утверждающие, что в Западной Европе в городской среде формирование новых моделей поведения шло по самостоятельному пути и даже началось ранее возникновения «придворного

общества», то в России XVIII и даже XIX столетий дворянство, причем именно столичное, явно лидировало в процессах оцивилизации европейского типа.

В России признаки нарастания «цивилизованности» проявляются по крайней мере в XVII в., т. е. фактически в то же время, что и в Западной Европе. Можно выделить два фактора, породивших такую синхронность. Во-первых, процесс централизации и формирования монаршего двора в России по времени фактически совпадал с таковым в ведущих европейских странах. Во-вторых, именно в XVII столетии российская элита все активнее знакомится с европейской культурой. Характерно, что первое специальное пособие по хорошим манерам, появившееся в России при Петре I, так называемое «Юности честное зеркало», составлено на основе западных образцов⁷. Конечно, в допетровской Руси имелись свои правила поведения на людях. Однако в отсутствие развитой светской публицистики передавались эти правила в основном на уровне устной традиции (в отличие от Европы, где существовало большое число специальных трактатов), да к тому же уступали западным в степени «рафинированности». Отражением цивилизационной специфики является тот факт, что едва ли не первый текст, зафиксировавший правила приличия, касается их пестования среди слуг, а не элиты. Речь идет о знаменитом «Домострое»⁸. Можно было бы предположить, если ограничения накладывались на слуг, то их «государи», по терминологии «Домостроя», тем более усвоили их, поэтому автор наставления и не обращается к ним в подобными «мелочами». Однако Н. Элиас, исследуя европейский материал, делает иные выводы: господа не желали терпеть неприятных форм поведения от своих слуг уже тогда, когда сами еще полностью не справлялись с ними. Таким образом, «одни и те же отправления расцениваются как неприятные и непочтительные, если их осуществляют нижестоящие, и не вызывают стыда, когда речь идет о самих вышестоящих»⁹. Но именно этот механизм вытеснения нежелательных влечений под нажимом вышестоящих и выступит на первый план в ходе «оцивилизывающего» влияния королевского двора¹⁰. Таким образом, проявления авторитарного социального характера, в терминологии Э. Фромма, свойственного в той или иной мере большинству традиционных обществ, в определенных обстоятельствах мог играть «позитивную» социокультурную роль.

Все сказанное полностью относится к петровской эпохе в России. Давление со стороны царя-реформатора будет активно способствовать распространению европейских норм поведения в среде элиты. Петр I, безусловно, наиболее знаковая фигура в плане проблемы оцивилизации

вания российской элиты. Хорошо известно, что он не любил следовать правилам придворного этикета. Более того, он постоянно позволял себе эпатирующие выходки и выпады, третирующие окружающих (это и пародийно-кошунственные мероприятия, и насильственное спаивание участников придворных празднеств, и знаменитая царская «воспитательная» дубинка). Однако следует обратить внимание на два важных аспекта. Во-первых, многие черты его поведения, кажущегося неадекватным на наш взгляд, вполне перекликаются с таковыми его современников, причем не только «простецов», но и представителей элиты как в России, так и за рубежом.

Если обратиться к отечественному материалу, то можно сделать вывод, что ко времени Петра почва во многом уже была подготовлена, так сказать, эндогенными процессами «сдерживания» аффектов в среде правящей элиты, катализированными помимо названных базовых факторов и спецификой исторической ситуации послесмутного периода. Поступь оцивилизации, в понимании Н. Элиаса, можно обнаружить уже в поведении Алексея Михайловича. Наглядный пример — дело боярыни Морозовой. Самодержец был вынужден месяцами «увещевать» ослушницу и приверженницу старого благочестия. Легко представить, как бы действовал в подобной ситуации Иван Грозный! П.В. Седов наглядно обрисовывает сложность положения, в котором находился Алексей Михайлович: Тишайший не мог осудить строптивую боярыню без согласия Думы, но и Дума могла позволить себе лишь пассивное молчаливое сопротивление¹¹. И хотя «вспышки царского гнева было достаточно, чтобы погубить нескольких придворных, но пойти на конфликт со всем своим окружением Алексей Михайлович не осмелился, и он несколько раз был вынужден идти на компромисс»¹². И это вовсе не случайность, согласно выкладкам Н. Элиаса, продвижение по пути цивилизации всегда связано с определенными историческими обстоятельствами, заставляющими отдельных людей или целые страты выстраивать собственное поведение и взаимоотношения с другими людьми и стратами на более рациональных основаниях (безусловно, прежде всего в собственных интересах).

Есть и иные примеры. Сохранились письма Алексея Михайловича к провинившимся боярам, в которых он упрекает и критикует их за те или иные проступки, однако тут же звучат слова утешения¹³. При этом хорошо известны «невинные» развлечения Алексея Михайловича, любившего купать в пруду опоздавших на прием придворных. Он мог и матерно обругать кого-либо из бояр или даже патриарха¹⁴ или оттащить за бороду неугодившего ему царедворца. (В этом плане, несмотря на образ «революционера на троне», Петр был в полном смысле слова сыном своего

отца.) То есть процесс оцивилизации пробивал себе дорогу, но пока не более того¹⁵.

Можно обнаружить массу примеров того, что и европейцы в этот период находились на переходной стадии в плане оцивилизации, впрочем, конечно, несколько опережая россиян. В этом смысле характерна причина ссоры наставника царевича Алексея Петровича, немца Нейгебауэра, с его русскими воспитателями Вяземским и Нарышкиным в 1702 г.: царевич тихо говорил с последними и смеялся, так что учитель заметил, что при посторонних тихо говорить с приближенными неприлично, что те оспаривали с насмешками; затем Алексей положил обглоданную кость обратно на общее блюдо, с которого берут другие, что, по мнению Нейгебауэра (и согласно европейским наставлениям того времени), было невежливо. Однако показательна и реакция выведенного из себя насмешками немца: он стал швырять в русских чем ни попадя и обзывал их собаками и варварами¹⁶. Н. Элиас отмечал, что только в конце XVII в., т. е. именно тогда, когда Петр и часть его подданных оказались в Европе, представления о «правильных манерах» начинают прочно укореняться в придворных обществах¹⁷.

Второй важный аспект, касающийся Петра: изучение его биографии дает возможность наблюдать возрастание способности к самоконтролю и подавлению аффектов¹⁸. Сказанное относится и к его окружению. Несмотря на серьезные отличия отечественного властного кода от западноевропейского, в России были вполне объективные условия, заставлявшие самодержца, даже такого импульсивного и нестандартного, как Петр, выстраивать свои отношения с элитой на все более «цивилизованных» основаниях. Речь идет прежде всего о борьбе группировок знати. Ее влияние на политическое поведение Петра с замечательной наглядностью продемонстрировано П. Бушковичем¹⁹. Характеризуя работу американского исследователя, Д.М. Буланин выделяет ее основную мысль: «...Царь при осуществлении своих желаний попадал в полную зависимость от тех, кому отдавались его устные и письменные приказы, т. е. от узкого круга придворных. <...> Он вынужден был считаться со сложным и переменчивым отношением к верховной власти и друг к другу своих ближайших и более отдаленных сподвижников — взаимодействовать с довольно-таки большим количеством людей, составлявших правящий класс всех уровней»²⁰.

Помимо того что сказанное вполне может быть отнесено к любому монархическому режиму, следует учитывать и специфику самодержавия. Безусловно, в силу исторических обстоятельств оно являло собой более авторитарную форму политической организации, нежели та, которая сложилась к началу Нового времени в Западной Европе. Европейские

короли вынуждены были лавировать между различными, зачастую равновеликими агентами политического поля — знатью, церковью, буржуазией, — сплоченными в прочные корпорации (на эту особенность указывает и Н. Элиас как на фактор процесса цивилизации). Ничего подобного не наблюдалось в России, отчего здесь и возникали строго вертикальные отношения «царь — подданные», столь заметные для европейцев. В том числе и в связи с этим в России процессы внешнего оцивизовывания шли с некоторым опозданием, что вполне объяснимо в свете «догоняющего» характера ее приобщения к западной версии цивилизации и культуры. Характерно, что те способы выстраивания отношений между представителями элиты, помогавшие избегать «средневекового» насилия, которые имели место в допетровской России, носили отчетливый отпечаток авторитарного социального характера. М. Раев отмечает важную роль в местнических спорах ритуала бранного поношения, когда виновный отдавался на волю тому, кого он оскорбил: он должен был предстать перед жилищем оскорбленного, принести публичное покаяние и дать побить себя челяди последнего. Как справедливо заключает исследователь, рабская покорность и телесное наказание демонстрировали отсутствие кодекса чести и понятия личного достоинства у дворян Московского государства²¹.

Однако и служилая организация общества не отменяла для российского государя необходимости реагировать на запросы знати. Более того, именно для него такая необходимость была едва ли не более острой, так как дворянство являлось единственной социальной опорой монарха²². Тем более важным является тот прорыв, который был сделан в плане оцивизовывания при Петре и при непосредственном его участии, особенно заметный при сопоставлении личного и политического поведения царя-реформатора с таковым Ивана Грозного. В случае Петра опасные для окружающих эксцессы являлись срывами, регулярными, но кратковременными, тогда как для Ивана такое поведение было «повседневным», по крайней мере в годы опричнины. Эти отличия в поведении двух «первых монархов», по большому счету находившихся в сходных социокультурных условиях²³, во многом объясняются особенностями их психического склада. И тот и другой являлись невротиками из-за проблем социализации, влиявших на становление их идентичности в детстве и юности. Однако в отличие от своего грозного предшественника Петр, в силу успешности своей разносторонней деятельности, с возрастом сумел фактически избавиться от базальной тревожности, которое К. Хорни называет важнейшим качеством невротического характера, создающей проблемы в адекватном восприятии существующих угроз и мешающей устанавливать корректные отношения с окружающими.

ми²⁴. Отсюда все большее приближение Петра в последние годы к образу «правильного», «цивилизованного» в европейском понимании, монарха²⁵.

Но все же процессу цивилизации в элиасовском понимании в России придется проделать еще очень долгий путь, чтобы приблизиться к тем стандартам, которые в Европе уже существовали в начале Нового времени. Даже дворянство только в 1762 г. избавится от возможности телесных наказаний. И все же путь, пройденный российской элитой чуть более чем за полвека, впечатляющ. Характерны рассуждения по этому поводу М.М. Щербатова. Замечая с неудовольствием, что «...Пётр Великий, не разбирая ни роду, ни чинов, бивал приближающих к нему», светлейший критик тут же поясняет: «Всякой век имеет свои нравы, а век тот, которой застал Пётр Великий и с воспитанными в коем людьми жил, был таков, что побои не иначе, как по болезни почитали, не считая их себе в безчестие, хотя бы те и кацкими (палаческими. — *О. М.*) руками были учинены»²⁶. И это не просто попытка оправдания царя-реформатора — уже приводились примеры рукоприкладства тишайшего Алексея Михайловича, а уж об Иване Грозном и говорить не приходится.

Но характерна и оговорка Щербатова: «...Многие из нас, конечно, восхотят скорее смертную казнь претерпеть, нежели жить после палок или плетей, хотя бы сие наказание и священными руками и под очами Божия Помазанника было учинено»²⁷. Эти слова — замечательное подтверждение формирования аристократического этоса в верхах российского общества в XVIII в., процесса, имеющего истоки именно в петровской эпохе. Показательна в этом плане история Павла I, который поплатился жизнью в том числе и за то, что пытался повернуть вспять эти процессы. В дальнейшем дворянский «идеальный тип» цивилизованности станет образцом и для «низов», включая и крестьян. По свидетельству будущего министра А.В. Головкина, лично ознакомившегося с положением в ряде губерний в 1860 г., в крестьянах заметно «нравственное пробуждение и проявление как бы чувства собственного достоинства. Они теперь оскорбляются поступками, которые в прежние времена не оскорбляли их»²⁸. Фактически, в силу специфики российского политического и социального ландшафта, в послепетровский период мы можем наблюдать процесс цивилизации, обратный «классическому» европейскому. Если в Европе процесс цивилизации шел параллельно в нескольких странах, и любой король, являясь «первым из дворян», олицетворял одну из его ветвей, то в России самодержец мог, после того как элита получила европейскую прививку, подвергаться «цивилизующему» пресингу со стороны общества, зачастую обгонявшего на этом пути своего лидера, и в XVIII в. носившего «родимые пятна» деспотизма.

Таким образом, обратившись к социологической по своему «происхождению» теории Н. Элиаса, мы получаем возможность изучать специфику психологических процессов как массовых, так и индивидуальных в конкретно-исторических реалиях, выстроив доказательную теоретическую базу для исследования как осознанных, так и бессознательных мотивов, лежавших в основе изменения культурных норм в данном обществе и ведущих к приращению рациональности и «цивилизованности».

¹ Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М.; СПб., 2001. Т. 1. С. 143.

² Там же. С. 39.

³ Польской С. В. Двор и «придворное общество» в послепетровской России // Правящие элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750) / Отв. сост. Н. Н. Петрухинцев, Л. Эррен. М., 2013. С. 327.

⁴ Там же. С. 329.

⁵ В частности, теория Н. Элиаса сыграла значительную роль в становлении весьма популярного направления — истории повседневности (Пушкарева Н. Л. «История повседневности» как направление исторических исследований [Электронный ресурс] // Перспективы. Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. Электрон. дан. [Б. м., 2015]. URL: http://www.perspektivy.info/history/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskikh_issledovanij_2010-03-16.htm (дата обращения: 30.03.2015)).

⁶ Польской С. В. Указ. соч. С. 320–367. В некоторых случаях теория Н. Элиаса упоминается вскользь, не становясь теоретической базой исследования (см., например: Алексеев А. И. Русские монастыри и практика общественного дисциплинирования в России до начала петровских реформ // Социально-политические практики в истории. 2001. № 3. С. 50).

⁷ Юности честное зеркало, или показание к честному обхождению, собранное от разных авторов // Хрестоматия по истории России: В 4 т. / Сост. И. В. Бабич, В. Н. Захарова, И. Е. Уколова. М., 1995. Т. 2. Кн. I. XVII — начало XVIII века. С. 214–218.

⁸ Домострой / Изд. подгот. В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб., 1994.

⁹ Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. С. 222.

¹⁰ Там же. С. 222–223.

¹¹ Цит. по: Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2008. С. 165.

¹² Там же.

¹³ Там же. С. 20.

¹⁴ Так, однажды (уже во время натянутых отношений с Никоном) царь, «возмущенный высокомерием патриарха, из-за церковного обряда поссорился с ним в церкви в великую пятницу и выбрал его обычной тогда бранью московских сильных людей... обозвав Никона мужиком ... сыном» (Ключевский В. О. Царь Алексей Михайлович. — Ф. М. Ртищев // Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост., вступ. ст. и прим. В. А. Александрова. М., 1990. С. 111).

¹⁵ Конечно, следует помнить, что полной победы этот процесс не одержал и сегодня ни в одной самой «цивилизованной» стране мира. Речь в тех или иных исторических условиях идет о степени.

¹⁶ *Пекарский П.* Наука и литература в России при Петре Великом: В 2 т. СПб.: Издание Товарищества «Общественная польза», 1862. Т. 1: Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. С. 65.

¹⁷ Исследователь именно это время характеризует как «верх утонченности», когда проявляются «первые достижения воспитания и ограничения аффектов» (*Элиас Н.* О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. Т. 1. С. 217).

¹⁸ См. об этом подробнее: *Мухин О.Н.* Личность Петра I в контексте специфики процессов российской модернизации: историко-психологический анализ. Томск, 2014.

¹⁹ *Бушкович П.* Пётр Великий: борьба за власть (1671—1725): Пер. с англ. СПб., 2008.

²⁰ *Буланин Д.М.* Петровская эпоха в истории России и труды о ней Бушковича // Бушкович П. Указ. соч. С. 525.

²¹ *Раев М.* Понять дореволюционную Россию. Государство и общество в Российской империи: Пер. с фр. Лондон, 1990. С. 269.

²² См. об этом: *Мухин О.Н.* Абсолютизм vs самодержавие: еще раз к дефиниции понятий // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. Вып. 2 (130). С. 142—149.

²³ Хотя существовало и существенное отличие — Грозный вынужден был доказывать свое право на роль самодержца, так что сопротивление элиты вызывало его агрессию, тогда как при Петре реальных угроз самодержавному характеру правления давно уже не было.

²⁴ См.: *Хорни К.* Невротическая личность нашего времени. Самоанализ: Пер. с англ. М., 2000.

²⁵ О причинах и проявлениях психологических различий в личном и политическом поведении двух первых монархов см. подробнее: *Мухин О.Н.* Пётр Великий vs Иван Грозный: личность правителя в контексте специфики российских процессов модернизации // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2011. Вып. 35. С. 153—174.

²⁶ *Шербатов М.М.* Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого // Пётр Великий: pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 2001. С. 75.

²⁷ Там же. С. 77.

²⁸ *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 205.

К ВОПРОСУ О НАЗВАНИИ «ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ» В РОССИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: 1655–1917 гг.

Бабкин Михаил Анатольевич

Российский государственный гуманитарный университет,
Московский педагогический государственный университет,
г. Москва

***Аннотация:** В статье рассматривается практически неисследованный в историографии вопрос о названиях Православной церкви в России. Относительно периода 1655–1917 гг. (с начала реформы патриарха Московского Никона и вплоть до Февраля 1917 г.) обосновываются самое корректное и самое некорректное названия: соответственно «Православная греко-российская церковь» и «Русская православная церковь».*

***Ключевые слова:** Русская православная церковь, Православная российская церковь, правомочность применения названия РПЦ к ПГРЦ.*

На отсутствие у «господствующей» в Российской империи Православной церкви¹ фиксированного, официального названия автор настоящих строк указал еще в 2003 г.² Однако до сего дня не создано работ, в которых проводился бы сравнительный анализ существовавших у Церкви наименований.

В настоящее время по умолчанию считается, фактически постулируется, что современное название «Русская православная церковь» (РПЦ) было и у «господствующей» до 1917 г. Церкви. Соответственно, к «дореволюционной» Церкви и применяется название РПЦ. При этом как само собой разумеющееся считается, во-первых, что существующая с сентября 1943 г. религиозная организация с фиксированным названием «Русская православная церковь», по существу, тождественна дореволюционной РПЦ. Во-вторых, что вторая является легитимной преемницей первой, что их объединяет единая история³. Вместе с тем это совсем не очевидно хотя бы потому, что согласно главному юридическому документу РПЦ — Уставу Русской Православной Церкви, а также правоприменительной в РПЦ практике, юридического преемства у РПЦ и «господствующей» в Российской империи Церкви нет. И потому современную РПЦ можно считать преемницей дореволюционной лишь с известной долей условности⁴.

Так корректно ли использовать в отношении «господствовавшей» в Российской империи Церкви название РПЦ?

С 1461 г., т. е. с начала автокефалии⁵ Русской митрополии от Константинопольского патриархата⁶, и вплоть до 1943 г. у «господствующей» в России⁷ Церкви не существовало официального, юридически зафиксированного наименования. Например, в законодательстве и различной делопроизводственной документации высших органов управления Российской империи она называлась «Православная Российская», «Российская Православная», «Всероссийская Православная», «Всероссийская», «Православная», «Российская», «Русская», «Русская Православная», «Российская Православная Кафолическая»⁸, «Православная Кафолическая Грекороссийская», «Православная грекороссийская», «Православная Греко-Российская», «Греко-Российская», «Российская греческого закона» и «Российская Восточно-православная» церковь. При этом в начале каждого слова всех этих названий прописные и строчные буквы писались абсолютно бессистемно, и соответствующие аббревиатуры (например, ПРЦ, ПГРЦ, РПЦ) не использовались.

По нашему мнению, из всех этих названий наиболее корректно (оно же и звучало в Основных законах Российской империи⁹) — «Православная греко-российская церковь» (ПГРЦ)¹⁰. Поясим почему.

В 1655–1656 гг., т. е. практически сразу после воссоединения Малой и Великой Руси в 1654 г., по инициативе царя Алексея Михайловича и патриарха Никона (Минова) богослужебные обряды и богослужебные тексты Русской церкви были радикально изменены с ориентацией на Греческую церковь¹¹. Реформа проводилась с целью создания в будущем единой Греко-Российской церкви¹², что, в свою очередь, могло иметь место при осуществлении грандиозного геополитического проекта: создания под эгидой «нового православного центра мира» (Москвы¹³, позже Санкт-Петербурга) единого Российско-Греческого царства — своеобразно «возобновленной» Византийской империи. Едва ли не все цари из династии Романовых (особенно Екатерина II) в той или иной степени стремились реализовать «греческий проект»: «освободить Второй Рим» и «водрузить крест на константинопольской Святой Софии», т. е. овладеть Стамбулом (Царьградом) и проливами, связывающими Черное и Средиземное моря¹⁴. Однако эти попытки, продолжавшиеся до 1917 г., и послужившие причинами многих войн как с Османской империей, так и с другими странами, как известно, не увенчались успехом.

После свержения Романовых в февральско-мартовские дни 1917 г.¹⁵ «греческий проект» для России потерял актуальность¹⁶. И в названии Православной церкви практически перестали употребляться слова «кафолическая», «греко-» и «восточная». В большинстве случаев стало ис-

пользоваться название «Православная российская церковь». Хотя, как и прежде, иногда использовались слова «Всероссийская» и «Русская»¹⁷.

Почему же «господствующая» в России Церковь не имела своего названия? Главная причина этого, на наш взгляд, заключается в том, что российскому законодательству не было известно такое юридическое лицо, как Православная церковь: Церковь не имела прав юридического лица¹⁸. Соответственно, то, чего *de jure* не было, — не имело и официального названия.

При этом, если судить по известному автору настоящих строк массиву источников, вопрос о необходимости установления фиксированного, единообразного наименования «господствующей» Церкви во властных структурах Российской империи не поднимался. Причиной этого, судя по всему, было то, что «главой Церкви» в России (согласно Высочайшему акту о наследии престола от 5 апреля 1797 г.¹⁹) был царствующий император²⁰. Именно от него зависела «законодательная инициатива»... Вместе с тем ничего не известно и о каких-либо ходатайствах Святейшего синода перед «высочайшей инстанцией» дать «своей» Церкви официальное название. Нет сведений и вообще о каких-либо обсуждениях данного вопроса в церковной среде.

Таким образом, отсутствие официального названия у «господствующей» в России Церкви в определенном смысле устраивало всех.

В настоящее время в церковной среде вопрос о названии «дореволюционной» Церкви также не поднимается²¹. По всей видимости, причина тому — возможное появление соответствующих нежелательных последствий. Ведь в случае установления того, что «господствующая» до 1917 г. Православная церковь и современная РПЦ²² — абсолютно разные установления, может встать, например, вопрос о правомочности второй наследовать имущество первой.

С учетом вышеизложенного, самое емкое из всех приведенных названий Православной церкви в России в период с 1655 по 1917 г. — ПГРЦ. Оно отражает христианское исповедание («Православная»), национально-территориальную принадлежность («Российская»), характеризует вид ее богослужебного обряда («Греко-Российская»: что позволяет отличать ее обряд от древлеправославного, сохраняемого староверами) и определенным образом указывает на ее «вектор развития»: на планировавшееся «господствующее положение» ПГРЦ в «будущей» Российско-Греческой империи под скипетром и державой Романовых.

Самое же некорректное в настоящее время название для «господствующей» в России в 1655–1917 гг. Церкви (используемое, например, в учебной литературе) — «Русская православная церковь». Оно, во-первых, тождественно с названием одноименной религиозной организа-

ции, появившейся на исторической сцене в сентябре 1943 г. Во-вторых, создает трудности на пути разделения истории Православия на «никоианскую» и старообрядческую «ветви», способствуя тем самым внедрению в общественное сознание тезиса об определенной маргинализации староверов — как «раскольниках», якобы не принадлежащих к Православной церкви.

¹ Одним из оснований для применения в законодательных актах Российской империи к Православной церкви термина «господствующая» было следующее обстоятельство. Вместе с ней и другие российские конфессии, находясь под императорским контролем, пользовались как защитой со стороны государства, так и рядом привилегий. После Православной церкви самой привилегированной в Российской империи была Лютеранская церковь, особенно там, где она являлась вероисповеданием большинства населения: в Великом княжестве Финляндском, в Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниях. Так что в определенном смысле государственными конфессиями могли считаться и другие привилегированные конфессии. Но господствующей была одна — Православная, к которой по официальной статистике принадлежало свыше $\frac{2}{3}$ населения Российской империи и в силу основных законов — император (см., например: Православная энциклопедия. М., 2006. Т. 7. С. 179). Статус «господствующей» у Православной церкви de jure существовал до 21 января 1918 г., т. е. до опубликования советского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (Известия Центрального исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Пг., 1918. № 16 (280). 21 января. С. 2). Однако de facto он был «утрачен» летом 1917 г.: после выхода постановлений Временного правительства «О свободе совести» от 14 июля 1917 г. (Вестник Временного правительства. Пг., 1917. № 109. 20 июля. С. 1; Собрание узаконений и распоряжений Правительства. Пг., № 188. 10 августа. Ст. 1099. С. 1950–1951; Церковные ведомости. Пг., 1917. № 31. С. 247–248).

² *Бабкин М.А.* Свержение монархии в России в 1917 году и Православная церковь: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2003. С. 5.

³ См., например, статьи, охватывающие хронологию с X по XX в. и объединенные в том: Православная энциклопедия. М., 2000. Т. Русская Православная Церковь.

⁴ См. подробно: *Бабкин М.А.* Устав Русской православной церкви: допустимо ли отождествление РПЦ и ПЦ? // Общественные науки и современность. М., 2015. № 1. С. 108–114.

⁵ Автокефальная (*греч.* — *αὐτοκέφαλος*) церковь — в буквальном переводе с греческого означает самоглавенствующая. Образование такой церкви, называемой иначе поместной, совершается с согласия государственной власти, и самостоятельность ее канонически устанавливается признанием со стороны той церкви, из которой она выделилась.

⁶ Датой начала автокефалии Русской церкви принято считать 15 декабря 1448 г. В тот день без санкции Константинополя русскими архиереями в «митрополиты всея Руси» был поставлен епископ Рязанский Иона. Однако это поставление было сделано с многочисленными «оглядками» на Константинополь. Преемник же Ионы по митрополии — архиепископ Ростовский Феодосий (Бывальцев) был возведен на кафедру в мае 1461 г. не только без каких-либо «оглядок», но и был фактически признан Иерусалимом. Поэтому в данном случае дата 1461 г. — более корректна. Греками же автокефалия Русской церкви была de facto легализована лишь в 1589 г.: учреждением в Москве патриархии константинопольским патриархом Иеремией II (см.: *Успенский Б.А.* Царь и патриарх. Харизма власти в России: византийская модель и ее русское переосмысление. М., 1998. С. 211–259). В целом автокефалия Русской церкви оказывается связанной с претензией Москвы на роль Нового Константинополя (там же. С. 257).

⁷ О статусах различных наименований России в XVII—XXI вв. см.: *Галузо В.Н.* Конституционно-правовой статус России: проблема именования государства // Вестник Московского университета МВД России. М., 2010. № 5. С. 119—123.

⁸ Кафолическая, или католическая (греч. *καθολικός*), по-рус. — всеобщая, повсеместная, соборная.

⁹ В Основных законах (в I томе, 1-м разделе: «О священных правах и преимуществах Верховной самодержавной власти»), в ст. 35 говорилось: «По вступлении [императора] на престол, совершается священное коронование и миропомазание по чину Православной греко-российской церкви». Далее, в ст. 40 констатировалось: «Первенствующая и господствующая в Российской империи вера есть Христианская православная кафолическая восточного исповедания» (Свод законов Российской империи. СПб., 1842. Т. I. Ч. 1. С. 8, 10; 1857. Т. I. Ч. 1. С. 7, 10; 1892. Т. I. Ч. 1. С. 6, 9).

¹⁰ Староверы «господствующую» в России Православную церковь именуют «никонианской».

¹¹ «Дониконовскую» Церковь, существовавшую до 1655 г., сначала в качестве Киевской митрополии Константинопольского патриархата (с 988 г.), а с мая 1461 г. — самостоятельно и независимо от Константинополя, правильно именовать «Русской церковью». Слово «Православная» в названии в данном случае лишнее, поскольку все остальные христианские Церкви в Московской Руси считались еретическими, т. е. за Церкви Божии они не признавались. В письменном наследии патриарха Московского и всея России Никона другие Православные церкви собирательно называются: «Православные Восточные Церкви», «Святые Восточные Церкви», «Восточная Церковь», «Святая Восточная Церковь», «Святая Православная Восточная Церковь» (см.: *Никон (Минов), патриарх.* Труды / Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004. С. 91, 93, 99, 102).

¹² См. подробно об этом: *Кантнерев Н.Ф.* Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: В 2 т. Сергиев Посад, 1909. Т. 1; 1912. Т. 2; *Успенский Н.Д.* Коллизия двух богословий в исповедании русских богослужебных книг в XVII веке // Богословские труды. М., 1975. Сб. 13. С. 148—171; *Кутузов Б.П.* Тайная миссия патриарха Никона. М., 2007.

¹³ Следует вспомнить известную историософскую концепцию XVI в. «Москва — Третий Рим», в которой отразилась мысль о богоизбранности православного русского народа и в очередной раз прозвучала идея «длящегося Рима». (См. об этой концепции, например: *Синицына Н.В.* Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV—XVI вв.). М., 1998; *Успенский Б.А.* Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва — Третий Рим» // Этюды о русской истории: [избр. труды.] / Успенский Б.А. СПб., 2002. С. 89—148; *Усачёв А.С.* «Третий Рим» или «Третий Киев»? Московское царство XVI века в восприятии современников // Общественные науки и современность. М., 2012. № 1. С. 69—87.)

¹⁴ См. подробнее, например: *Косик В.И.* Константинополь — русская дорога // Славяноведение. М., 2015. № 1. С. 22—31. По мнению ряда историков, стремление установить контроль над Константинополем и проливами Босфор и Дарданеллы являлось «главной имперской амбицией России со времен Петра Великого». Цит. по: *Макаров Н.В.* Российская империя в Первой мировой войне: Современная англо-американская историография // Российская история. М., 2014. № 5. С. 37. Об этом же говорится и в статье: *Петров Ю.А., Павлов Д.Б.* Первая мировая война: кто виноват? (Историографический этюд) // Российская история. М., 2014. № 5. С. 12.) См. также, например: *Антоний (Храповицкий), архиепископ Харьковский и Ахтырский.* Чей должен быть Константинополь? // Пастырь и паства. Харьков, 1915. № 1. С. 14—21.

¹⁵ О предпосылках и причинах революции 1917 г. см.: *Миронов Б.Н.* Благополучие населения и революции в имперской России: XVIII — начало XX века. М., 2012. С. 563—703; *Он же.* Русская революция 1917 года в контексте теорий революции // Общественные науки и современность. М., 2013. № 2. С. 72—84, № 3. С. 106—115. О политической позиции духовенства ПГРЦ в период революции 1917 г. см.: Российское духовенство и свержение

монархии в 1917 году (Материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви) / Сост., авт. предисл. и ком. М.А. Бабкин. М., 2008. С. 23—424; *Бабкин М.А.* Священство и Царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Исследования и материалы. М., 2011. С. 197—556).

¹⁶ В опубликованном 24 ноября 1917 г. обращении советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», подписанном председателем СНК В.И. Ульяновым (Лениным) и народным комиссаром по национальным делам И.В. Джугашвили (Сталиным), констатировалось: «Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Константинополя, подтвержденные свергнутым [А.Ф.] Керенским — ныне порваны и уничтожены. Республика Российская и ее правительство, Совет народных комиссаров, против захвата чужих земель: Константинополь должен остаться в руках мусульман» (Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства за 1917 год. М., 1942. № 6. 19 декабря. Приложение 2-е. С. 90).

¹⁷ Названия «Православная русская», «Русская православная» и «Русская» церковь достаточно широко начали звучать с марта 1917 г. 12-го числа того месяца была провозглашена автокефалия Православной грузинской церкви. Спустя две недели, с 27 марта, когда Грузинская церковь была признана Временным правительством, в России стала не одна, а две Православных церкви (см., например, постановления Временного правительства «Об установлении правовых последствий, связанных с восстановлением автокефалии древней Православной грузинской церкви с мцхетским католикосом во главе» и «Об устройстве Православной русской церкви на Кавказе», соответственно от 27 марта и 6 октября 1917 г., опубликованные: Сборник указов и постановлений Временного Правительства. Пг., 1917. Вып. 1. С. 305—306; Собрание узаконений и распоряжений Правительства. Пг., 1917. № 275. 7 ноября. Ст. 2017. С. 3316—3317). До того же времени, с 1818 г., в Российской империи (после вхождения в нее Грузии в 1801 г.) существовал Грузинский экзархат, включавший в себя пять епархий: Грузинскую, Имеретинскую, Сухумскую, Гурийско-Мингрельскую и Владикавказскую.

¹⁸ До 1917 г. Россия, как ранее Византия, составляла с Православной церковью единое церковно-политическое тело, единый организм. Одним из показателей этого единства являлась невозможность проведения четкой границы между светским (в привычном ныне понимании) и церковным законодательством. В императорской России функции государства и церкви переплетались: государство исполняло часть традиционно церковных дел (например, общественное призрение, просвещение), Православная церковь выступала как судебная, исполнительная и отчасти законодательная инстанция. Государственные законы, регламентировавшие различные стороны деятельности духовенства, становились и нормами церковного права. При этом связь Российской империи и Православной церкви была в первую очередь сакральной, а не оформленной юридически. «Господствующая» в России Церковь не имела отдельного правового статуса и по большому счету не была собственником недвижимого имущества: последнее находилось в собственности православно-христианского государства, во главе которого стоял православный император. Вместе с тем структурные установления Церкви (храмы, монастыри, духовные учебные заведения, Святейший правительствующий синод и др.) являлись определенными юридическими единицами со своими правами. Причем у таких структурных установлений ПГРЦ, как храмы и монастыри, юридические права были весьма ограничены: например, на каждую куплю-продажу объектов недвижимости им необходимо было через Святейший синод испрашивать разрешение императора.

¹⁹ Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. 1830. Т. XXIV: С 6 ноября 1796 г. по 1798 г. Ст. 17910. С. 578. В частности, в «шапках» определений высшего органа церковного управления говорилось: «...По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий Синод слушали: ...» (см., например: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796 («Канцелярия Святейшего синода»). Оп. 209 («Протоколы Синода. 1721—1917 гг.»).

²⁰ См. подробно об этом: *Бабкин М.А.* Священство и Царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Исследования и материалы. М., 2011. С. 53–66. В именовании себя главою Церкви император Павел I не был оригинален. Еще его мать — императрица Екатерина II в переписке с австрийским императором Иосифом называла себя главою Греческой церкви, а Иосифа, как главу Священной Римской империи — главою церкви западноевропейской. Павел I лишь формально узаконил уже известный титул (*Успенский Б.А.* Царь и патриарх. Харизма власти в России: византийская модель и ее русское переосмысление. М., 1998. С. 483).

²¹ Лишь констатируется наличие нескольких ее названий (см., например: *Цыпин В.А., протоиерей.* Ведомство православного исповедания // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. VII. С. 369).

²² Другое официальное название РПЦ, согласно ее Уставу (гл. I, п. 2), — «Московский патриархат» (Устав Русской Православной Церкви. М., 2000. С. 3; Устав Русской Православной Церкви [в ред. 2013 г.] // Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. I: Нормативные документы. М., 2013. С. 23).

ДОМ И ВЕЩИ КАЗАНСКОГО МЕЩАНИНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. В СТРУКТУРЕ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Бессонова Татьяна Викторовна

Набережночелнинский институт
Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Набережные Челны

***Аннотация:** Статья посвящена изучению дома казанского мещанина как среды обитания, в которой реализовывались повседневные жизненные практики. Исследование мещанского домовладения как структуры повседневности показывает, что дом несет смыслы, отражающие восприятие мира, характерное для традиционных доиндустриальных обществ. Одновременно наблюдаются новые веяния, постепенно приближающие мещанский дом к дому горожанина индустриальной эпохи.*

***Ключевые слова:** мещанство, пространство повседневности, образ жизни, домовладение.*

Реальность существования человека отражается в вещах. Мир вещей — визуально выраженная среда обитания, которая формируется человеком в процессе его повседневной жизни и отражает социальную и национальную идентичность, ментальные установки, эстетические приоритеты. Концентром вещного, предметного мира человека является дом — жизненное пространство, формируемое человеком в заданных исторических условиях, в котором осуществляются стратегии поведения, реализуемые в повседневной жизни. Анализ материального окружения человека, им созданного, накопленного и сбереженного, позволяет осознать бытовое поведение как сферу воплощения скрытых культурных кодов, отражающих нормы и ценности целого общества, о чем одним из первых в отечественной науке писал Ю.М. Лотман¹.

Подобные культурные коды сложились в типичные образы боярских хором, дворянской усадьбы, крестьянского двора. Устойчивые культурные определения получил и мещанский быт. С легкой руки А.И. Герцена термин «мещанство» приобрел внесловное, этическое значение, что было подхвачено русской литературой и воплощено в ярких и хлестких

оценках. «Мещанство — это узор, плоскость и безличность, узор формы, плоскость содержания и безличность духа», — писал вслед за А.И. Герценом Р.В. Иванов-Разумник². Применяя термин в двух смыслах, узком сословном и широком этическом, А.И. Герцен подчеркивал, что первое значение является только частным случаем второго, распространяя мещанство как этическую характеристику на самые широкие слои населения³. И все-таки показательно, что для универсального понятия, обозначающего весь комплекс зарождающейся массовой культуры — усредненной, безличной, потребительской — было использовано определение именно мещан. Сконструированное властью как «средний род людей», мещанство являло собой массовую группу городских обывателей, образ жизни которых был наиболее типичен для городского населения. Мещанство стало синонимом обыденности, обычности, которые при эмоционально-экспрессивном окрашивании приобрели значение обывательщины, выраженной в материальной культуре. «Накопить фортуны и иметь как можно больше вещей — это обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизис парижанина», — писал, путешествуя по Европе, Ф.М. Достоевский в «Зимних заметках о летнем впечатлении»⁴. Так было определено одно из главных качеств мещанского образа жизни — вещизм, активно обличаемый в советские времена. На другое качество — эстетическую примитивность и вульгарное украшательство — обращал внимание А.И. Герцен: «Все получает значение гуртовое, оптовое, рядское, почти всем доступное, но не допускающее ни эстетической отделки, ни художественного вкуса»⁵.

Литература и публицистика второй половины XIX — начала XX в. содержат массовые примеры, подтверждающие точность приведенных характеристик, тогда как образ жизни мещан дореформенной России привлекал гораздо меньше внимания. А ведь именно к началу XIX в. завершился процесс формирования данной сословной группы в юридическом, экономическом и социокультурном смысле, сложилась мещанская идентичность. Мещанин являл собой типичного горожанина, носителя городского образа жизни. Создание мещанства было практикой оформления городского гражданства, отличного от дворянства и крестьянства, а принадлежность к мещанству осознавалась как достойная характеристика. Так, в конце XVIII в. в России вышла переводная книга по военно-морскому делу, эпиграф к которой имел символическое звучание:

Дворянства не хочу в свой век я получить,
 В мещанстве я рожден, хочу в мещанстве жить!
 Дворянства же купя, свой промысел забудешь,
 Ни рыба ты, ни мясо будешь⁶.

Уважительное отношение к мещанину звучит и в «Моей родословной» А.С. Пушкина. Противопоставляя себя «новым русским аристократам», подчеркивая длительное историческое бытование своего рода, поэт называет себя мещанином, самостоятельно и достойно зарабатывающим себе на жизнь:

Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой, я мещанин⁷.

Изучение повседневной культуры казанского мещанства позволит соотнести клише мещанского образа жизни с реальными обыденными практиками и воссоздать систему ценностей дореформенного мещанина, наиболее близкого по духу той идеологии, которую вкладывала в мещанство Екатерина II. Исследование мещанской повседневности интересно и тем, что само мещанство — символ обыденности, обычности, оно культивировало ценности повседневной жизни маленького человека. Эта жизнь протекала в условиях перехода России к индустриальному обществу. Исследование материальной среды, создаваемой мещанством, позволит понять, насколько глубоко модернизационные процессы затронули городское население и в каких формах были воплощены.

Средой обитания человека, в которой реализовывались его повседневные стратегии жизни, является дом — связующее звено в картине мира. «Строя себе дом, — писал И.А. Ильин, — человек создает себе оплот телесного существования и средоточие духовной жизни, он устраивает себе лично-интимный угол на земле, свой священный очаг, как бы свое внешнее я»⁸. Наиболее ценными источниками для изучения мещанской бытовой культуры являются описания имущества, составленные при переходе домовладения в опекуновское управление, а также по случаю распродажи имений несостоятельных должников. Источники содержат детальное описание движимого и недвижимого имущества мещан с указанием количества, стоимости и качественного состояния. Основой имущественного благосостояния был дом, он осознавался как надежное и устойчивое убежище, фундамент бытия — этим объясняется пристальное внимание к характеристике дома. Описания имущества подробнейшим образом перечисляют, из каких материалов сделаны стены, двери, пол и потолок, сколько в доме окон, печей, дверей, лестниц. Детально описаны двери «плотницкой работы на петлях и крючьях железных», окна с двойными рамами на болтах, за-слонки и вьюшки на печах.

Само владение собственным домом было для мещанина признаком социального престижа, и далеко не все мещане были домовладельцами. По именному списку казанских мещан, составленному в 1858 г., из 1527 мещанских семей владели собственными домами только 352 мещанина, что составляет всего 23%⁹. Характерно, что все источники говорят о мещанском доме, иногда — о флигеле, но никогда об избе; это подчеркивает городской характер жилья. Состояние домов, качество и размеры были существенно различными. Мещанка Катерина Ивойлова в 1826 г. заложила приказу общественного призрения каменный двухэтажный дом с антресолями, крытый железом, «в нем покоев 14, в коих дверей с санными 20, окошек 34 с двойными рамами»; в доме были бревенчатые потолки и штукатуренный пол, а вход во двор был через створчатые ворота на каменных столбах со сводами¹⁰. По-видимому, весьма престижный дом, приемлемый для проживания дворянского семейства, имел Михаил Синьков, у которого титулярный советник и кавалер Зиновьев снял «в верхнем этаже больших 5 покоев»¹¹. На другой полюс качества жилья можно поставить имущество Гавриила Петрова, который имел «флигель деревянный одноэтажный с чердаком <...> во флигеле 3 окна без рам, полов и печей в нем нет, в чердаке окно, пол и потолок досчатые и одна русская печь. При них холодные в два этажа сени, нижний этаж сеней в одну сажень вышины забран пластником без пола, а верхний этаж забран тесом, так же без пола и потолка. Все означенное строение крыто тесом <...> и находится в разрушенном и неудобном для жительства положении»¹².

Мещанское домовладение было сосредоточием стратегий жизни, определяющих формы повседневного существования и выживания человека той эпохи. «Дом и равным образом основные, т. е. потребительные, формы утвари, оружия, одежды и посуды принадлежат к тотемной стороне бытия. Они характеризуют не вкус, но навыки борьбы, жизни и работы», — отмечал О. Шпенглер¹³. Нередко при доме находились предприятия — так, во дворе уже упоминавшейся Ивойловой было 2 мыловаренных завода, каменная палатка и жировой склад. Мещане Зайцевы обладали внушительным дворовым местом в 476 квадратных саженой и выстроили две кожевни с девятью и семью чанами, дубильней и сушильной, помимо них во дворе были вмурованы два котла с кирпичным очагом. Значительная часть мещан занималась мелкой торговлей и хранила в домах необходимые для нее приспособления. Так, в имуществе Муссы Максютובה описано 16 чугунных гирь разного веса, а также два вида весов со скалами¹⁴. Козьма Липин пользовался двумя медными безменами, весами со скалами и железными цепями, многочисленными чугунными гирями¹⁵.

Практически все мешане-домовладельцы имели лошадей и собственные средства передвижения, об этом говорят как постройки, так и характерные вещи. Конюшня с тремя стойлами и каретный сарай были у Ивойловой, лошадь, конская упряжь и двои катовые сани — у вдовы Абзялиловой¹⁶. Клементий Грязев имел мерина с телегой, хомуты и узду¹⁷, а Козьма Липин выстроил во дворе каретник, в котором стояли дрожки, два роспуска без колес, сани, дрожки без рессор со всем прибором¹⁸. Мещанин Ягоферов содержал в конюшне гнедого мерина, а в каретнике хранились телега на шиновных колесах¹⁹. Мусса Максютлов имел несколько повозок, ветхий характер которых подтверждает их активное использование: татарскую тележку на манер дрожек с сиденьем, обитым лакированной кожей, летнюю повозку с откидным верхом, зимнюю повозку с кожаным верхом, простые сани и два резца на полозьях, соответствующую конскую упряжь. А вот имущество Ахмета Карташева — две шерстяные попоны, седло с прибором, кожаной подушкой и арапником, хомуты и нагайка — позволяет предположить, что лошадь им использовалась для верховой езды, в том числе для охоты. Среди вещей Карташева мы встречаем английское ружье, патронташ, пороховую фляжку и кожаный кошелек для дроби, кинжал и даже колчан со стрелами²⁰.

Практически все исследователи отмечают существенную роль в жизненном укладе горожан в указанный период сельскохозяйственных занятий. Однако для Казани это нехарактерно, что подтверждается и описанием мещанского имущества. Так, среди анализируемых домовладений только у Ивойловой был коровник, две козы у Абзялиловой, 10 кур и 1 петух у Грязева. Зато в каждом домовладении встречаются обязательные дворовые постройки: амбары и погреба, реже сараи и лабазы. Каждая семья еще сама перерабатывала и запасала на длительный срок необходимые продукты питания и корм для лошадей. У многих семей были огороды и сады, поставлявшие продукцию как для личного употребления, так и для продажи. Но в усадьбе Катерины Ивойловой сад, засаженный не только практичными яблонями, но и романтическими акациями и липами, уже выполнял эстетическую функцию.

Внешний вид домов в основном сохранял традиционные черты, характерные для русских городов, что было предметом специального изучения исследователей²¹. Абсолютное большинство домов были из соснового леса разной степени сохранности, крыты «по лубу драньем», иногда тесом, каменные дома крылись железом. Все дома имели сени и крыльцо. Однако в облике домов можно наблюдать уже новые веяния. Заметным явлением было стремление увеличивать число жилых помещений как за счет перегородок, так и за счет надстроек. Так, в доме

Ивойловой было 14 «покоев», а на втором этаже еще и антресоли. На 6 покоев разгорожен одноэтажный двухрубный дом Зайцева, жилым помещением был и чердак — там была внушительная комната в три окна и изразцовая печь «голанка». У Ягоферова на первом этаже было две комнаты, а на втором — четыре, к дому была пристроена летняя кухня с амбаром, над которой располагался теплый чердак с «голанской» печью. Подобное стремление увеличить число жилых помещений объясняется не столько большой численностью домоладцев в мещанских семьях, сколько активной сдачей жилья внаем, что служило существенным источником дохода мещан. Ягоферов даже выстроил два крыльца, ведущие на второй этаж, что позволяло арендаторам иметь отдельный вход в свои помещения.

К числу новых явлений следует также отнести применение в облике домов модных для того времени архитектурных элементов, самым ярким из которых является венецианское, или итальянское, окно. Подобное окно было на чердаке дома Петрова, на крыльце, ведущем на второй этаж у Ягоферова, и у него же на втором этаже над амбаром. Согласно словарю архитектурных терминов, итальянским называлось арочное полуциркульное окно, разделенное на три части вертикальными перемычками, являющееся характерным элементом архитектуры русского классицизма второй половины XVIII — начала XIX в.²²

Таким образом, тенденция к уменьшению дворовых построек, связанных с традиционными сельскохозяйственными занятиями, свидетельствует об усилении публичной составляющей жизни, что отмечал в своем исследовании М.Г. Рабинович²³. Значительно меньше стало сооружений для обработки урожая и содержания скота — сушилен, сараев, коровников; меньше стало ледников, погребов, бань. Одновременно развивается сфера городских услуг, происходит процесс «открывания» жизни — мещане ходят в трактиры, посещают городские бани, публично стирают белье в городском озере. Развивается торговля, что позволило уменьшить необходимость создавать и хранить большие запасы продовольствия. Жизнь становится более многообразной, сложной, наполненной разными действиями, процессами и событиями, также усложняется и пространство повседневности.

Однако эти явления соседствуют с сохранением традиционной хозяйственно-бытовой замкнутости. Мещанский дом уже не усадьба-крепость, как в Средневековье, дом не стоит в глубине двора, а выходит окнами на улицу. Однако во всех упоминавшихся источниках он обнесен как со стороны улицы, так и со стороны двора забором из бревенчатого леса, что отгораживало дом и создавало устойчивое приватное пространство. Все двери снабжены скобами и железными затворами. Окна забра-

ны ставнями, открытие и закрытие которых выполняло важную знаковую функцию разделять утренние и вечерние часы, обозначая время дня и ночи²⁴. Но помимо темпорального смысла ставни были также символом отгороженности дома от внешнего мира, замкнутости и закрытости частной жизни мещанина. Как отмечал Ж. Бодрийяр в «Системе вещей», «разделенность внутреннего и внешнего пространства, их формальная противопоставленность в социальном плане собственности и в психологическом плане имманентности семьи превращают такое традиционное пространство в нечто замкнуто-трансцендентное»²⁵. В этом плане организация пространства мещанского двора и дома позволяет говорить о еще значительном сохранении черт традиционной культуры.

Дом находится на границе двух миров — частной жизни и жизни общества, и характер переплетения приватного и публичного отражает социальные структуры своей эпохи. Несмотря на стремление закрыть частную жизнь от посторонних глаз, разделение приватной и публичной стороны жизни, характерное для современного человека, еще не произошло. Мещанский дом являлся сосредоточием хозяйственных функций, он был совмещен с производством и иными способами добывания средств к существованию, поэтому публичная и приватная жизнь мещанина были достаточно тесно переплетены. Этот вывод подтверждается структурой домового пространства.

Зонирование внутреннего пространства дома является отражением процесса разделения частной и публичной жизни, когда дом избавляется от хозяйственных функций и становится сосредоточием приватной стороны жизни. Соответственно, выделяются зоны, доступные для посторонних, и зоны укромные, где протекала частная жизнь — спальня, кабинет, детская. В описаниях мещанских домов подробно описана внутренняя структура, состоящая из отдельных покоев, горниц, но их функциональное предназначение практически нигде не уточняется. Можно предположить, что при всем внимании к мельчайшим деталям дома эти покои не имели четкой закрепленной степени публичности, и в доступных источниках мы не встречаем помещений, явно выделенных для частной жизни. Зонирование пространства осуществлялось по утилитарному принципу: источники отмечают наличие сеней, чуланов, мест для приготовления пищи. Выделение зоны для частной жизни мы встречаем только у Липина: одна из комнат в его доме на втором этаже именована спальней²⁶. Однако мы можем наблюдать начало процесса функционального разделения пространства. Как было упомянуто выше, в мещанских домах много внутренних перегородок, комнат, закутков, но их предназначение еще не зафиксировано в однозначных смысловых определениях.

Пищу готовили в печах — везде упоминаются кирпичные стряпильные печи, а у Ягоферова еще и с двумя вмазанными в них котлами. Отопление практически везде было представлено голландскими изразцовыми печами, которых иногда было по несколько в доме; только у Гавриила Петрова стояла русская печь. Изразцовая печь была важным элементом модного украшения интерьера, и в изучаемый период она была уже не только у богатых горожан, но и у мещан среднего достатка²⁷. А вот собственных источников питьевой воды в описанных домовладениях не было ни у кого, кроме Ивойловой, которая пользовалась вырытым во дворе колодезем. Это было существенным признаком высокого качества жизни, поскольку проблема чистой питьевой воды была одной из острых в Казани. Жители города брали воду из Волги, которая отстояла от города на шесть верст, что делало доставку воды довольно затруднительной. Как отмечал живший в Казани в 1825 г. И.И. Лажечников, «остается казанцам довольствоваться водой из озера Кабан, где летом купают лошадей и куда зимой свозят всякую нечистоту. Как здорова она, можно судить по зеленым шапкам, всплывающим на ней, когда ее кипятят, и по роям зеленых букашек, появляющихся в ней, когда она постоит в сосуде хотя четверть часа». Эту воду по казанским улицам развозили водовозы — непрменный атрибут повседневной жизни горожан²⁸. Но даже колодезная вода была невысокого качества, грязная и с большим количеством известковых примесей²⁹.

Важным аспектом бытовой повседневности являются санитарные удобства. Так же как появление нижнего белья является признаком обособления скрытой от всех глаз сферы интимности, так и «нужное место» — сфера деликатной приватности. Большинство описанных домовладений традиционно вообще не имело предназначенных для этого строений, что свидетельствует об известной архаичности бытового поведения мещан. Но и в этом аспекте повседневной жизни появляются перемены: в описанных домовладениях отмечен нужник при сенях у Ягоферова, а у Ивойловой — целых два «нужных места», одно деревянное дощатое, а другое капитальное каменное.

Таким образом, исследуя визуальные характеристики мещанского дома как структуры повседневности, мы наблюдаем противоречивые явления. С одной стороны, дом несет смыслы, отражающие восприятие мира, характерное для традиционных доиндустриальных обществ. Дом отражал мещанина от внешнего мира, был средоточием одновременно частной жизни и хозяйственной деятельности, приватная сфера повседневной жизни еще не выделена особой зоной. Одновременно очевидны новые веяния: жизнь мещанина становится более открытой, и уже далеко не все жизненные процессы протекают строго внутри дома.

Житейская функциональность соседствует с модными веяниями и эстетическими запросами, начинается обособление частной жизни и осознание ее значимости. Мещанский дом постепенно приближается к дому горожанина индустриальной эпохи.

¹ Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. 1. С. 248–268; *Он же*. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. 1. С. 296–336.

² Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в. СПб., 1907. Т. 1. С. 15.

³ Герцен А.И. Концы и начала. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/intell/ger_konnach.php (дата обращения 27.05.2015).

⁴ Достоевский Ф.М. Собр. соч. Л., 1982. С. 407.

⁵ Герцен А.И. Концы и начала.

⁶ Баренбаум И.Е. Перевод и издание французской книги по военному и морскому делу (вторая половина XVIII века) // Научная книга. 2004. № 24. URL: http://www.naukaran.ru/sb/2004_2/14.shtml (дата обращения 26.05.2015).

⁷ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959–1962. Т. 2. С. 330.

⁸ Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 279.

⁹ Национальный архив Республики Татарстан (далее — НАРТ). Ф. 570. Оп. 1. Д. 1.

¹⁰ Там же. Ф. 26. Оп. 1. Д. 361. Л. 6.

¹¹ Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 235. Л. 18 об.

¹² Там же. Ф. 114. Оп. 1. Д. 3430. Л. 8–8 об.

¹³ Шпенглер О. Закат Европы // Культурология. XX век. Антология. М., 1995. С. 432–433.

¹⁴ НАРТ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 9. Л. 27.

¹⁵ Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 1. Л. 22.

¹⁶ Там же. Ф. 22. Оп. 1. Д. 361. Л. 6 об.

¹⁷ Там же. Ф. 26. Оп. 1. Д. 553. Л. 50.

¹⁸ Там же. Ф. 138. Оп. 2. Д. 1. Л. 22.

¹⁹ Там же. Ф. 139. Оп. 1. Д. 16. Л. 14.

²⁰ НАРТ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 18. Л. 10.

²¹ Анохина Л.А., Шмелёва М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем: на примере г. Калуга, Елец, Ефремов. М., 1977; Зорин А.Н. Города и посады дореволюционного Поволжья. Казань, 2001; Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988 и др.

²² Власов В.Г. Архитектура. Словарь терминов. URL: <http://www.rusarch.ru/vlasov1.htm> (дата обращения 22.05.2015).

²³ Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. С. 124.

²⁴ Там же. С. 119.

²⁵ Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1999. С. 4.

²⁶ НАРТ. Ф. 138. Оп. 1. Д. 21. Л. 30.

²⁷ Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. С. 114.

²⁸ Лажечников И.И. Как я знал М.Л. Магницкого // Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания. М., 1991. С. 493.

²⁹ Вишленкова Е.А. Культура повседневности провинциального города: Казань и казанцы в XIX–XX вв. / Е.А. Вишленкова, С.Ю. Малышева, А.А. Сальникова. Казань, 2008. С. 89.

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ: ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ В ИЗУЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СИСТЕМ ЕВРОПЫ XIX — НАЧАЛА XXI в.

Акашева Анна Анатольевна

Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород

***Аннотация:** Цель данной статьи заключается в выявлении сути междисциплинарного подхода, применяемого для изучения железных дорог в европейских странах, и демонстрации его на наиболее ярких и убедительных примерах. История железных дорог являет собой классический вариант междисциплинарного взаимодействия истории и географии, при том что эти науки изучают их изначально по-разному. Что является той основой, на которой только и возможно организовать данное взаимодействие? Попытка ответить на этот вопрос представлена в данной статье. Также заявлено о необходимости реконструировать национальную железнодорожную систему России XIX — начала XXI в.*

***Ключевые слова:** история железных дорог, historical GIS, исторические ГИС, география транспортных систем.*

Историческая и географическая науки связаны длительными и плодотворными отношениями. С этим вряд ли поспоришь, поскольку деятельность человека как в прошлом, так и в современности всегда протекала и протекает в определенных климатических, ландшафтных и прочих природных условиях. Данное утверждение справедливо и для развития транспортной системы, которую люди традиционно стремились наладить в любой местности независимо от суровости ее климата, природных ресурсов и особенностей рельефа.

В XIX в. появляется железнодорожный транспорт, раз и навсегда меняющий как физический облик региона, где растет сеть железных дорог, так и социально-экономическое состояние его жителей. Железнодорожные пути преобразуют рельеф и экологические условия, изменяют сеть сельских и городских населенных пунктов, а следовательно, соотношения селян и горожан, сельского и городского образа жизни. Все эти

трансформации происходили в XX в., происходят и сейчас. Таким образом, история железных дорог может служить отличным примером междисциплинарного взаимодействия гуманитарных и естественных наук, при том что предмет их исследования является полидисциплинарным по сути¹.

В связи с вышеизложенным цель данной статьи заключается в анализе актуальных работ по истории железнодорожного строительства Западной Европы и выявлении тех конкретных *подходов*, которые исследователи, как историки, так и географы, применили к восстановлению систем железнодорожных магистралей этих регионов мира. Предвидя закономерный вопрос об изучении железных дорог *России* междисциплинарными методами, ответим на него в начале статьи.

Еще в дореволюционное время стали появляться работы по истории русских железных дорог, в советское время исследования эти продолжались, и были созданы классические монографии по данной проблематике². Однако вопросы, поднимаемые при изучении железнодорожной системы России, решались в рамках сугубо исторического подхода. Современные специалисты в данной области также проводят свои исследования преимущественно в историческом поле. Примером тому может служить «свежая» докторская диссертация В.Н. Тестова³, защищенная им в 2014 г., или кандидатское исследование М.А. Шаненкова⁴ 2009 г. Следовательно, как бы нам ни хотелось привести пример междисциплинарного взаимодействия из отечественного опыта изучения железнодорожной сети России, мы не можем этого сделать в силу отсутствия такового... пока, надеемся.

Сейчас же определим предмет изучения железных дорог и с точки зрения географии, и с точки зрения истории, а затем покажем места их соприкосновения в историко-географических сюжетах. В области географических исследований железными дорогами занимается прежде всего экономическая, социальная и политическая география (в зарубежных странах эти вопросы изучает география транспорта, география городов и общественная география). В рамках этих направлений железные дороги рассматриваются как часть транспортной системы определенного региона или как часть его транспортного комплекса, а также изучается их влияние на расселение людей по определенной территории. В рамках исторических наук традиционным является воссоздание истории строительства железнодорожных ветвей, изучение железнодорожной политики государства, технологическое совершенствование железнодорожного транспорта. В последнее время появляются исследования по социальному составу железнодорожников, а также биографические исследования наиболее ярких представителей этой профессии.

Местом же встречи истории и географии являются особенности распределения населения в том регионе, где появляются железные дороги, и влияние железнодорожного транспорта на его промышленное и аграрное развитие. Получается история железных дорог в ее пространственно-временном разрезе. Роль железнодорожной транспортной системы в концентрации городского и сельского населения была давно подмечена историками, но, как говорит один из руководителей масштабного панъевропейского проекта по реконструированию железнодорожных магистралей Хорхе Марти-Хеннеберг, «рост железных дорог и изменения в населении обычно рассматривались изолированно друг от друга»⁵.

Что же явилось тем синтезирующим подходом, который позволил осуществить междисциплинарное взаимодействие? Ответ одновременно предельно широк и предельно сфокусирован — это технологии создания геоинформационных систем (ГИС), *ГИС-технологии*. Появившись в начале 1970-х гг. для улучшения проведения переписей в США, эти специальные компьютерные программы, позиционировавшие данные цензов на карту, в 1990-е гг. внедрились в арсенал исследовательских приемов ученых-гуманитариев. В частности, ГИС-технологии глубоко проникли в археологию, затронули историю.

Геоинформационными системами называют и компьютерные программы, и набор карт, созданных в рамках определенного исследования. В нашем случае мы будем говорить о ГИС в их втором значении, позволяя себе иногда называть их в сокращенном виде и во множественном числе: так неформально называют продукт своего труда историки, создавшие подобные пространственно-временные срезы с помощью особых компьютерных программ. Любые ГИС имеют в своей основе базу данных, т. е. набор показателей (необязательно только количественных), переведенных в табличную форму и связанных между собой логико-математическими отношениями. Эта база данных внедряется в компьютерную карту в качестве различных слоев, и далее проводится анализ данных, результатом которого становятся диаграммы, тематические карты, диаграммы, совмещенные с тематическими картами. Собственно, так схематично выглядит с точки зрения исследовательской методики работа по созданию ГИС в истории.

Следовательно, база данных представляет собой совокупность сведений, собранных из исторических источников. Поскольку компьютерная программа, создающая ГИС, универсальна, постольку ее использование полностью подчинено исследовательским задачам. В нашем случае это восстановление сети железнодорожного транспорта и населенных пунктов с указанием численности их жителей по годам (десятилетиям) XIX — начала XXI в., с которым ГИС-программы успешно справляются.

В итоге мы имеем обширный набор данных, позволяющий судить о процессах урбанизации под влиянием железных дорог на достаточно продолжительном временном отрезке, в среднем составляющем 100–150 лет. Это основной тренд интересующих нас междисциплинарных исследований. Поле, где встречаются интересы *географии транспортных систем*, *географии городов*, с одной стороны, и *экономической истории и исторической урбанистики* — с другой. Теперь рассмотрим наиболее яркие примеры того, как указанный подход реализуется в конкретных исследовательских практиках.

С начала 2000-х гг. среди историков и географов Европы начался бум по созданию национальных железнодорожных систем с момента их зарождения и до современности. Со стороны европейских правительств оказывалась и оказывается грантовая поддержка таких начинаний. В 2005 г. стартовал проект «Водные, шоссейные и железные дороги: развитие внутренней европейской транспортной инфраструктуры: ГИС по истории европейской интеграции (1825–2005)»⁶. И хотя название проекта обнимает собой все виды транспорта (кроме воздушного), упор, судя по публикациям, был сделан именно на железные дороги. Так, был проведен сравнительный анализ дорог и их влияние на урбанизацию Франции и Англии с 1850 по 1914 г.⁷ С нуля, можно сказать, воссоздана ГИС железных дорог Финляндии с 1880 по 1970 г.⁸ и Болгарии с 1878 по 2002 г.⁹ Изучены железные дороги на Пиренеях, отдельно в Португалии с 1801 по 1930 г., и в Испании и Португалии в сравнении с 1870 по 2000 г.¹⁰ Наконец, воссоздана железнодорожная ГИС Турции с 1856 по 2000 г.¹¹ (Турция в этом проекте рассматривалась как наследница Османской империи и, следовательно, как часть Европы). Все исследователи приходят к выводу о значительной роли железных дорог в социально-экономическом развитии изучаемых ими стран. Они отмечают концентрацию населения не только в городах, но и вовлечение отдаленных сельских территорий в урбанистические процессы страны, когда там появляются железнодорожные ветви.

Силами немецких и голландских ученых под руководством Андреаса Кунца из Института Европейской истории в Майнце и Ханса Бюйтера из Технологического университета в Эйндховене с 2003 по 2009 г. создавался масштабный электронный атлас по всем видам коммуникаций и транспорта Европейского континента¹². В 2010 г. он был опубликован в Интернете в виде серии тематических карт за 175 лет, с 1825 по 2000 г. В атласе собраны сведения о развитии речных, морских, железнодорожных, автомобильных магистралей и о телеграфной связи. Что касается железных дорог, то в электронном виде созданы ГИС, характеризующие общую протяженность железнодорожного полотна во всех европейских

странах. Сведения о России (только по железным дорогам) там также имеются.

Конечно, получившийся ресурс уступает в степени детализации проекту «Водные, шоссейные и железные дороги...», вернее сказать, эти проекты дополняют друг друга. Неоспоримое преимущество Атласа европейских коммуникаций заключается в его интернет-доступности. Значит, он может и должен использоваться всеми учеными, так или иначе занимающимися подобными исследованиями. Междисциплинарный подход здесь также реализован с помощью исторических баз данных, «приземленных» на исторические и современные карты Европы, и построенных затем диаграмм протяженности железнодорожных магистралей. Каждая серия карт сопровождается текстовым файлом, который описывает особенности развития железных дорог в определенный временной период. Это делает карты более читаемыми и информативными.

Наконец, приведем в качестве интересного примера междисциплинарного взаимодействия истории и географии изучение железнодорожной сети Британии. Прежде отметим, что эта тема была отлично разработана в рамках географических наук, что неудивительно, так как Британия была первой страной, где появился железнодорожный транспорт. На основании имеющихся публикаций можно утверждать, что историческими железнодорожными ГИС занимаются преимущественно географы, а также географы, получающие ученую степень по историческим ГИС¹³.

Еще в 1980-х гг. сюжеты по железнодорожному строительству в исторических исследованиях освещались исключительно табличными и описательными данными, карты в них отсутствовали¹⁴. Однако уже в 1999 г. американский историк Роберт Шварц, изучающий железные дороги викторианской Англии, констатировал, что с проникновением технологий ГИС в исторические исследования «бескартографический» период изучения железных дорог Британии заканчивается и появляется возможность по-новому взглянуть на прежние проблемы¹⁵. В итоге на сегодняшний день железные дороги Британии изучаются с максимально возможной степенью детализации данных.

В качестве примера приведем работу географов из Льедского и Каталонского университетов относительно железных дорог Англии и Уэльса в 1871–1931 гг.¹⁶ Исследователи применили метод графов, который позволил им рассчитать степень влияния железных дорог на концентрацию населения в указанной местности. Для этого они воспользовались данными учета населения на уровне английских церковных приходов и вычислили индикаторы доступности железнодорожной станции для близлежащего населения (так называемый индикатор территориального

охвата). Причем методика эта была апробирована для города и деревни отдельно. Таким способом была изучена железнодорожная сеть Лондона и сельских поселений графств Норфолк и Саффолк.

Подведем итоги нашей статьи. Междисциплинарный подход изучения национальных железнодорожных систем Европы дает хорошие результаты реконструкции этих важных транспортных магистралей на уровне как целых государств, так и отдельных административно-территориальных единиц. Основой междисциплинарности служит технология геоинформационных систем, позволяющая создавать электронных карты и проводить мощный статистический анализ исторических данных. Уровень развития ГИС-приложений таков, что он позволяет сделать очень наглядными карты, которые лучше, чем множество таблиц, способны объяснить развитие железных дорог. Остается надеяться, что описанный в действии междисциплинарный подход вполне применим на отечественной почве и позволит историкам и географам в тандеме воссоздать национальную железнодорожную систему России в прошлом.

Вместе с тем выскажем ряд идей, которые появились у нас в ходе работы над данным сюжетом. Мы полагаем, что реконструкции железных дорог с помощью технологий ГИС будут и впредь интересны прежде всего географам, так как они очень хорошо владеют методом компьютерного картографирования и понимают его познавательные преимущества. В этой связи встает вопрос, будут ли исследования, выполняемые только лишь географами, носить междисциплинарный характер? Мы полагаем, что да, так как интерес географов выходит за рамки их традиционного предмета изучения (влияние железных дорог на урбанистические и экономические процессы в целом). Они желают знать, а что было в прошлом, вторгаясь, таким образом, на «территорию» исторического знания.

И наконец, если историки и географы начнут более активно сотрудничать в выбранном направлении, от этого история железных дорог только выиграет. А представителям наук о Земле, действительно, важно донести результаты своих исследований до ученых-историков, иначе зачем же географы публиковались бы в журналах¹⁷ под заголовками с упоминанием истории: «Исторические методы: Журнал квантитативной и междисциплинарной истории», «Журнал междисциплинарной истории» или, например, «История общественных наук»?

¹ В разграничении понятий междисциплинарного и полидисциплинарного мы опираемся на позицию С.И. Маловичко и М.Ф. Румянцевой. См.: *Маловичко С.И., Румянцева М.Ф.* Структура исторического знания: от дисциплинарности к полидисциплинарности // Стены

и мосты—II: междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: Материалы международной научной конференции, 13–14 июня 2013 г. М., 2014. С. 115. URL: <http://www.rsuh.ru/upload/main/interhumanities/Стены%20и%20мосты%202013.pdf> (дата обращения 07.04.2015).

² Подробно и обстоятельно историография русских железных дорог представлена у В.Н. Тестова. См.: *Тестов В.Н.* Железнодорожный транспорт России в эпоху императора Александра III: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. Белгород, 2014.

³ Там же.

⁴ *Шаненков М.А.* Формирование и эксплуатация железнодорожной сети Орловской губернии во второй половине XIX — начале XX в.: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Курск, 2009.

⁵ *Marti-Henneberg J.* Geographical Information Systems and the Study of History // *Journal of Interdisciplinary History*. 2011. Vol. 42. № 1. P. 8.

⁶ Water, Road & Rail: The Development of European Waterways, Road and Rail Infrastructures: A Geographical Information System for the History of European Integration (1825–2005), грант European Science Foundation.

⁷ *Schwartz R., Gregory I., Thévenin T.* Spatial History: Railways, Uneven Development, and Population Change in France and Great Britain, 1850–1914 // *Journal of Interdisciplinary History*. 2011. Vol. 42. № 1. P. 53–88.

⁸ *Kotavaara O., Antikainen H., Rusanen J.* Urbanization and Transportation in Finland, 1880–1970 // *Journal of Interdisciplinary History*. 2011. Vol. 42. № 1. P. 89–109.

⁹ *Stanev K., Marti-Henneberg J., Ivanov M.* Regional Transformations of a State under Construction: Bulgaria, 1878–2002 // *Journal of Interdisciplinary History*. 2011. Vol. 42. № 1. P. 111–134.

¹⁰ *Silveira da Luis E., Alves D., Lima Nuno M., Alcântara A., Puig J.* Population and Railways in Portugal, 1801–1930 // *Journal of Interdisciplinary History*. 2011. Vol. 42. № 1. P. 29–52; *Mojica L., Marti-Henneberg J.* Railways and Population Distribution: France, Spain, and Portugal, 1870–2000 // *Journal of Interdisciplinary History*. 2011. Vol. 42. № 1. P. 15–28.

¹¹ *Akgüngör S., Aldemir C., Kuştepe Y., Gülcan Y., Tecim V.* The Effect of Railway Expansion on Population in Turkey, 1856–2000 // *Journal of Interdisciplinary History*. 2011. Vol. 42. № 1. P. 135–157.

¹² European Communications and Transport Infrastructures: Performance and Potentials, 1825–2000. A Digital Atlas / Eds. by Kunz A., Buitert H. URL: www.atlas-infra.eu (дата обращения 08.04.2015).

¹³ Как, например, это получилось у английского географа Яна Грегори (Ian Gregory), получившего степень PhD по историческим ГИС и преподающего на отделении истории Ланкастерского университета.

¹⁴ *Schwartz R.M.* Railways and Population Change in Industrializing England. An Introduction to Historical GIS. 1999. URL: https://www.mtholyoke.edu/courses/rschwartz/rail/intro_hist_gis.htm (дата обращения 10.04.2015). (Речь идет о книге Питера Матиаса, опубликованной в 1983 г.: *Mattias P.* The First Industrial Nation: The Economic History of Britain 1700–1914.)

¹⁵ Ibid.

¹⁶ *Alvarez E., Franch X., Marti-Henneberg J.* Evolution of the Territorial Coverage of the Railway Network and its Influence on Population Growth: The Case of England and Wales, 1871–1931 // *Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History*. 2013. Vol. 46. № 3. P. 175–191.

¹⁷ *Journal of Interdisciplinary History; Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History; Social Science History.*

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ НАУКА»: О НЕКОТОРЫХ КАДРОВЫХ ПОДСЧЕТАХ В 1929 г.¹

Долгова Евгения Андреевна

Российский государственный гуманитарный университет,
г. Москва

Аннотация: В статье анализируется социально-демографический состав советского научного сообщества в 1929 г., особое внимание уделяется процентному соотношению коммунистов и беспартийных в различных статистических срезах.

Ключевые слова: советская историческая наука, отчетность, кадры, статистика.

На современном этапе исторических исследований распространен устойчивый стереотип о сложных и конфликтных условиях развития науки в 1920—1930-е гг., ставших причиной ее подчиненности государству, идеологической субъективности произведенных в этот период научных продуктов, социальной и политической (партийной) однородности научных кадров. Однако представляется необходимым отойти от общих оценок исключительно в политическом плане и обратиться к качественно-количественному исследованию состава и структуры научного сообщества методами современного статистического анализа. Возможность их применения облегчается плановым характером организации советской науки, включающим в себя измерительный, анализирующий и корректирующий компоненты управления ею и сформированной источниковой базой — комплексом статистических документов отчетности различного уровня, содержащих стандартные показатели (индикаторы) количественной и качественной оценки научной деятельности.

Показателем, характеризующим состав и структуру отечественного научного сообщества, является численность научных работников в разрезе по территориальному и национальному; по гендерному и возрастному признакам; по образовательному цензу и наличию ученых степеней и званий; по принадлежности к политической партии; по социальному происхождению. Ретроспективный количественно-качественный анализ состояния и динамики изменения указанных социально-демографических характеристик позволяет оценить влияние экзогенных факторов на трансформационные процессы в науке, взаимосвязь ее с

другими социальными институтами и скорректировать некоторые устоявшиеся историографические оценки.

Попробуем проиллюстрировать этот тезис на примере статистики учета научных кадров в СССР на 1929 г. Анализ показал, что историографическая гипотеза — представление о науке как «коммунистической», обеспеченной надежными в социальном и политическом плане кадрами, — не выдерживает обоснования по многим показателям.

Данные о численности научных учреждений и научного состава в них по дисциплинам (без руководителей научных учреждений) свидетельствуют о том, что на 1929 г. в 1227 обследованных научных учреждениях состояло 18 213 научных работников и 8031 вспомогательный научно-технический работник², большой удельный вес в силу распределения научных ставок естественным образом занимали специалисты естественных и прикладных дисциплин (998 обследованных учреждений, 14 828 научных работников, 7336 вспомогательных научно-технических работников), далее следуют представители исторических и юридических наук (87 учреждений, 805 научных работников и 152 вспомогательных научно-технических работника соответственно); литературы, искусства и лингвистики (40, 572 и 47 соответственно); социально-экономических наук (36, 442 и 90 соответственно); географии и краеведения (25, 164 и 25 соответственно); педагогических наук (26, 543 и 53 соответственно) и философии (6, 97 и 111 соответственно)³.

В этом объеме цифр 1929 г. среди количественных индикаторов становится первостепенным удельный вес научных работников-коммунистов. Итоги учета интересны: всего по СССР (за исключением Туркмени и Узбекистана) было обнаружено 1590 научных работников-коммунистов при зафиксированной возможной погрешности в подсчетах в 5–8%⁴. Центром сосредоточения партийных научных сил выступала РСФСР (69,3%), по преимуществу Москва, в которой числилось 42% всего состава коммунистов — научных работников. Вторым пунктом по концентрации значительного количества научных кадров была Украина, где сосредоточилось 23% их состава. Сравнивая количество коммунистов научных и вспомогательных научно-технических работников (26 244) с общей численностью научных работников в СССР (1590), даже с учетом зафиксированной погрешности в 5–8% и без учета Туркмени и Узбекистана партпрослойка в составе научных кадров выглядит, мягко говоря, не очень убедительно — в размере 6,05%⁵.

Диспропорция в распределении коммунистов была зафиксирована и на отдельных участках «боевого фронта»⁶. Логичными представляются данные статистики о том, что основная масса членов ВКП(б) работала в области общественных наук (61,4%), значительная группа

коммунистов — в области медицинских наук (16,5%) и только немногим больше одной пятой части кадров (22%) — области прикладных (индустриально-технических, сельскохозяйственных — 13,3%) и точных наук (8,7%). Таким образом, удельный вес коммунистов среди работников общественных наук был равен 12,1%; в составе работников прикладных наук — 3,5%; в составе работников точных наук — 2,7% членов партии⁷. Эти цифры демонстрируют тонкость партпрослойки в научном сообществе.

Диспропорция партийных работников в 1929 г. наблюдалась и в возрастном отношении. Систематизируем данные в виде таблицы.

Таблица 1 (ГА РФ. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 201. Л. 3)

СССР	Профессора	Доценты	Ассистенты	Лекторы и преподаватели	Лаборанты и ординаторы	Прочие научные сотрудники	Итого	Сверх того, аспирантов	Всего
Абсолют к итогу, %	4840	3607	7094	4266	1995	1072	22 876	2176	25 052
Из них:	21,2	15,8	31	18,6	8,7	4,7	100	9,6	
члены и кандидаты ВКП(б), ВЛКСМ	6,2	14,0	9,1	10,6	22,9	8,3	10,7	10,7	

Приведенные данные свидетельствуют, что «партийная» прослойка была наиболее заметной в относительно небольшой группе научно-технических работников (лаборанты и ординаторы), наименее — в широкой группе профессоров. Этот вывод логичен — он объясняется особенностями возрастной психологии — наибольшей политической активностью и восприимчивостью агитационных идей в молодом возрасте.

Уточнить сведения об ученых-коммунистах позволяет анализ квалификации научных партийных и комсомольских кадров (оцениваемой по таким показателям, как размер и характер практического стажа научной деятельности работника, количество и тип научных трудов, выполняемая научная работа и образование). Отчетность предлагала следующие характеристики.

Две третьих состава учтенных работников-коммунистов, или 66%, относились к группе В (1052 научных работника) — начинающие научные работники вузов, комвузов и научно-исследовательских институтов и организаций (младшие ассистенты, аспиранты, ординаторы, научные сотрудники 2-го разряда и прочие научно-технические сотрудники).

29% составляли группу Б (468 научных работников-коммунистов) — основные научные работники вузов, комвузов и научно-исследовательских институтов и организаций (профессора, доценты, старшие ассистенты, действительные члены и научные сотрудники 1-го разряда).

2% (32 научных работника-коммуниста⁸) были причислены к категории А — научные работники, осуществляющие и могущие осуществлять научное руководство в марксистско-ленинских организациях и крупнейших научно-исследовательских институтах.

3% приходилось на группу Г — научные сотрудники-коммунисты, не ведущие постоянной научной работы и не связанные органически с научной работой («но могущие выполнять работу, соответствующую квалификации Б и В»).

В дисциплинарном разрезе картина выглядела следующим образом: в наиболее благополучном положении в отношении квалификации коммунистических кадров находилась группа общественных наук: А — 2,8%; Б — 35,0%; В — 59,2%; Г — 3%; далее следовала группа точных наук: А — 2,9%; Б — 31,9%; В — 64,5%; Г — 0,7%; группа медицинских наук включала работников группы А — 0,4%; Б — 19,5%; В — 80,1%; в группе прикладных наук кадры квалификации В доходили до 82%⁹.

В табличном виде динамика роста числа ученых-коммунистов выглядит следующим образом.

Таблица 2 (ГА РФ. Ф. 3415. Оп. 1. Д. 10. Л. 41)

Начало научной работы	Всего работников	Всего работников, %	Отношение числа работников последующего периода к предыдущему
До 1920 г. включительно	137	9,0	—
1921–1922	139	9,1	1,0
1923–1924	177	18,2	2,0
1925–1926	255	29,2	1,6
1927–1928	515	33,8	1,1
Итого	1523	100,0	

Научная деятельность 75,3% работников группы В началась в период времени с 1925 по 1928 г. Научная работа 67,5% из группы Б началась в период с 1921 по 1926 г. Группа А была относительно старше: из них лишь 2 человека начали свою научную деятельность в 1923–1924 гг., а 2 — в 1921–1922 гг. Отчет не дает информации о предполагаемой дате начала научной работы группы Г.

Таким образом, оформление костяка слоя научных работников-коммунистов пришлось на 1923–1924 гг., когда оформилось $\frac{3}{4}$ их состава и зафиксирован наивысший процент увеличения их количества. При этом статистика отмечает, что 81% состава научных работников начали свою научную деятельность, уже будучи членами партии (часто по так называемому «призыву»), 5% — вступили в партию и начали научную деятельность в один год (что, по сути, идентично предшествующему показателю), и лишь 14% пришли в науку до вступления в ВКП(б)¹⁰.

Интересно при этом, как шел приток членов партии по отдельным отраслям знания.

Таблица 3 (ГА РФ. Ф. 3415. Оп. 1. Д. 10. Л. 42)

Начало научной работы	Всего работников	Точных, %	Прикладных, %	Медицинских, %	Общественных, %
До 1920 г. включительно	137	16,8	7,3	5,8	70,1
1921–1922	139	7,2	2,2	18,7	71,9
1923–1924	177	4,3	8,0	2,0	65,7
1925–1926	255	9,0	12,3	19,1	59,6
1927–1928	515	9,5	22,1	14,4	54,0
Итого	1523	8,7	13,3	16,5	61,4

Можно отметить изменение динамики в сторону увеличения в более поздний период притока в области прикладных и точных наук по сравнению с общественными (группа начавших научную деятельность до вступления в ВКП(б) среди работников точных наук составляла 30%, среди работников физико-математических наук — 54%, биологических — 25%)¹¹.

Что представляли собой новые научные кадры? 79,5% из них окончили высшие учебные заведения, однако 15,5% имели только среднее образование, а 5% — только низшее. Среди выпускников вузов только 15,6% всего состава обучались и окончили комвузы, а 84,4% окончили привычные учебные заведения. Наибольшую по численности группу среди выпускников комвузов составляли «икаписты» — выпускники Института красной профессуры (46,4% работников), вторую большую группу — окончившие региональные комвузы (23,2%). При этом часть выпускников комвузов приходилась на слой лаборантов и ординаторов (73%), аспирантов (50,6%) ассистентов (36,8%), лекторов и преподавателей (22,7%), доцентов (19,4%) и профессоров (5,5%).

Основную, преобладающую массу научных работников составляли мужчины (87,8%), женщин всего было обнаружено 12,2%¹². Подавляющее большинство женщин научных работников (86,1%) были сконцент-

рированы в РСФСР, в частности Москве и Ленинграде (77,3%), следующей по показателям была Украина (10%), БССР (2,6%), Грузия (1,5%). Основная часть женщин работала в области общественных наук (51%, по сравнению с мужчинами — 62,9%; особенно перевес логично наблюдался в области педагогических и педологических наук — 16,5%, мужчин — 4,8%) и в области медицинских наук (36,6%, по сравнению с мужчинами — 13,7%)¹³.

Социальный состав коммунистических кадров также был неоднороден — 16% были выходцами из рабочих, 28% — из крестьян, а большая (56%) часть научных кадров приходилась на выходцев из «других социальных групп».

Завуалированными были данные относительно прошлой принадлежности коммунистических кадров к другим партиям: 30,3% являлись в прошлом меньшевиками, бундовцами, интернационалистами и эсерами.

Как же использовались молодые коммунистические кадры? Как проблема, в отчете отмечался значительный размер совместительства: 1568 работников занимали, по анкетным данным, 3454 должности, 53,5% занимали две должности, 25,5% — три должности; 10,8% — 4 должности, 10,2% — 5–6 и более должностей. Подавляющее большинство научных работников по основным должностям занимались в вузах и комвузах (71,2%) и в научных организациях (26,6%)¹⁴.

Источником формирования научных кадров была аспирантура. Но как свидетельствуют цифры, и с ней дело обстояло не так очевидно.

Таблица 4 (ГА РФ. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 201. Л. 9)

СССР	Число аспирантов	Рабочих	Служащих	Крестьян	Прочих	Членов ВКП(б)
Вузы, всего	2176	9,3	48,9	28,8	13	10,7
Университеты	504	7,3	37,2	20,8	14,7	13,7
Сельскохозяйственные	338	11,3	33,8	45	9,9	14,9
Индустриальные	416	7,7	61,5	14,9	15,9	8,9
Транспортные	33	3,7	67,9	9,4	17	18,2
Социально-экономические	49	10,2	44,9	30,6	24,3	12,3
Медицинские	212	2,7	40,1	26,9	20,3	12,7
Педагогические	343	9,3	46,1	39,1	5,5	1,7
Художественные	61	9,8	62,3	9,8	1,8	1,6

Очевидно, что подавляющее количество мест в аспирантуре занимали выходцы из служащих (среднее число — 48,9%, наибольший процент — в художественных, индустриальных и транспортных; наименьший — в сельскохозяйственных специальностях), далее — из крестьян

(28,8%, наибольший процент — в педагогических, социально-экономических; наименьший — в транспортных и художественных специальностях), рабочих (9,3%; наибольший процент — в сельскохозяйственных и социально-экономических, наименьший — в транспортных и промышленных специальностях). Наиболее высокая численность членов ВКП(б) наблюдалась в транспортных (18,2%) и сельскохозяйственных (14,9%) специальностях, наименьшая — в художественных (1,6%) и педагогических (1,7%). Таким образом, аспирантура в конце 1920-х гг. представляла собой скорее кальку с существующего научного сообщества, чем реальный механизм ротации коммунистических научных кадров.

Выводы из приведенных статистических данных свидетельствуют о том, что в 1929 г. слой коммунистов в научном сообществе был крайне тонким и неоднородным. Налицо неравномерное распределение партийных сил в территориальном отношении, по отраслям научного знания (при этом приток в партию ученых прослеживался только в сфере точных и прикладных наук, в общественных налицо была другая тенденция — коммунисты становились учеными); недостаточный уровень квалификации научных кадров (формально она выдерживалась только в области общественных наук (84 %), при этом (20 %) от общего числа формально не имели высшего образования). Как не выполнивший поставленную перед ним образовательную задачу проект, явили себя и комвузы, обеспечив лишь 15,6% от имеющихся научных работников-коммунистов. Вызывающим был крен в социальном происхождении как действующих ученых, так и в особенности аспирантов. Тем самым цифры статистических отчетов опровергают тезис о «коммунистическом» характере отечественной науки 1920-х гг. и ее подчиненности государству.

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук; проект МК-5264.2015.6.

² ГА РФ. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 201. Л. 1.

³ Там же. В последнем случае налицо диспропорция научных работников и вспомогательных научно-технических работников, возможно, свидетельствующая о дефиците научных ставок.

⁴ ГА РФ. Ф. 3415. Оп. 1. Д. 10. Л. 36.

⁵ Там же.

⁶ Там же. Л. 37.

⁷ Данные о численности научных партийных кадров по основным научным дисциплинам: экономические (383 работника) — 24,1 %; исторические (229) — 14,1 %; философские и психологические (120) — 7,5%; сельскохозяйственные (116) — 7,3 %; педагогические и педологические (99) — 6,2 %; правовые (87) — 5,5 %; индустриально-технические (86) — 5,4 %; биологические (73) — 4,6 %; литературоведение и искусствоведение (41) — 2,6 %; физико-математические (28) — 1,8 %; химические (21) — 1,3 %; геологические (16) — 1,0 %; языковедческие (11) — 0,7%; военные (10) — 0,6%; этнографические (2) — 0,2%. Там же. Л. 38.

⁸ При этом статистика детализирует данные: научные кадры наивысшей квалификации (А) по преимуществу (84 %) работали в сфере общественных наук (21 — в области исторических и экономических, 2 — философских, 2 — правовых, 2 — литературы и искусствования); 4 работника — в области точных наук (2 — физико-математических и 2 — геологических); 1 работник — в сфере области медицинских наук. В области прикладных кадров наивысшей квалификации не было.

⁹ ГА РФ. Ф. 3415. Оп. 1. Д. 10. Л. 46.

¹⁰ Там же. Л. 40.

¹¹ Там же. Л. 41.

¹² Там же. Л. 39.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же. Л. 50.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СССР КОНЦА 1950–1970-х гг. КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА НОВОГО СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Азерникова Ирина Павловна

Российский государственный гуманитарный
университет,
г. Москва

***Аннотация:** Целью данной статьи является исследование трансформации градостроительной политики СССР конца 1950–1970-х гг. в связи с изменениями в обществе и во внутренней политике. В середине XX в. происходят гигантские изменения в архитектуре Советского Союза, которые заключаются не только в видимой смене одной архитектурной парадигмы на другую, но являют собой обновленную урбанистическую практику советского города. Архитектура данного периода, прежде всего как знаковая система, сигнализирует о желанной реновации в обществе. Однако романтизм 1960-х гг. уступает место рационализму плановой экономики, и на смену планам Всемирной выставки приходит типовое строительство жилых и общественных зданий.*

***Ключевые слова:** СССР, Всемирная выставка, оттепель, застой, архитектура, урбанизация, город, небоскреб, цирк.*

Середина 1950-х гг. положила начало трансформации Советского государства, эпоха оттепели стала реакцией на империализм предшествующей эпохи сталинизма, а последующая «золотая» эпоха застоя привела к развалу всей государственной системы. Вслед за изменениями в большой политике интересно проследить их влияние на повседневную жизнь советских городов, или иначе, рассмотреть, как развивалась политика советского урбанизма после колоссальных проектов 1930–1950-х гг. Если архитектуру эпохи сталинизма можно назвать симулякром, т. е. репрезентацией чего-то, что на самом деле не существует, на что был полностью направлен соцреализм, то градостроительство середины и второй половины XX в. во многом представляется семиотической системой, т. е. системой семантической, которая определяет отношение знаков к объектам, которые они обозначают. В данной работе знак — это тот или иной архитектурный проект, а объект — это символ современного обще-

ства, которое необходимо было запечатлеть, например, достижения в научно-техническом прогрессе, космической гонке или важные социальные явления.

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 4 октября 1955 г. сыграло решающую роль в становлении облика не только конкретных городов, но и всей эпохи послевоенного СССР. Благодаря отказу от индивидуального проектирования появляется такой феномен, как «типовой проект» — спасение для разоренных городов с недостатком жилищного строительства. Переход от индивидуального строительства к типовому проектированию являлся наиболее простой и логичной мерой, которая привела к целому социокультурному явлению — появлению молодого поколения с собственными квартирами. Знаменитые хрущевки не просто способствовали расселению коммунальных квартир, но и обрели собственную метаисторию.

Многочисленные формы искусства быстрее всего прореагировали на конец сталинской эпохи. Изменялось пространство, сцена, место действия советских граждан; отчетливее всего изменения в жизни можно проследить по материальным видам искусства — архитектуре, живописи и кинематографу. «Трансформация жизнедеятельности советского человека прямо повлияла на эстетику “оттепельного” кинематографа: массивный ордер — обязательная деталь второго плана в фильмах 1930–1950-х гг., настраивающая зрителей на строгий, чопорный лад, — сменился мерцающими плоскостями витринного стекла, отражающего прямоугольники новых районов, городскую зелень и ярко-голубое небо советского Эдема»¹.

Особо интересно проиллюстрирован процесс обретения собственного жилья на картинах известного художника, лауреата Ленинской и Сталинской премии Ю. Пименова. Такие его работы, как «Район завтрашнего дня» (1957), «Первые модницы нового квартала» (1961), «Свадьба на завтрашней улице» (1962), «Движущиеся границы города» (1963–1964), «Новоселье» (1965) и все картины серии «Новые кварталы», наполнены прямыми аллюзиями на новаторство, новизну происходящего. Новая Москва, и не только Москва разрывала связь со сталинским империалистическим обликом города, а с ним и с жесткой иерархией социокультурного пространства.

С одной стороны, считается, что Н.С. Хрущев вывел архитектуру из области идеологии, из области искусства и подчинил архитектора строителю. Однако несмотря на то что сооружения, возводившиеся после 1955 г., во многом утратили «имперский дух», они все равно были насыщены идеологией, но уже другого — нового — советского государства.

Идеологизированность нового строительства прекрасно прослеживается на таких примерах, как высотное строительство, проекты Всемирной выставки 1967 г. и даже в строительстве типовых зданий, предназначенных для массового развлечения. Все упомянутые строения несли в себе четкую идею, которая была сформирована в конкурсном задании Всемирной выставки — архитектура должна была быть современной.

Начиная с 1958 г. на всей обширной территории Советского Союза возводятся небоскребы — те самые высотные сооружения, которые недавно признавались элементами «упаднической» западной архитектуры, теперь стали новым символом советской власти — победившей Страны Советов. Естественно, не стоит забывать про знаменитые семь высоток, которые формально тоже являются небоскребами. Однако они — наследие прошлой, неоклассицистской, сталинской архитектуры — «семь лестниц, семь башен, семь колоколен новой эпохи с ее новой религией»². Новые высотные здания отрицают колонны, капители, карнизы, портики и внимание к деталям, они строятся в новаторском для СССР того времени стиле — модернизме, или «интернациональном стиле». Первые строения, появившиеся на рубеже 1950–1960-х гг., содержат в себе элементы как модернизма, так и сталинского ампира. Самым ярким примером такой архитектуры служит монумент «Покорителям космоса», построенный в 1958–1964 гг. архитекторами А. Файдыш-Крандиевским, А. Колчиным и М. Барщем. Решение о возведении монумента в честь наступления новой, космической эры в истории человечества было принято вскоре после запуска первого искусственного спутника Земли. Монумент представляет собой шлейф от уходящей вверх ракеты; этот проект был выбран из 350 предложений. Асимметричная и динамичная композиция выглядела чрезвычайно современно в начале 1960-х гг., но в то же время «подчеркнутая сюжетность, нарративность монумента и следование законам тектоники»³ связывает его с традициями предыдущей эпохи.

С середины 1960-х гг. на территории Советского Союза строятся здания, которые, с одной стороны, несут в себе признаки довоенного авангарда и конструктивизма, а с другой стороны, апеллируют не только к архитектурным достижениям СССР первых десятилетий своего существования, но и к усвоенной и переработанной, технически улучшенной, западной традиции — модернизму. Среди самых лучших примеров строительства 1960–1970-х гг. стоит отметить:

- курортный комплекс в Пицунде, 1960–1967 гг., архитекторы: М. Посохин, А. Мндоянц, В. Свинский, Ю. Попов. Корпуса санатория, выполненные в виде призматических башен, поставлены

- так, чтобы минимально препятствовать воздухообмену между морем и специально сохраненной древесной рощей. Жилые здания внутри были богато декорированы мозаиками и фресками;
- институт «Гидропроект» в Москве, 1960–1967 гг., архитекторы: Г. Яковлев, Н. Джебванширова. Здание, которое было построено на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе, должно было органично вписаться в городской ансамбль и стать организующим элементом на севере Москвы. Интересно, что о необходимости такого связующего звена задумывались сразу после войны; первый проект был разработан в 1951 г. К. Алабяном в стилистике сталинского ампира. Однако именно «Гидропроект» стал одним из первых образцов административного здания эпохи оттепели, раннего советского модернизма. К сожалению, при проектировке здания предполагалась его естественная вентиляция через сплошное остекление, что привело к слишком высокой температуре летом и слишком низкой зимой;
 - Министерство автомобильных дорог Грузии в Тбилиси, 1975 г., архитекторы: Г. Чахава, З. Джалагания. «Конструкция здания Министерства состоит из пяти горизонтальных, двухэтажных поперечных “балок”, которые выглядят как будто сложенными друг на друга <...> эффект усиливают ленточные окна»⁴. Здание министерства по праву входит в число шедевров советской архитектуры модернизма, оно как бы «парит» в воздухе, руководствуясь принципами органической архитектуры Ф.Л. Райта и вторя его «Дому над водопадом», оставляя простор для протекающей внизу реки, а с другой стороны, горизонтальная ориентация этого небоскреба является прямой отсылкой к проектам 1920-х гг. архитектора Э. Лисицкого.

В целом, несмотря на то что новая архитектурная политика трансформировала советские города, придавая им лоск «современных» оплотов цивилизации 1960-х, и одновременно боролась с тяжелым имперским наследием эпохи сталинизма, города с древней историей больше страдали, нежели приобретали в процессе такой искусственной эволюции. Особенно пострадала Москва, которая была избрана в качестве плацдарма для урбанистических экспериментов еще в 1918 г.: «Москва превращается в своего рода лабораторию по созданию нового города, “города солнца”, в котором будет реализована многовековая мечта о равенстве, благополучии и гармонии с окружающей средой»⁵. Город постепенно терял памятники своей не только досоветской, но даже довоенной истории. Самым ярким примером таких нововведений служит, ко-

нечно, искусственно проложенный Калининский проспект, который спроектировали на месте старинного дворянского квартала. Эта широкая магистраль, построенная в 1962–1968 гг., была спроектирована архитекторами М. Посохиным, А. Мндоянцем, Б. Тхором и др. Уже на моменте строительства проспект вызвал яркую критику современников за агрессивное вмешательство в историческую застройку и проамериканский внешний вид. «Мощное многоэтажное строительство послевоенной Москвы совершенно “утопило” древние архитектурные вертикали города»⁶.

Всемирная выставка 1967 г. в Москве могла бы стать апофеозом развития советского модернизма, однако грандиозным замыслам архитекторов не суждено было сбыться. Желание сэкономить при строительстве постепенно превратилось в идею отказа от ее проведения. Весной 1962 г. выставка была перенесена на неопределенный срок, а Всемирная выставка 1967 г. состоялась в Монреале.

Идея о проведении выставки в СССР возникла еще в 1958 г., создавалось впечатление, что время для нее выбрано самое удачное — с одной стороны, в космос был запущен первый спутник, с другой стороны, в год проведения выставки должно было пройти празднование 50-летия Октябрьской революции. Для архитектурной реализации триумфа Советского Союза был создан специальный Комитет по проектированию Всемирной выставки 1967 г. в Москве, который возглавил знаменитый архитектор Д. Чечулин. Интересно, что в конце 1950-х–1960-е гг. власть снова вернулась к практике проведения архитектурных конкурсов и широкого освещения представленных проектов в прессе, как это происходило в 1920-е — начале 1930-х гг. Особый интерес представляло конкурсное задание, по сути, это не было задание, где были изложены основные принципы и задачи, в тексте четко прописывалось, чего точно быть не должно — «архитектурных излишеств», которыми емко назывались все здания предыдущей эпохи сталинского ампира. Выставка должна была быть современной, но как выглядит эта современность, участники конкурса представляли очень плохо, ведь к 1960 г. еще не было построенных зданий в стиле советского модернизма, и советским архитекторам зачистую было не на что опираться при проектировании.

Единственной темой, которая могла стать единой платформой для творческого вдохновения, был космос и все, что с ним связано. Необходимо учитывать контекст, при котором проходил конкурс: в 1957 г. были запущены первые спутники, в одном из которых находилась собака, т. е. первое живое существо в космосе; в 1959 г. станция «Луна-1» вышла на гелиоцентрическую орбиту и стала первым в мире искусственным спутником Солнца; в том же году «Луна-3» впервые сфотографировала невидимую

димую с Земли сторону Луны; в 1960 г. совершен первый орбитальный полет с собаками Белкой и Стрелкой, которые живыми вернулись на Землю; и наконец, в 1961 г. совершен первый полет человека в космос — все эти и многие другие космические достижения Советского Союза стали источником вдохновения для всего общества и, в частности, для архитекторов, которые трудились над конкурсными проектами.

По этой причине первый этап конкурса поразил всю общественность своими чрезвычайно смелыми и далекими от реальности предложениями. Ни один из предложенных проектов не содержал в себе даже намека на не так давно царствующий сталинский ампир, все проекты были подчинены космической тематике, всех их объединяла бесконечная вера в научно-технический прогресс.

Сквозь призму архитектурных решений явственно видно, что роль научного и общественного лидера в этой начавшейся космической гонке несомненно принадлежит СССР. Стоит отметить, что данное видение не было следствием государственного заказа или строгой цензуры со стороны комитета, именно через проекты Всемирной выставки 1967 г. прослеживаются представления общества о государстве, в котором оно жило. Произошло очень любопытное замещение: вместо трансляции страны — рога изобилия, где комфортно живет всем нациям и народам, из предшествующей эпохи, на Всемирной выставке должна была предстать другая страна — оплот технических достижений и научных открытий; таким образом, можно говорить о замене в культурном сознании советского человека снопа пшеницы на микроскоп и ракету.

В представленных проектах доминировало изображение сферы, т. е. аллегии с первым спутником, с самим Солнцем. «Идеальная форма круга, с отсутствием в ней верха и низа, отрицало само понятие тектоники, столь важное для архитектуры предыдущего периода. <...> Именно перегруженность архитектуры сталинского ампира деталями осуждалась в эпоху оттепели как лживость, архаичность в противоположность новой легкости и правдивости»⁷.

В проектах архитекторов Б.В. Рубаненко, Е.Г. Розановой, А.Б. Степановой, В.Н. Шестопалова, М.В. Посохина, В.А. Свирского, Б.И. Тхора, Г.А. Захарова, З.С. Чернышовой, Я.Б. Белопольского вся архитектурная доминанта подчинена композиционному центру в виде гигантских шаров, парящих над землей. Столь амбициозные проекты хотя и произвели общественный резонанс, но среди них так и не было отобрано победителя, поскольку все они были слишком утопичны. По итогам первого тура два вторых места были присуждены наиболее реалистичным проектам — Я.Б. Белопольского и Ю.Н. Емельянова. Второй тур содержал уже более конкретное задание, где упор делался не столько на противопоставление

предыдущей эпохе, сколько на рациональность, экономичность, возможность воплощения в сжатые сроки, использование не новых, а традиционных материалов. Как результат, все проекты второго тура ушли от ярко выраженной космической темы, хотя данная тематика и осталась центральной. «Однако символы покорения околоземного пространства либо превратились из архитектурных объектов-павильонов в скульптурные группы и малые формы, условно-знаковые по своему характеру, либо легли в основу планировочных решений выставки»⁸. Небесные тела и гелиоцентрическая система галактики нашли свое воплощение не в гигантских зданиях, но в имитации космического движения на плоскости. В целом необходимо отметить, что проекты второго тура негласно вторили консервативному, но столь привычному и понятному построению пространства в духе традиционной классицистской симметрии дворцово-парковых ансамблей. Таким образом, вся «история проектирования Всемирной выставки в Москве в локальном урбанистическом масштабе повторила всю историю оттепели — от грандиозных проектов, романтических идей, к экономии и крушению всех надежд»⁹.

Трансформация архитектурных принципов при строительстве общественных развлекательных сооружений: театров и цирков также вызывает большой интерес. Особое внимание стоит уделить возведению цирков, так как именно этому массовому развлекательному искусству в середине XX в. уделялось пристальное внимание.

Особо показательны изменения в архитектурной традиции в 1960-е гг. на фоне социальных и экономических перемен, которые можно проследить в творчестве известного советского архитектора С.М. Гельфер. Свой творческий путь С.М. Гельфер начала в 1940-х гг., когда она спроектировала здание летнего театра в Минске (1945), эстраду в Евпатории (1946), летний кинотеатр в Саду им. Баумана в Москве (1952), здания драматических театров в Кемерово (1947), Нижнем Тагиле (1955), Нукусе (1960) и др. Однако «важнейшей профессиональной удачей С.М. Гельфер стало проектирование цирков»¹⁰. Первый цирк по проекту архитектора был возведен в Улан-Баторе в 1954 г. «При его проектировании она учитывала своеобразие национального колорита»¹¹, здание было построено по привычным для того времени архитектурным принципам — по своему виду и конструкции оно напоминало амфитеатр с куполом. Стилистика и декор весьма эклектичны — это действительно сочетание национальных мотивов с привычным монументализмом позднего сталинского ампира. Все меняется с приходом 1960-х гг., в случае с С.М. Гельфер на ее архитектурный стиль повлияла не только эпоха, но и изданная в СССР в 1960 г. книга О. Фрея «Висячие покрытия. Их формы и конструкции», которая определила новый этап в творчестве

не только самой С.М. Гельфер, но и во многом внешний вид многих городов Советского Союза.

С точки зрения экономической рентабельности традиционное здание цирка было непривлекательным, новая эпоха требовала многофункциональности, мобильности, что отражалось на больших и малых формах, т. е. на архитектуре зданий, на архитектонике мебели, одежды и проч. По этой причине проекты, разработанные С.М. Гельфер и Гипротееатром, получили поддержку Министерства культуры и лично Е.А. Фурцевой. Идея многофункционального развлекательного комплекса была воплощена в двух проектах, которые впоследствии стали типовыми — Новосибирским и Владивостокским, впоследствии они оба были включены в «Постановление о 40 цирках». «Принципиальное новаторство заключалось в следующем. Манеж смещался в сторону выхода артистов, из-за чего количество мест прямой видимости увеличивалось примерно до 90%, и вместо купола, без каких-либо вспомогательных лесов и приспособлений, сооружался тонкостенный бетонный свод по вантам, к которому уже изнутри подвешивалась легкая купольная конструкция»¹². Широкие входы на двух этажах позволяли увеличить скорость движения людских потоков в начале и конце выступления. Сам манеж мог трансформироваться в каток, бассейн и сцену. Это позволило превратить здание цирка из сооружения для гастрольных выступлений в современное, экономически выгодное, многофункциональное пространство. К тому же внешний вид здания также полностью менял представление о «дворце культуры» — он оставался дворцом, но теперь уже представлял легкую конструкцию из стекла, железобетона, стали и вантов.

Таким образом, градостроительная политика СССР конца 1950—1970-х гг. совершила большой эволюционный скачок от устаревшей, неоклассицистской имперской архитектурной парадигмы к строительству нового общества через обновленную урбанистическую практику советского города. Строительные проекты, как знаки, были призваны символизировать обновленное молодое советское общество, которое стремилось вывезти — на небоскребе или ракете. Социокультурный подтекст того времени сигнализировал о реновации, которую прошло общество на своем пути к звездам в прямом смысле слова. Однако как и первоначальный романтизм первой половины 1960-х гг., так и утопичные проекты по организации современного города-сада, с развитой инфраструктурой, уступили место рационализаторской плановой экономике. В проектах, реализуемых в 1970-х гг., нельзя встретить полет фантазии, однако они были больше приспособлены и направлены на решение реальных задач и проблем города. В то же время архитектурные формы 1970-х гг. продолжают развивать советский модернизм, привнося в него элементы

конструктивизма, метаболизма и органической архитектуры, игнорируя зарубежные тенденции постмодерна, который строился на принципе самоиронии, как, например, антиархитектура, деконструктивизм, регионализм, техноэкспрессионизм, хай-тек и др.

¹ *Михейкин Д.* Реализация и идеализация новой архитектурной среды СССР в художественном кинематографе 60-х гг. // Проект Россия. № 3(53). 2009. С. 200.

² *Зиновьева О.А.* Архитектурное убранство Москвы как отображение сталинской политики в 1930–1950-е гг. (Зримый образ — скрытый смысл) // Вестник Московского университета. Сер. 19: «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2005. № 4. С. 123.

³ Россия Высокая. История высотного строительства России. Екатеринбург, 2014. С. 109.

⁴ Там же. С. 122.

⁵ *Зиновьева О.А.* Культурологическое обоснование изменение облика Москвы в 30-е гг. XX в. (Переход от конструктивизма к сталинской эклектике) // Вестник Московского университета. Сер. 19: «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2005. № 3. С. 151.

⁶ Там же. С. 123.

⁷ *Казакова О.* Всемирная выставка 1967 года в Москве // Проект Россия. 2011. № 2(60). С. 192.

⁸ Там же. С. 193.

⁹ Там же. С. 200.

¹⁰ *Аметова М.* Саломея Гельфер: К юбилею архитектора / Гос. науч.-исслед. музей архитектуры им. А.В. Щусева. М., 2006. С. 38.

¹¹ Там же.

¹² Там же. С. 40.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ – ПРЕОДОЛИМА ЛИ ДИСТАНЦИЯ?¹

Каиль Максим Владимирович

Смоленский государственный университет,
г. Смоленск

***Аннотация:** Статья посвящена анализу факторов влияния на современную историографию новейшей истории Русской православной церкви, оценке возможностей традиционного для отечественного историописания институционального подхода и альтернативных исследовательских стратегий.*

***Ключевые слова:** Русская православная церковь, историография, институт, конфессиональное общество, внутрицерковные процессы, социальная история.*

Известные, хорошо выраженные границы, равно как и явные или едва заметные мосты, пролегают между дисциплинарными полями многих пересекающихся в своем предмете гуманитарных дисциплин.

В центре нашего внимания конфессионально ориентированная и светская (без «обязательности» артикулирования секулярности как фактора осознанной принадлежности к последней) историография новейшей истории православия. Цель — выявить факторы влияния на формирование обеих традиций, оценить их эвристический потенциал. Следует обозначить, что здесь рассматриваются доминирующие в современной историографии подходы, определяющие общественное восприятие этой проблематики, анализируются как сами научные тексты и публикации источников, так и сопровождение этих изданий в СМИ. Интегративные и междисциплинарные подходы рассматриваются как оптимальные пути примирения двух обозначенных конфликтующих позиций.

Существуют историографические положения, связанные с внутридисциплинарными коллизиями. Их формируют сами изучаемые институты (особенно влиятельные), создавая (или существенно влияя на создание) корпоративно выверенный историографический контент.

В полной мере эта ситуация может быть осмыслена на материалах новейшей истории Православной церкви. Советская парадигма истори-

ческого знания отразилась и на церковном историописании. РПЦ рассматривали как исключительно вредоносный эксплуататорский *институт*. И этот институциональный подход прочно вошел в плоть и современной историографии.

Одним из тех исследовательских полей, в рамках которого очевидно влияние корпоративных факторов на историографию церковной истории, является биографика. В истории православия XX в. накопилось немало историографических штампов и расхожих представлений, принимаемых большинством на веру, бездоказательно. Православный и государственный официоз сформировали пантеон «героев» конфессиональных сказаний, житийные образы которых в полной мере выполняют функцию «поддержания образцов». Здесь наиболее заметно наличие двух (конкурирующих) направлений — светского и церковного, испытывающих взаимное отчуждение и редко взаимодействующих в рамках крупных исследовательских проектов. Конкуренция различных историографических традиций обычно обогащает исследовательское поле, продуцируя новые поиски, открытия и решения. Однако в современных условиях все чаще эвристически ценные объективные исследования критикуются с позиции неканоничности и «чуждости церковного сознания»², эти приемы входят в практику даже академических публикаторских площадок.

Второй значимый пример современных доминирующих стратегий изучения церковной истории — публикационная практика, на деле превращенная в политику публикаций, отвечающих корпоративным установкам самой крупной конфессиональной организации страны. В этой связи примечательно, что публикация такого значимого комплекса источников, как документов Поместного собора 1917–1918 гг.³, выполняемая подчеркнуто церковными институтами, формируется не по принципу сплошной выборки, позволяющей собрать и проанализировать все материалы о работе предсоборных органов и соборных комиссий (читателю не позволено узнать о многочисленных выпадающих из привычных стереотипных представлений о положении церковного общества и институтов к 1917 г. обращениях клириков и верующих к соборным органам, о принятии или непринятии последними соответствующих решений по ним). Эта масштабная публикация еще далека от завершения, но едва ли можно рассчитывать на изменение сознательной установки на упомянутую неполноту в ней.

Так, публикаторы комплекса документов Священного собора ПРЦ 1917–1918 гг. в презентующей сборник информации специально отмечают, что Собор являл собой «единственный на тот момент законно избранный орган власти России»⁴. Привычный институциональный фокус, видимо, должен так воздействовать на сознание современного чита-

теля, что тот не станет задумываться о разности ролей, функций и юрисдикций церковных и государственных органов власти в жизни страны. Творцами истории в привычной марксистской схеме здесь выступают институты.

Что обнаруживают эти данные? Во-первых, очевидное доминирование не индивидуальных (авторских) концепций и трактовок знаковых явлений церковной истории и даже не сформированных (по логике развития историографии) генерализующими их концепциями (например, теорией модернизации) объяснительных практик, а корпоративных трактовок истории церкви. Причем не как специфичной общности (что ближе всего и к истинно-каноничной норме), а как *института*. Поля церковной биографики и социальной истории остаются практически невостребованными, либо «запашка» на них ведется излюбленным партметодом.

По большому счету речь идет об осознанном выборе между эвристическим потенциалом индивидуальных исследовательских тактик (готовности и способности исследователя посмотреть на изучаемое явление в том числе в свете проверенных временем макротеорий) и стратегий и доминировании в отечественной историографии корпоративно выверенных и одобренных установок. От результатов этого выбора, по нашему представлению, будут зависеть перспективы исследований весьма значимой, широкой и востребованной обществом проблематики церковной истории.

¹ Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 14-31-001249а и гранта Президента РФ, проект МК-7090.6.2015.

² Пример научной и околонучной полемики вокруг М.А. Бабкина привел к тому, что первоначально отрицаемая симпатия духовенства к революции была признана и корпоративный официоз скорректировал свою публичную оценку утвержденного в науке положения.

³ Документы священного Собора Православной Российской Церкви, 1917–1918 годов [Текст] / Русская православная церковь / Отв. ред. А.И. Мраморнов и др.: В 3 т. М., 2012–2014.

⁴ «Приспело время подвига...»: Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь / Сост., автор ст. Н.А. Кривошеева. М., 2012. С. 2.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: ПРАВОВЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ИЗУЧЕНИЯ (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАКТИКИ)

Артеменков Михаил Николаевич
Смоленский государственный университет,
г. Смоленск

Аннотация: Цель статьи состоит в сравнении исследовательских подходов и методов, использующихся в правовом и историческом дискурсах изучения вопросов историко-правового развития уголовно-исполнительной системы в современной отечественной науке. Статья затрагивает вопрос, связанный с формированием нормативистского подхода к освещению историко-правовых проблем в различных юридических науках и прежде всего в истории государства и права.

Ключевые слова: история государства и права, уголовно-правовая система, нормативистская теория права, историко-правовой метод.

Говорить об истории права вне общей истории малопродуктивно, хотя, конечно, возможно. В этой связи можно выдвинуть тезис о том, что уровень развития историко-правовой науки зависит от уровня развития общей истории. Несомненно, у государственно-правовой истории есть свои особенности, заключающиеся, например, в специфике той реальности (правовой реальности), с которой имеет дело историк права. Тем не менее определяющий характер общеисторического материала, обеспечивающий воссоздание контекстуальной среды, в историко-правовых исследованиях не подлежит сомнению. Общая же история является составной частью единого гуманитарного знания и в его структуре выполняет свою роль и назначение¹.

Исходя из господствующих в гуманитарном знании методологических установок современную отечественную историко-правовую науку следует отнести к классическому или позитивистско-фактологическому направлению. Большинство работающих сегодня отечественных историков, правда, проводят свои исследования в классической парадигме. Она состоит в том, чтобы рассмотреть основной объект историко-правовой науки — юридический текст (кодекс, закон, статут, грамоту и т. д.)

в качестве самодостаточных и определяющих (ведущих) фрагментов правовой реальности. При этом реконструкция правовой реальности происходит, как правило, изолированно от иных слоев реальности. Нормативность при таком подходе рассматривается в качестве субстанциально задающей структуры, которая формирует все юридическое поле.

На протяжении более чем двух столетий классическая установка в историко-правовых исследованиях являлась господствующей. Однако в XX в. она была существенно подвергнута критике неклассическим направлением в истории (история ментальностей, микроистория, историческая антропология, история ценностей и др.) на основании кризиса позитивистской философии, на базе которой и был сформирован классический взгляд на познание исторической реальности, кризис классически оснований был связан с активным развитием в XX в. философии языка.

В современной правовой науке предметом истории государства и права обычно признается процесс возникновения и развития государства и права в их тесной взаимосвязи на различных этапах; возникновение, развитие и смена типов и форм государства и права, государственных органов и правовых институтов конкретных государств; эволюция структур, институтов и механизмов государственной власти, а также развитие системы права в целом, его отдельных отраслей, институтов и норм². Отмечается, что данная наука изучает причины и закономерности, тенденции и особенности возникновения, становления, развития и функционирования государственности, ее правовых институтов у различных народов.

Таким образом, определение предмета в рамках историко-правовых дисциплин практически всегда ограничивается государственно-правовой действительностью, что существенно сужает границы познания права и государства как объектов историко-правового изучения, либо не точно совпадает с реально проводимыми исследованиями. На самом деле научные изыскания часто не ограничены рамками догматического изучения процессов возникновения и развития права, но сводятся также к изучению социальной структуры, конкретно исторического содержания правовой культуры населения и других социальных факторов, неразрывно связанных с правом и государством и в значительной степени детерминирующих их состояние, сущность, структуру, функционирование и развитие.

Чтобы понять подход значительной части правоведов, изучающих историческое развитие правовых институтов, можно обратиться к работе профессора Михаила Флегонтовича Владимирского-Буданова «Обзор истории русского права». В этом исследовании он определял предмет науки как «понятие о праве» и, соответственно, сводил его изучение к

исследованию не только «норм, установленных в законе, но и существовавших помимо закона (в обычном праве)»³.

Такой подход был обусловлен доминированием на протяжении длительного периода времени в юридической науке нормативистского, позитивистского (легистского) подходов, целью которых был преимущественно анализ собственно юридического в праве, и изучении непосредственного соотношения права с государством. Таким образом, зачастую изучение уголовно-исправительного института сводилось к рассмотрению создававшейся в различные периоды истории нормативно-правовой базы, а также ее влиянию на формирование карательной системы государства.

Все это приводило к искажению ценности права как специфического социального института, к его вырыванию из целостной системы социального регулирования. Нормативный подход не позволяет осознать взаимосвязь социальных норм, которые достаточно часто имеют негосударственную сущность и источник происхождения. Ученые часто упускали то, что «право органично включено в социальный контекст, в систему общественных отношений, где оно взаимодействует, противодействует, взаимодополняет либо снижает эффективность иных элементов социокультурной нормативной системы — норм морали, политических, религиозных, корпоративных норм, обычаев, традиций и т. п. Представить правовые нормы вне этого контекста, вне такого взаимодействия весьма затруднительно»⁴.

В итоге с развитием теоретических представлений о праве и практического опыта по его реформированию получили широкое распространение иные теории правопонимания. Одним из них является социологический подход, направленный на изучение влияния социальных факторов на право и воздействие права на конкретные общественные отношения, причем социальное в данном случае не ограничивается рамками государственной реальности. Данное обстоятельство обусловлено всепроникающим воздействием права практически во все сферы жизнедеятельности общества, ростом влияния правовых феноменов на развитие общественной практики. Так, изучение реформирования уголовно-исполнительной системы все чаще начали связывать не только с деятельностью конкретных органов власти или идеями вполне определенных теоретиков права. В работах юристов начали появляться оценки, связывавшие изменения пенитенциарного законодательства с запросами общества, развитием его материальной культуры, совершенствованием технической базы.

Таким образом, научное осмысление социальной сущности права приводит к необходимости расширения границ правопонимания и выхода исследований права из рамок государственно-правовой действи-

тельности. Представляется обоснованной точка зрения, что важно «анализировать право, как специфическое явление, выделяющее его из системы иных социальных регуляторов. Наряду с этим необходим и социологический его анализ, психологические характеристики, раскрывающие механизмы взаимодействия права с сознанием и поведением людей, выделение ценностных качеств права, оснований разведения и сближения права и закона»⁵. Все это в итоге служит основой для переосмысления границ предмета юридических наук, особенно теоретико-правовых и историко-правовых, которые, в свою очередь, предопределяют качество и глубину изучения иных отраслевых и прикладных юридических наук.

В результате в качестве предмета изучения все чаще стала выступать не государственно-правовая, а социально-правовая действительность как сложноструктурированное явление окружающего мира, которое можно изучать при помощи разнообразных методов.

В настоящее время в научной литературе можно встретить антропологическую, феноменологическую, формально-логическую, социологическую, культурологическую, историческую, системную и аксиологическую методологию. При этом исследователи подчеркивают, что государственно-правовые феномены, включая институт пенитенциарной системы государства, настолько сложноструктурированы, многосторонни в функциональном, социально-культурном и историческом планах, что ограничение исследования только одной методологией, даже общенаучного плана, ведет к односторонности теории⁶.

В юридической литературе на вопросы уголовно-исполнительной системы в рамках традиционных подходов сложились такие типы правового понимания, как нормативное понимание права, естественно-правовая концепция, социологическое направление. В работах О.В. Мартышина они дополнены философским пониманием права⁷, а В.С. Нерсесянц разработал либертарно-юридическую концепцию права⁸.

При исследовании права ряд ученых использовали ценностный подход, который в современной философии права выделяется в самостоятельную аксиологическую методологию познания правовых явлений. Следует отметить, что названная методология присуща прежде всего естественно-правовой школе права, в рамках которой разработаны различные концепции и теории. Аксиологический подход в большей степени используется в сравнительном правоведении. Так, в широко признанной классификации правовых систем в правовые семьи, предложенные известным французским ученым-юристом Рене Давидом, учитываются как юридико-технические особенности права, так и влияние на него культуры, религии, идеологии. Именно типология правовых семей по-

зволяет ярко проиллюстрировать культурно-ценностную обусловленность права⁹.

В российской науке исследуются особенности взаимодействия духовных ценностей с социальными системами. В частности, Михаил Сергеевич Балаянц группирует взгляды мыслителей в зависимости от их подходов к объяснению взаимодействия духовных ценностей с социальными системами по трем направлениям: воплощение идеалов, ценностей в реальной действительности (И. Кант); детерминированность идей и ценностей материальным бытием (К. Маркс); третье направление не обуславливает одно другим, а настаивает на функциональной взаимоприспособленности элементов в живом социокультурном целом, причем идеи и ценности участвуют в социальных процессах совместно с другими элементами системы (М. Вебер, Т. Парсонс)¹⁰.

К родоначальникам аксиологической концепции права в русле русской духовной традиции относят известных отечественных философов Л.А. Тихомирова и И.А. Ильина¹¹. Аксиологическое «измерение» права позволяет преодолеть узость нормативного понимания права, традиционного для советского правоведения, так как аксиологический подход предполагает обусловленность позитивного права и меру, масштабы правового регулирования общепризнанными ценностями общества. Современные отечественные исследователи отмечают, что «правотворчество и правореализация нуждаются в ценностной стратегии. Юридический позитивизм не может претендовать на собственную аксиологию. Главными первичными элементами системы права должны быть духовно-нравственные (они же собственно правовые) принципы, ценности, идеалы»¹².

Разрабатываются новые подходы к «ценностному измерению» общества. Один из них получил название конструктивной аксиологии, характерной чертой которой является представление ценностной сферы как состоящей из «взаимодополняющих и взаимоподкрепляющих ценностей разного рода — нравственных, правовых, религиозных и др.», где «изучение отдельного вида ценностей в отрыве от других не соответствует гармоничному и естественному процессу функционирования аксиосферы общества»¹³.

В ценностях воплощается сложившийся в обществе, обусловленный ходом исторического развития идеал — представления о справедливости, гуманности, на достижение которого направлено правовое регулирование.

Традиционно посредством правовой формы общество защищает наиболее значимые общественные ценности. Оценка в обществе «справедливого» правового регулирования обусловлена ценностями общест-

ва. Сложные иерархии ценностей в различных обществах отражают, как правило, глубокие цивилизационные отличия, которые характерны для различных культур. Ценности играют ключевую роль в правообразовании, особенно при кардинальных изменениях в обществе, когда происходит установление посредством правовой формы ценностей, или иными словами, «освоение» ценностей, их взаимодополнение и взаимоподкрепление.

В последнее время в историко-правовой науке началась разработка проблемы права и времени, потребовавшая новых методологических подходов для своего решения. В праве это тот редкий случай, когда основной причиной для разработки нового теоретического феномена стали достижения отраслевых юридических наук, прежде всего уголовного и уголовно-исполнительного права.

В настоящее время начата разработка феномена правового времени, его сущности и свойств, методологии его изучения. Предпринимаются попытки исследовать возможность использования физического, социального, исторического времени при регулировании общественных отношений посредством права. Главным направлением становится изучение роли и значения времени при осуществлении правотворческой и правореализующей деятельности в контексте исторического развития права. Не менее актуальными для понимания правовой действительности являются разработки проблем «право во времени» и «время в праве», влияние времени на развитие правовой системы конкретного государства, изучение взаимодействия и взаимовлияния времени на функционирование и историческое развитие явлений правовой сферы.

Исследование проблем права и времени началось с вопросов действия нормативных правовых актов во времени прежде всего в прикладном аспекте — действия актов уголовного и уголовно-исполнительного права (сроки давности, исчисление условных сроков наказания, исчисление сроков условно-досрочного освобождения и т. д.). Научные работы, в которых исследовалась проблема права и времени в понимании современной истории права, появились только к середине XIX в., что было обусловлено прежде всего невыделенностью теоретико-правового и историко-правового знания в качестве самостоятельных наук в рамках юриспруденции. Только к началу XX в. развитие научного знания по проблеме «право и время» достигло констатации необходимости исследования проблем действия закона во времени.

В XX в. в связи с восприятием государственно-правовой идеологией тезиса о том, что право — это совокупность правил поведения, санкционированных государством, важнейшими направлениями исследований

стало изучение вопросов введения, отмены, приостановления действия нормативных актов. Исторический аспект, связанный с функционированием правовых норм, отошел на второй план. Только в 1970-х гг. в отечественной историко-правовой науке произошло расширение исследовательского интереса к обозначенной проблеме. Существенно возросло внимание ученых к проблеме преемственности в праве, под которой в самом общем виде понимается связь между этапами развития права. Это свидетельствует о разработке в этот период еще одного аспекта проблемы «право и время» — влияния времени на развитие права.

Данные вопросы были подняты и развиты в исследованиях З.М. Черниловского, В.К. Бабаева, А.И. Косарева¹⁴. Особо следует выделить монографию Н. Неновски, поскольку автор предопределил направление дальнейших исследований феномена преемственности в праве¹⁵.

Все перечисленные исследования позволили создать методологическую базу, которую стало возможно использовать для изучения поступательного движения права, уяснить вопросы вариантности и альтернативности развития и в итоге выйти на постановку проблемы закономерностей в историческом развитии правового регулирования различных отраслей права, включая вопросы истории уголовно-исполнительной системы.

¹ Павлов В.И. Отечественная историко-правовая наука в контексте энергично-правовой модели осмысления правовой реальности // *Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва усходнеэўрапейскім цывілізацыйным кантэксце*. Минск, 2012. С. 116.

² Исаев И.А. История государства и права России: Учебник для юридических вузов. М., 1996. С. 3.

³ Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 31.

⁴ Лукашева Е.А. К вопросу о правопонимании // *Государство и право*. 2003. № 5. С. 10.

⁵ Там же.

⁶ Малахов В.П. Многообразие методологий современной теории государства и права // *История государства и права*. 2010. № 6. С. 2–17.

⁷ Мартышин О.В. Метафизические концепции права // *Государство и право*. 2006. № 2. С. 64–71.

⁸ Нерсесянц В.С. Философия права: либертарно-юридическая концепция // *Вопросы философии*. 2002. № 3. С. 3–15.

⁹ Мурашко Л.О. К вопросу методологии познания правовых явлений // *Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва усходнеэўрапейскім цывілізацыйным кантэксце*. Минск, 2012. С. 131.

¹⁰ Балаяц М.С. Сущность ценностного подхода к праву // *История государства и права*. 2007. № 3. С. 40.

¹¹ Шестопалов С.В. Аксиология права в философии российского консерватизма (Л.А. Тихомиров и И.А. Ильин): Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Тула, 2009.

¹² Сорокин В.В. Толкование современного права: поиск предмета // *Российская юстиция*. 2010. № 6. С. 46–49.

¹³ Балаяц М.С. Сущность ценностного подхода к праву // *История государства и права*. 2007. № 3. С. 40.

¹⁴ *Черниловский З.М.* Досоциалистическое право: прогресс и преемственность // Советское государство и право. 1975. № 11. С. 100–107; *Он же.* Социалистическое право переходного периода: проблема преемственности // Советское государство и право. 1977. № 10. С. 27–35; *Бабаев В.К.* О преемственности между социалистическим и прошлыми типами права // Советское государство и право. 1975. № 12. С. 102–107; *Косарев А.И.* Поступательное движение в истории досоциалистических типов права: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1989.

¹⁵ *Неновски Н.* Преемственность в праве. М., 1977.

ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Шалыгина Наталья Валентиновна
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Москва

***Аннотация:** Основная задача статьи — анализ механизма изменения традиционных гендерных установок россиян. Принимались во внимание два варианта этого процесса: 1) полоролевые установки россиян, сформированные в рамках традиционных культур, эволюционируют естественным образом в условиях глобализации; 2) гендерные установки россиян изменяются под воздействием современных социальных технологий. В рамках междисциплинарного пространства рассмотрения проблемы были приведены примеры пиар-технологий воздействия на массовое сознание — мифодизайн и техника разрушения стереотипов, предложенная французским социологом Ж.-М. Дрю. В качестве основного вывода была сформулирована гипотеза, согласно которой разрушение укорененных (архетипических) стереотипов гендерного поведения способно привести к потере этнокультурной самоидентификации человека и разбалансировке его психологических констант. Разрушение традиционных моделей полоролевого поведения с помощью современных социальных технологий можно считать одним из действенных способов нивелировки культурной идентичности в целом.*

***Ключевые слова:** гендерный мифодизайн, феминизм, стереотипы массового сознания, архетип, пиар-технологии, миф, культура, традиции.*

Тотальное переформатирование гендерной идентичности современного человека сегодня входит в разряд наиболее актуальных проблем междисциплинарного знания. Вопрос рассматривается представителями практически всех гуманитарных дисциплин — психологами, социологами, антропологами, политологами, затрагиваются правовые, экономические, демографические и другие последствия гендерной идентичности. Однако до сих пор остается за скобками способ распространения идеи трансформации гендера в глобальном мире, воздействие этой идеи на культуры, сохраняющие (или желающие сохранить) собственные традиции гендерных отношений. Гипотетически основную роль в распространении идеи новой гендерной реальности играют медиа. Но каков сам механизм изменения стереотипных установок массового сознания под воздействием медийного прессинга?

Изучение технологий работы с массовым сознанием на сегодняшний день, по сути, не затрагивало гендерное пространство. В данном

ключе рассматривались в основном политические ориентации электората, формирующиеся под воздействием пропаганды, рекламы и пиара. Тем не менее техники воздействия, применяемые в других областях, по-видимому, могут работать и в области гендерных отношений. В данной статье предлагается рассмотрение особенностей такой технологии работы с массовым сознанием, как мифодизайн, широко применяемый в области связей с общественностью.

Еще относительно недавно принято было считать, что мифодизайн — это «закрытый» метод политиков, сформированный в США в середине 60-х гг. XX в. На самом деле термин «мифодизайн» (и основные его инструменты, и само название) ввел в научный оборот отечественный маркетолог А.В. Ульяновский в начале последнего десятилетия XX в. Налицо нередкий для России случай, когда интересные научные положения «утекли» в Европу через англоязычные публикации на научных конференциях (вроде «Graphicon») и через программы обмена с европейскими коллегами.

Появилась даже версия, что столь хорошая вещь непременно была сделана на Западе. Закрытые разработки действительно легли в основу мифодизайна, но разработки российские. Например, оценки качества системы «человек—машина—среда» системотехника Г.Н. Заннеса в рамках программы «Боевая машина на поле боя»¹.

Мифодизайн работает с современными социальными мифами, которые следует отделять от мифов классических — сказаний о богах, духах, обожествленных или связанных с богами своим происхождением героях, о первопредках, прямо или косвенно участвовавших в создании мира и его элементов, как природных, так и культурных.

Социальный миф — это условно истинное утверждение в контексте той или иной системы ценностей. С этой точки зрения классические мифы были истинными в некотором контексте. Вообще, при определении современного мифа важным является понятийный ряд «реальность—миф—ложь». Если целевой аудитории не известна хотя бы одна точка зрения, в соответствии с которой данное высказывание истинно, — это ложь. Если целевой аудитории известна хотя бы одна точка зрения, в соответствии с которой данное высказывание истинно или оправданно, — это миф. Если со всех точек зрения целевой аудитории данное высказывание истинно — это реальность².

Из этого определения видно, что непреодолимой границы между реальностью, мифом и ложью нет. Эти понятия контекстуальны, т. е. зависят от мировоззрения целевых аудиторий и замыслов «менеджеров» социальной реальности.

И на основе этого же определения можно утверждать, что мифодизайн (МД) является проектным междисциплинарным методом, позволяющим совместить утилитарную эффективность, свойственную прагматичным бизнес-инструментам, с вопросами прикладной культурологии как практической науки управления тенденциями развития культуры.

В условиях стабильного развития общества обе основные тенденции культурных процессов (консервация и трансформация) не противоречат друг другу, а, наоборот, взаимодействуют, обеспечивая поступательное движение. Но в ситуациях кризиса культурной идентичности оппозиционность этих двух культурных ориентаций начинает проявляться открыто, нередко приводя к конфликтам (А. Марков). То есть агрессивное доминирование одной из тенденций провоцирует ответную реакцию другой. Так, если трансформации оказываются слишком резкими, слишком альтернативными, консервативное начало культуры как некой целостности, принимая вызов, начинает усиливать свои позиции, стремясь к восстановлению утраченного баланса³.

Одним из наиболее технологичных способов, которые обеспечивают возвращение «утраченного рая», очевидно, и следует считать конструирование социальных мифов, или мифодизайн. Реагируя, например, на вызов «оппонента» (усиление тенденции к трансформациям в национальной культуре), консервативное ядро культуры начинает меняться изнутри, перестраиваясь и создавая новую композиционную структуру, которая и становится основой откорректированного понимания реальности. Точно так же, кстати, ведет себя и активно меняющаяся часть культуры, но которая в качестве вызова воспринимает уже ситуацию «застоя».

Суть мифодизайна состоит в том, что искусственно созданным социальным мифом можно управлять, встраивая его в подготовленное массовыми коммуникациями общественное сознание. В этом и заключаются, кстати, особые технологические возможности мифодизайна, которые активно применялись реформаторами в России 1990-х гг. и которые, по сути, затронули все сферы нашей повседневной жизни, включая гендерные отношения.

Гендерный мифодизайн, как и любое другое направление социальных технологий, имел не только собственные задачи, но и особую композиционную структуру. Так, необходимо было соединить в единой концептуальной модели имплицитные ожидания массового сознания, надежную схему продвижения основной идеи, отлаженный механизм обратной связи через средства массовых коммуникаций (СМК) и так называемую матрицу доверия, т. е. отсутствие резких аксиологических противоречий между вновь создаваемым мифом и этнокультурными архетипами россиян. Кроме того, следовало учесть и маркетинговую со-

ставляющую создаваемого мифа, которая обеспечила бы ему уверенное выживание в новых рыночных условиях.

Столь сложная композиционная структура, разумеется, не была самоцелью. В основе предпринимаемых мифодизайнерами (или, как их было принято называть в 1990-х гг., системотехниками) усилий лежала очень важная задача — изменение в течение относительно короткого исторического времени традиционной (консервативной) системы гендерных отношений. Причем в понятие традиционных гендерных ценностей (ТГЦ) входили не только отношения между мужчиной и женщиной, но и семейные отношения, которые также формировались на основе ТГЦ. С точки зрения А. Ульяновского, автора термина «мифодизайн», технологии социальной инженерии, направленные на создание нового социального мифа, изначально ориентированы на стабилизацию ситуации и являются эволюционным методом, «производящим смыслы». Иными словами, мифодизайн — это способ установления многоуровневых, иерархических связей, уравнивающих картину мира.

В контексте гендерных отношений создание новых мифов полоролевых отношений периода 1990-х гг. также должно было, очевидно, означать попытку производства таких культурных смыслов, которые уравнивали бы картину мира в условиях тотальных демократических перемен. Однако построение новой картины мира, в которой традиционные гендерные ценности оказались излишне консервативными, а значит, подлежащими пересмотру, столкнулось с базовым аксиологическим противоречием — кардинальным несоответствием гендерных инноваций архетипам российской ментальности. В такой ситуации, которую А. Ульяновский определил как «модель повышенных рисков», «...мифодизайн теряет управление...»⁴.

Ценностно-нормативные установки россиян в сфере гендерных отношений неразрывно связаны с особенностями российской культуры в целом и базируются на мощных пластах архетипических представлений, с чем, похоже, согласны специалисты самого различного профиля — психологи, антропологи, политологи и др. По-видимому, потенциал гендерного мифодизайна в России также стоит оценивать исключительно с точки зрения междисциплинарных подходов, имея в виду прежде всего особенности национального характера россиян, а не представителей любой другой нации.

Важнейшими психологическими константами, составляющими российский менталитет, являются, например, так называемая футуро-ориентация, т. е. отсутствие привязанности к настоящему и обращенность в прошлое или будущее, стремление к сильной, устойчивой власти, смешение авторитарных и демократических традиций, открытость иным

культурам, вера в социальное чудо, стертая грань между политическим и неполитическим, противоречие между самооценкой и политическим выбором, специфическое восприятие современных реформ, низкое ощущение ценности жизни, значимость коллективного мнения, легкость растворения индивидуального сознания в коллективном и т. д.⁵

Гендерный мифодизайн в условиях российской реальности следует рассматривать как междисциплинарный метод, позволяющий, с одной стороны, совместить ментальные установки россиян с вызовами современного мира, а с другой стороны, избежать крайностей воздействия протестантских гендерных практик западной культуры на аутентичную модель полоролевого поведения в рамках российской культуры. По сути, гендерный мифодизайн — это способ мягкой адаптации традиционалистской схемы полоролевого поведения к универсалистским ценностям в условиях поликультурного мира.

¹ Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социологического прогнозирования. М., 1999. С. 163.

² Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. СПб., 2005.

³ Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 25.

⁴ Ульяновский А.В. Мифодизайн рекламы. СПб., 1995.

⁵ Гринберг Т.Э. Политические технологии. М., 2006. С. 103.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ — ПРЕДМЕТ ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Арпентьева Мариям Равильевна

Калужский государственный университет,
г. Калуга

***Аннотация:** В статье рассматриваются модели и подходы к изучению социального капитала. Анализируется роль социального капитала в развитии человека и общества: констатируется, что развитие человеческого капитала связано с развитием общественного и при наличии гуманных отношений в сообществе активно развивается и служит развитию сообщества. При наличии потребительских отношений человеческий капитал в должной мере не используется и не развивается, а социальный капитал превращается в элемент манипуляции отношениями и поведением людей и организаций.*

***Ключевые слова:** социальная политика, социальный капитал, доверие, обмен, ресурсы, стратегии накопления и использования капитала.*

Проблема социального капитала — одна из проблем, изменяющих отношения людей, а значит, она будет изучаться и изучается исследователями самых разных направлений и наук. Доминирующую роль в исследовании этой проблематики играют экономические, социологические, политические и психологические исследования. На стыке этих исследований удастся осмыслить процессы формирования и развития социального капитала, а также способы управления его формированием и развитием, а значит, развития «связанных» с ним феноменов. В настоящее время очевидно, что продуктивная социальная политика государства, особенно если государство стремится к развитию, инновациям и благу общества, должна быть обращена на накопление и развитие социального капитала входящих в него сообществ, организаций и индивидов. Социальный капитал — понятие, обозначающее социальные сети и взаимосвязи между людьми в обществе. Кроме этого, существует множество сходных определений и понятий (например, культурный капитал, гражданский капитал), которые объединяет общая идея о важности социума, собственно социально-психологических взаимосвязей между людьми в аналитических, сравнительных и прогностических исследованиях. Наряду с физическим (материальным) и

человеческим (представленным уровнем образования, квалификацией и уровнем социальной зрелости человека) капиталом, социальный капитал увеличивает как индивидуальную, так и коллективную производительность и повышает качество жизни человека и сообщества в целом. Термин «капитал» может употребляться, поскольку социальные сети (их характер и форма) медленно меняются, сохраняясь и накапливаясь в течение десятилетий, веков. Его можно поэтому понимать как показатель культурности общества, культурного капитала. Предпосылка построения и развития социального капитала — дружественные и честные отношения с иными людьми, с членами другой группы. Поддерживая «взаимно выгодные» условия, т. е. постоянно увеличивая общий социальный капитал, члены групп укрепляют связи между друг другом. При этом чем крепче взаимосвязи и взаимозависимость людей, тем больше их социальный капитал и меньше необходимость в нормативном регулировании отношений. Таким образом, снижаются временные и другие транзакционные издержки, что в конечном счете приводит к увеличению прибыли организации и повышению качества жизни сообщества и человека в целом.

Впервые термин «социальный капитал» использовал Л.Дж. Ханифан, понимая под ним солидарность и социальные связи, существующие в данной социальной группе¹. П. Бурдьё создал интересную теорию общества, которое состоит из определенных «практик» как способов действий индивидов и коллективов, рассматривая практики как что-то среднее между простой реализацией культурных правил и результатом индивидуальных импровизаций. Такая практика является «стратегическим действием», благодаря которому в границах культурных убеждений, знаний и присущих человеку способов решаются жизненные проблемы, но при этом нарушаются правила. Люди действуют всегда в условиях неравновесия, а примеры поведения, которые им предлагаются, не всегда являются удачными и зачастую полны противоречий. В практиках находит отражение присущий той или иной социальной группе полусознанный стиль поведения, который сформировался в результате жизненного опыта. Он не только детерминирует поведение личности и ограничивает действия, но и предоставляет определенную автономию². Социальный капитал анализируется как на уровне конкретного индивида, так и отдельной социальной группы. В первом случае социальный капитал понимается как качественная характеристика индивида, совокупность его знаний, умений, которые позволяют ему получить прибыль, т. е. это инвестиции, которые вкладывает в себя индивид, развивая свою субъективность. П. Бурдьё определяет социальный капитал как совокупность актуальных или потенциальных ресурсов, связанных с на-

личием крепких сетей-связей, более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания.

Во втором случае социальный капитал понимается как активное взаимодействие между людьми. Доверие и общие ценности связывают членов общностей, делают возможным и упрощают совместное действие. Социальные связи являются структурным элементом воспроизводства социального капитала, благодаря нормам и ценностям, доверию, поддерживаемым социальными связями, в обществе утверждаются определенные образцы взаимодействия. Композиция ценностей, доверия и сетей, существующая в таких обществах, способствует воспроизводству и приумножению социального капитала. Р. Патнэм, таким образом, включил в структуру социального капитала социальные сети, связи и доверие. Два первых фактора являются социально-психологическими атрибутами индивида (измеряемыми через индивидуальные и агрегацию индивидуальных показателей: интенсивность и силу контактов, членство в общественных объединениях, электоральную активность, удовлетворенность взаимоотношениями, соблюдение норм взаимности, чувство безопасности, доверие к соседям и социальным институтам). Наиболее распространенные измерения социального капитала в исследованиях — это ценности (доверие, уважение к окружающим, готовность помогать, толерантность), членство в ассоциациях и клубах по интересам (например, профсоюзах), благотворительность, волонтерство, развитость некоммерческих организаций³.

Социологический взгляд на капитал связан с определением его источников и принадлежности. Социальный капитал обычно считается преимущественно групповым ресурсом. Однако со временем стали говорить о социальном капитале личности. Социальный капитал личности рассматривается исследователями как системное единство образующих социальный капитал психологических характеристик личности и нормативного пространства общности, в которой человек реализует себя, реализует и накапливает социальный капитал. Формирование и развитие компонентов социального капитала, глубина его деформации различаются в группах с высоким и низким уровнем принятия личностью социальных нормативов, включая показатели — индивидуальной ответственности, интеллектуальной независимости и уважения к праву⁴.

Со структурной стороны социальный капитал выступает как совокупность сетевых контактов, то с институциональной стороны он воплощает в себе накопленное доверие и измеряется, соответственно, числом накопленных обязательств⁵. С позиций структурного направления исследования феномена социального капитала центральным понятием и структурной основой выступает понятие социальных сетей,

так называемый сетевой подход. При этом сетевой подход в рамках изучения социального капитала дает возможность строить разные сетевые конфигурации, наглядно демонстрируя различия структуры того или иного социального капитала. И.П. Гурова в качестве форм социального капитала выделяет «социальные узы», «социальные мосты» и «социальные связи»⁶. Социальные узы характеризуют систему связей внутри группы людей, характеризующейся первичностью для индивида, имеющей семейственный характер. Социальные мосты автор рассматривает как капитал, возникающий в отношениях между посторонними акторами социального взаимодействия и определяется межличностным доверием среди «чужих». Понятие социальных связей в структуре социального капитала представляет систему отношений между различными социальными стратами, имеющими доступ к разным ресурсам и власти.

Изучение социального капитала в контексте институционального подхода выводит к проблематике доверия как выполнения обязательств без применения санкций. В основе доверия лежит реципрокность, или вера во взаимность, в действенность взаимных связей, взаимная толерантность и сплоченность. Если избрать первую перспективу, то анализ будет строиться вокруг поведения «экономического человека», который рационально принимает решение о вхождении или о выходе из социальной сети, об уровне и формах инвестиций в социальную сеть. Во втором случае анализ будет иметь выраженный социально-психологический характер: в центре внимания будут структура сети, степень открытости или закрытости сети, плотность и природа социальных связей, факторы доверия и т. п.

В классической модели социальный капитал состоит из трех элементов: донор, реципиент и ресурс.

Сторонник первой, экономической, мальтузианской модели развития сообществ, представляющей западную школу, которую можно назвать школой «экономии ресурсов», Дж. Коулман полагает, что социальный капитал является общественным благом, однако производится индивидами с целью последующего извлечения индивидуальной и социальной выгоды. Социальный капитал, в трактовке Дж. Коулмана, — потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях, — продукт включенности человека в ту или иную социальную структуру. Способность к накоплению социального капитала не является индивидуальной характеристикой личности, она является особенностью сети отношений, которую выстраивает индивид⁷. Социальный капитал накапливается в разных формах непосредственного взаимодействия людей, и прежде всего в

устойчивых самоуправляющихся социально-психологических общностях или группах («комьюнити»).

Для построения социального капитала необходимы социальные договоренности, контракты, а также наличие определенных структурирующих эти договоренности социальных норм и обмен, невозможный без определенного уровня доверия. Как и другие формы капитала, социальный и человеческий капитал приносят дивиденды лишь в случае его использования, особенно обмена и направленных на развитие процессов интериоризации и экстериоризации. В концепции «кредита добрых дел» социальный капитал измеряется не столько в количестве полезных связей, сколько в их качестве: социальный капитал максимален в тех группах, где люди больше всего друг другу доверяют, в том числе в результате зависимости членов друг от друга и вынужденных «кредитов доверия», «доверительных расписок». Отношения строятся по принципу «ты мне — я тебе», чем больше в группе невыплаченных кредитов (взаимных обязательств помочь), тем выше социальный капитал: люди не могут выйти из системы, они поставлены в столь тесную взаимную зависимость, что выход одного звена рушит всю цепь. Пользуясь социальным капиталом, человек обычно истощает его (оказывается «в долгах»). Помогая же другим его использовать («давая в кредит»), он расширяет собственную монополию. Однако чтобы быть полезным, приходится использовать свои связи, поэтому цикл замыкается. Как и в трудах Д. Карнеги, альтруизм носит вынужденный характер или выступает как способ «зарабатывания» капитала и манипуляции собой, другими, обществом.

Во второй — социологической — модели общественного ресурса социальный капитал — феномен, имеющий общественную, а не индивидуальную природу. Так, А. Портес, американский социолог, предполагает, что социальный капитал присущ самой структуре человеческих отношений, так как, будучи связанным с другими людьми, человек получает множество преимуществ. Таким образом, социальный капитал не может находиться в чьей-либо собственности, он представляет собой общественное благо, которым могут пользоваться все. До недавнего времени было принято рассматривать социальный капитал как исключительно положительный феномен, однако А. Портес выделил его недостатки⁸. Именно в этой концепции выделяется представление о феномене, названном нами «антикапитал»: сплоченность группы делает ее более закрытой для новичков, группа может помешать одному из ее членов достичь успеха, имея определенные обязательства и общие паттерны поведения в группе, человек не может легко и без больших потерь из нее выйти. Кроме того, внутри групп с высоким уровнем капитала социальный контроль подчас настолько высок, что существенно ограничивает

свободу людей, а значит, и их развитие. Это может привести к замедлению развития группы, конфликтам и бунтам, коллапсу общества, отчуждению и смертям членов сообщества. В зависимости от структуры общества, уровня его развития как субъекта жизнедеятельности, как отмечалось нами выше, от социального положения конкретного человека и его группы, ценность контактов, связей, доверия и взаимопомощи может быть разной.

Связующий социальный капитал характерен для связей внутри группы, где люди объединяются для выживания или другой насущной цели. Вспомогательный социальный капитал формируется между группами и индивидами вне своей группы. Он позволяет индивидам и организациям из разных групп обмениваться информацией, создавать совместные проекты и предприятия. При этом социальный капитал нарабатывается каждым индивидом в ходе жизнедеятельности, в процессе жизнедеятельности индивид принимает ряд решений, которые позволяют или не позволяют ему вступить в ту или иную группу и завоевать доверие, доступ к общему социальному капиталу и обогатить свой собственный. В зависимости от структуры общества и социального положения группы ценность контактов с точки зрения социального капитала может быть разной.

В третьей — социально-психологической — модели социального развития — использование капитала означает его развитие: чем больше тратится, используется капитал, тем быстрее и больше он развивается, увеличивается. В этой концепции социальный капитал — социальное богатство личности, которое выражается в совокупности ее межличностных связей, предоставляет ей доступ к ресурсам партнеров и дает возможность партнерам пользоваться ее ресурсами⁹.

Понятие социального капитала позволяет психологам рассмотреть межличностные и социально-психологические отношения под инструментальным углом, увидеть связь ценностей личности и общества, развития человеческого и социального капитала, прогнозировать развитие общества, его институтов. Вопрос о том, как выстраивать свое окружение, как обмениваться различными ресурсами с партнерами, отражен в выделении нескольких стратегий социального поведения. В основе выделения стратегий лежат два критерия: ориентации на взаимность или на себя и ориентации на краткосрочные или на долгосрочные вложения в социальные контакты. Так, стратегия «Разумный альтруизм» возникает при условии сочетания ориентации на долгосрочные вложения и опоры на взаимность. Человек с подобной стратегией готов отдавать свои ресурсы в настоящее время ради увеличения потенциального социального капитала в будущем. Он накапливает «положительное напряжение» в своей социальной сети, расширяет ее, рассчитывая, что при необходимости он с легкостью

получит отдачу, возможно, даже в большем объеме, чем вложил. Стратегия «Взаимный обмен» предполагает ориентацию на краткосрочные вложения и на взаимность партнеров. Речь скорее о поддержании баланса в обмене ресурсами с партнерами, о желании видеть ответ, благодарность или выигрыш от обмена в настоящем. Человек не ставит перед собой целей расширения социального окружения, его активность направлена на поддержание контактов и взаимовыгодный обмен. Стратегия «Межличностный прагматизм» сочетает ориентацию на себя и на краткосрочные вложения. Личность старается «выкачать» как можно больше ресурсов из той социальной сети, в которой состоит, не заботясь о будущем отношений с данным окружением. Стратегия «Инвестирование в себя» основывается на ориентации на себя и на долгосрочные вложения. Главное в ней — накопить ресурсы, стать важной для социального окружения фигурой, которую каждый или определенный круг людей хотел бы видеть своим партнером. Человек не использует только одну стратегию, скорее можно говорить о доминировании той или иной стратегии в поведении в конкретной ситуации и о профиле, диапазоне стратегий у человека.

Как отмечает В.В. Радаев, социальный капитал обладает рядом характеристик, свойственных экономическому капиталу, а именно ограниченностью, способностью к накоплению, конвертируемостью, самоворастанием и даже передаваемостью на уровне межорганизационных отношений¹⁰. Он не сводится к каким-то выработанным способностям человека, не является чисто логическим, рациональным знанием, подобно человеческому капиталу, и не отпечатывается в теле человека в виде инкорпорированных навыков, подобно культурному капиталу. Социальный капитал не существует вне людей, но и не является атрибутом какого-то отдельного человека.

Как и социальный капитал, человеческий имеет ряд видов. Отрицательный человеческий капитал, или, в наших терминах, также может быть назван антикапитал, — часть накопленного капитала, не дающая полезной обществу и человеку отдачи от инвестиций в него, но, напротив, препятствующая росту качества жизни населения, развитию общества и личности. Так, преступники, наркоманы и просто бездельники могут быть оценены как потерянные для общества, организаций и семей субъекты, как потерянные инвестиции. Накопленный отрицательный человеческий капитал (антикапитал) активно проявляет себя в периоды бифуркаций и революций, смены поколений; в условиях неравновесных состояний капитал может быстро изменить свой «знак» и иные качественные и структурные характеристики. Отрицательный человеческий капитал формируется на базе негативных сторон функционирования нации, страны, на низкой культуре отношений к себе и миру значительной части населения.

Кроме того, можно выделить пассивно-нейтральный человеческий капитал — человеческий капитал, не вносящий вклада в процессы развития страны, в инновационную экономику, направленный человеком на собственное потребление и комфорт. В положительную часть капитала входят трудолюбивые профессионалы, люди, занимающиеся благотворительностью и разделяющие идеалы служения обществу, взаимопомощи — идеологию социального служения. Положительный человеческий капитал (креативный или инновационный) определяется как обеспечивающий полезную отдачу от инвестиций в него в процессы развития: в повышение и поддержание качества жизни населения, в рост инновационного потенциала и институционального потенциала. Среди составляющих эффективной, инновационной экономики и информационного общества выделяются: 1) высококачественный человеческий капитал; 2) эффективная инновационная система управления и развитый венчурный бизнес; 3) эффективная промышленность, способная производить инновационную продукцию; 4) благоприятная среда для человеческого капитала. Однако коррупция и криминализация экономики и общества в целом снижают эффективность конструктивных составляющих человеческого капитала и инновационной экономики.

Социальный капитал и человеческий капитал рассматриваются как связанные понятия или компоненты друг друга. Человеческий капитал определяется двойственно, как совокупность знаний и умений, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом, и как совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду — образование и профессиональные навыки, потребительские расходы — затраты семей на питание и одежду, жилье и здравоохранение, образование и культуру, а также расходы государства на эти цели. Т. Шульц, Г. Беккер, С. Кузнец и другие исследователи конца XX в. обосновали эффективность вложений в человеческий капитал. Г. Беккер характеризует качество жизни человека как интенсивный производительный фактор социального развития. Одним из условий развития и повышения качества человеческого капитала является высокий индекс социальной свободы. Как индивидуальный человеческий капитал, он сходен с понятием социального капитала личности, как человеческий капитал фирмы и национальный человеческий капитал — с понятием социального капитала¹¹. Г. Беккер ввел различие между специальными и общими инвестициями в человека. Специальная подготовка работников формирует конкурентные преимущества фирмы, характерные и значимые особенности ее продукции и поведения на рынках, в конечном итоге ее ноу-хау, имидж и бренд. В специальной подготовке заинтересованы в первую очередь сами фирмы и корпора-

ции, однако образование в целом — как перспективное капиталовложение — является фундаментом увеличения доходов и наемных работников, и работодателей, и государства.

С. Кузнец среди ограничителей на применение опыта передовых стран развивающимися странами поставил на первое месте стартовые потенциалы физического и человеческого капитала. Высокий уровень и качество накопленного человеческого капитала необходимы для ускоренного осуществления институциональных реформ, трансформации государства, технологического обновления производств, преобразований экономики и т. д.¹² Ядром человеческого капитала является человек — образованный, созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. В этом смысле понимание человеческого капитала дополняет понятие капитала социального. Человеческий капитал в широком определении — это интенсивный производительный фактор развития общества и семьи. Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения, в образование и интеллектуальную деятельность, в воспитание, формирование эффективной элиты, в безопасность граждан и их свободу, а также в культуру. Для эффективного функционирования человеческого капитала необходимо конкурентоспособное качество жизни, включая безопасность и комфортные условия жизни. Формируется он и за счет притока из других стран. Или убывает за счет его оттока. Основными драйверами его развития являются конкуренция, инвестиции, инновации. Стоимость российского национального социального и человеческого капитала снижалась за последние 20 лет в связи с низкими инвестициями в них, деградацией образования и воспитания, медицины и культуры, науки и производства.

Общие источники социального капитала таковы:

- ценностная ориентация, усвоенная субъектами в социализации, — поведение в соответствии с нормами морали;
- индивидуальное социальное взаимодействие, определяемое ценностями — соблюдение определенных правил ради достижения личных целей;
- ограниченная, дифференцированная солидарность, ведущая к соблюдению членами группы норм взаимной поддержки, — поведение, ориентированное на группу;
- связанное с задачами социального роста доверие, производное от способности сообщества поддерживать устойчивую систему санкций в отношении своих членов, нарушающих ведущие ценности.

Источниками человеческого капитала также являются:

- нравственные ценности, усвоенные субъектами в процессе социализации, — поведение в соответствии с нормами морали;

– индивидуальное социальное взаимодействие, определяемое ценностями, — соблюдение определенных правил ради достижения личных целей;

– профессиональное и личностное развитие в процессе семейного и общественного обучения и воспитания;

– самоэффективность и внешняя эффективность, производные от способности человека находить и осуществлять поддержку развития в рамках разделяемых нравственных ценностей, выстраивать «мосты» взаимодействия — быть квалифицированным партнером.

Рассматривая социальный капитал на микро- и макроуровнях, следует отметить, что индивидуальный, личностный социальный капитал отличается тем, что независимо от ценностей, доверия в обществе и даже особенностей отношений человека он может быть уникальным и в отличие от группового капитала иметь высокий показатель развития. Личный социальный капитал — совокупность ресурсов, которые субъект использует, мобилизуя свои социальные связи. Социальный капитал в целом — использование связей всех членов сообщества. В организации социальный капитал является пусковым механизмом и основой для сотрудничества и распространения знаний и социального взаимодействия в целом, дает основу для содействия и координации.

Существуют также практические формы инвестиций в развитие социального и человеческого капитала. Характеристики, отличающие эффективные отношения от неэффективных, таковы: осведомленность о том, какими знаниями владеют люди, к которым можно обратиться с вопросами (ориентация); возможность своевременно получить доступ к этому человеку (доступность); желание принять участие в решении проблемы (участие) и степень свободы взаимоотношений, способствующая обучению и творчеству (свобода).

Итак, формирование и развитие социального и человеческого капитала — предмет полидисциплинарных исследований. Ведущим, однако, является социально-политический пласт проблемы. Развитие социального капитала связано с развитием общественного и при наличии гуманных отношений в сообществе активно развивается и служит развитию сообщества. При наличии потребительских отношений, низком уровне развития социального капитала и человеческого капитал в должной мере не используется и не развивается, а социальный капитал превращается в элемент манипуляции отношениями и поведением людей и организаций.

¹ Почебут Л.Г., Свенцицкий А.Л., Марарица Л.В. Социальный капитал личности: Монография. М., 2014.

² Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60–74.

³ *Putnam R.* The Prosperous Community. Social Capital and Public Life // *The American Prospect*. 1993. Vol. 4. № 13. P. 1–8.

⁴ *Акимова М.К., Горбачева Е.И.* Социальный капитал личности: нормативный подход к изучению и диагностике // *Вопросы психологии*. 2014. № 1. С. 58–67.

⁵ *Радаев В.В.* Социальный капитал как научная категория // *Социальный капитал: теория и практика*. 2003. № 2. С. 5–23.

⁶ *Гурова И.П.* Проблемы доверия-недоверия в экономических отношениях в России // Бюллетень научной программы «Особенности российской культуры и менталитета как фактора социально-экономического развития». 2007. № 2. С. 516–547.

⁷ *Коулман Дж.* Капитал социальный и человеческий // *Общественные науки и современность*. 2001. № 3; *Татарко А.Н.* Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе. М., 2014.

⁸ *Portes A.* Social capital: Its origins and applications in modern sociology // *Annual Review of Sociology*. 1998. № 1.

⁹ *Почебут Л.Г., Свенцицкий А.Л., Марарица Л.В.* Социальный капитал личности: Монография; *Татарко А.Н.* Социально-психологический капитал личности в поликультурном обществе.

¹⁰ *Радаев В.В.* Социальный капитал как научная категория. С. 5–23.

¹¹ *Кендрик Дж.* Совокупный капитал США и его функционирование. М.: Прогресс, 1976; *Becker G.S.* Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964.

¹² *Кендрик Дж.* Совокупный капитал США и его функционирование.

КОЛЛАПС МАЙЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ КУЛЬТУРЫ И ПРИРОДЫ

Mtro. Adrián Maldonado R.

Центр по изучению эпиграфики майя
«Юрий Кнорозов»,
г. Мерида, шт. Юкатан, Мексика.
Перевод с исп. Косиченко И.Н.,
Молодчикова Т.С.

***Аннотация:** Статья посвящена объяснению с позиции междисциплинарного подхода характера и причин коллапса майя классического периода — кризиса классического общества майя на рубеже I и II тысячелетия н. э.*

***Ключевые слова:** коллапс майя классического периода, социальная система, культура.*

Введение

Когда мы говорим о коллапсе какой-либо цивилизации, необходимо принимать во внимание, что под этим термином понимаются не только яркие изменения, но и возвращение на более низкие и простые уровни социальной организации¹. Можно сказать, что в какой-то момент социальная система оказывается чрезмерно перегруженной, и воспроизведение сложных уровней социальной организации делает систему крайне неустойчивой. По этой причине в конце концов обнаруживается возрастающее число конфликтов как внутри самой социальной группы, так и во внешних отношениях с другими обществами.

В случае доиспанской культуры майя довольно хорошо известен феномен синтеза (объединения) и социального синтеза, который в зависимости от конкретного периода и исторических обстоятельств приводил к большей связи или раздробленности, согласно интересам и политике отношений между альянсами, которые выражались в идеологической модели, характерной для их религиозных практик.

Как правило, говоря о коллапсе майя классического периода, выдвигают несколько причин, объясняющих этот феномен. Проблема та-

кого подхода заключается в том, что, приписывая одному феномену множество причин, мы скорее имеем в виду некую сумму вероятностей, как если бы говорили о физической модели, а ограниченность статистики применительно к таким моделям хорошо известна. С другой стороны, говоря эпистемологически, остается смутное и неопределенное ощущение относительно применимости к проблеме коллапса майя всех типов переменных и постоянных, как мы увидим по ходу нашего представления научных моделей, объясняющих коллапс майя.

Другой аспект, который необходимо подчеркнуть, связан с тем, что доиспанская культура майя предполагала различные традиции, которые составляли сходную культуру. В этом смысле даже можно говорить о существовании «матрицы вариаций», сквозь которую определенные социальные феномены, которые проявлялись в Тьеррас-Альтас, имели свои эквиваленты на низменностях и наоборот, и что в некоторых случаях может относиться к Мезоамерике как к действующей социальной системе.

Необходимо также принимать во внимание, что, говоря о «доиспанской культуре майя», в действительности мы говорим о ценностях и практиках властвующей социальной элиты, которая составляла от 5 до 10 % от общей численности населения региона майя доклассического периода. Если не принимать этот факт во внимание, коллапс предстает в очень мрачном свете, однако в действительности не было никакого системного слома, лишь упадок культуры элиты, понимая под этим словом их образ жизни, группы же земледельцев, проживающих в небольших разбросанных поселениях, имели возможность уйти² или по крайней мере меньше ощущали кризис городов, когда они внезапно или постепенно покидались.

Объяснительные модели, характеризующие коллапс майя классического периода

Большинство теоретических моделей, объясняющих коллапс майя классического периода, принимают во внимание так или иначе одни и те же элементы, предпочитая тот или иной аспект в зависимости от своего подхода. Модель, предложенная Томпсоном и Ганном³, выдвигает причины коллапса, связанные с:

- 1) климатическими изменениями;
- 2) уровнем эрозии почвы;
- 3) эпидемиями;
- 4) землетрясениями;
- 5) войной (внутренней, внешней или обеими);

6) упадком;

7) религией или причинами, связанными с формами суеверий.

Первые четыре пункта, независимо от того, на что они могут указывать с точки зрения статистики, связаны с окружающей средой, которая действует лишь на животный мир, выживание которого основано на естественном отборе, а не на культурном. Это положение будет разработано по ходу дальнейшего повествования. Итак, в тот момент, в который функционирует культура в рамках общей системы социальной организации, можно сказать, что она действует, а priori и a posteriori. *Это одна из характеристик человеческого опыта, который в определенной форме связан с феноменами языка и восприятия и который в крайнем случае показывает нам, что культура (независимо от того, какая конкретно культура) является тем фильтром, посредством которого мы взаимодействуем с миром.* Как в той шутке К. Поппера про англичанина, который считал, что весь мир изначально британский, потому что может понять его язык; мы не можем избежать нашей культуры (и ее фильтров), но можем расширить ее границы.

Резюмируя Томпсона и Ганна, необходимо заметить, что культурная объяснительная модель в ее этнологическом значении не имеет измерений применительно к антропологии, включая те пункты, где речь идет о войне, упадке и религии; кажется, что, вместо того чтобы говорить о системе как целом, модель Томпсона и Ганна фокусируется на частях⁴. Очевидно, что если культура функционирует в рамках какой-либо системы, тогда то, что представляется нам как культурный феномен на некоей ограниченной шкале, каким-то образом должно связываться с целым.

Недостатки и проблемы этой модели в той или иной форме воспроизводятся в различных пояснениях, сформулированных к настоящему дню, различные авторы в своих публикациях продолжают выделять эти аспекты, каждый раз говоря о них более детально и конкретно, однако игнорируя тот факт, что, если мы пытаемся исследовать культуру для понимания причин коллапса, это не собственно та культура, в которой содержатся ответы относительно исторической судьбы народа.

Другой пример схематичной, однако одной из самых изощренных моделей принадлежит Саблову, который выделяет следующие исторические процессы⁵.

Внутренние:

1. Естественные, иначе говоря, рассматривает сельскохозяйственный потенциал, демографические изменения, землетрясения, ураганы, климатические изменения, эпидемии чумы.

2. Социополитические: восстания крестьян, межплеменные войны.

Внешние:

1. Экономические.
2. Социополитические:
 - a) нашествие без оккупации территории;
 - b) нашествие с оккупацией.

Упущение автора опять же состоит в акцентировании внимания на экономических и социополитических факторах в ущерб культурным. Окружающая среда применительно к этому случаю не является ключевым фактором, потому что для человечества окружающая среда является фактором, создающим условия для жизнедеятельности, но не определяющим ее. Определяющими же являются факторы, регулирующие культурное развитие.

В свою очередь, Вебстер представляет модель, в которой коллапс связывается⁶:

I. Объяснение коллапса элиты:

- a) крестьянские восстания;
- b) межплеменные войны;
- c) внешние вторжения;
- d) разрушение торговых сетей (вызванное человеческой деятельностью).

II. Системный коллапс:

- a) неэкологические факторы:
 - 1) коллапс сетей обмена,
 - 2) идеологический кризис;
- b) экологические причины:
 - 1) экологические катастрофы (землетрясения, ураганы, извержения вулканов; засухи; эпидемии),
 - 2) причины экологической и окружающей среды в долгосрочной перспективе (изношенность плодородных земель из-за эрозии почвы).

Удивительно, что такой человек, как Вебстер, проигнорировал культурное объяснение коллапса (говоря о культуре как об антропосистеме), но отметил идеологический кризис, однако в антропологических терминах, прежде всего в североамериканской традиции, это означает возвращение к категориям Рут Бенедикт. Однако в общем контексте сказанного его модель испытывает все те же недостатки, так как причиной можно называть и культурный аспект (будь то война или сеть обмена), или же феномен окружающей среды, или третий вариант — все это упражнения в диалектике; коллапс — это результат синтеза ряда причин.

Проблема амбиентализма в археологии в какой-то степени не только актуализация дискуссии об отношении природы и культуры, но и то, что

характеризовало антропологию начиная с ее истоков. Дело в том, что с новыми технологиями амбиентализм приходит в соответствие с мальтузианской моделью, и мало что может сказать нам относительно культуры, ограничивая культуру и срок ее действия (образ и продолжительность жизни) самой окружающей средой.

Характерный пример того представляет собой эффект от текста Джилла Ричардсона *The Great Maya Droughts: Water, Life, and Death*⁷, чье воздействие на академическое сообщество было таким, что североамериканское археологическое сообщество высказывало следующие мнения: «Перед новыми свидетельствами переменной засухи, однако довольной суровой, в позднеклассический и ранний постклассический период и покидания практически всех городов в низменностях майя можно заключить, что продолжительная засуха и коллапс находятся в отношении причины-следствия»⁸.

Теория игр и концепция культуры игры с нулевой суммой

В отличие от обычного подхода в антропологии не применялись модели теории игр, развивавшиеся с 50-х гг. прошлого века и использующиеся в экономике и других дисциплинах с 60-х гг. XX в.

В общих терминах теория игр предполагает два простых варианта взаимодействия между участниками согласно определенной системе правил.

- А. Игра с нулевой суммой (шахматы, покер и другие игры, предполагающие различные уровни конкуренции и истощения).
- В. Игра с ненулевой суммой (предполагает более высокие уровни сотрудничества).

В первой модели организация стремится к целям, характеризующимся следующим образом.

1. Победа достижима только посредством поражения других игроков, она зависит от их уничтожения, подавления или отсутствия.

2. Независимо от игроков (и их уровня сотрудничества), в динамике нулевой суммы конечная форма взаимодействия стремится к открытой оппозиции.

3. Конечный выигрыш напрямую связан с суммой потерь других игроков, т. е. богатство или ценности просто переходят из рук в руки, что подразумевает следующее:

а. В конечном счете победитель не производит богатства или ценности (т. е. прекращает их непосредственное производство), он лишь концентрирует их в своих руках (это становится очевидным на послед-

них стадиях игры, когда конфликт достигает высшего уровня напряженности).

б. Победитель в игре нулевой суммы для достижения победы приходит к ситуации, когда его положение аналогично положению проигравших, в связи с эффектом истощения.

с. Если правила игры предполагают повторяющиеся циклы (первая партия, вторая партия, третья партия и т. д.), победивший в одной из партий может потерять накопленные ценности по итогам следующей.

Столь простой концепт в сфере культуры должен рассматриваться как описательный, что, в свою очередь, может предоставить возможность понять определенные феномены, связанные с коллапсом и крахом цивилизаций. В этом смысле концепция культуры в прагматическом ключе — это серия решений и ценностей, на которой основан активный отбор. Если теория игр может служить для выявления определенных социокультурных моделей, это не предполагает их уничтожения как таковых, речь идет всего лишь об описании действительного состояния вещей.

Согласно вышесказанному, мы можем говорить о культурах нулевой суммы, которые можем определить, в том числе относительно классического периода майя, по следующим критериям.

1. Базовое самообеспечение потребления.
2. Меньший или почти такой же объем излишков для поддержания уровня потребления элиты, который ограничивает торговлю (предметами роскоши, драгоценными камнями, перьями и т. д.).
3. В большинстве своем жизнь таких обществ крайне ритуализированна.
4. Статус властителя имеет божественный характер, и по краям социальной иерархии, возможно, практикуется направленное внутрь системы насилие. Та же система регулируется направлением агрессии вовне и ритуальными жертвоприношениями внутри себя.
5. Государство в своем устройстве воплощает модель захватывающего аппарата (для чужих ресурсов, рабочих рук, трофеев, пленных, заложников и т. д.) и превращается в машину войны.
6. Религия предполагает жертвоприношения и практики самопожертвований.
7. Торговля ограничена, хотя и являлась одним из лучших объектов для определенных форм налогообложения (например, до постклассического периода).
8. В группах земледельцев превалирует модель распыленных поселений, основанная на ожидании возможных военных столкновений. Данная модель облегчает миграцию в случае необходимости, в отличие от

городских поселений, лучше демонстрирующих нам волну или центр политики захвата (характеристика городских поселений майя).

9. Продолжительный конфликт между правящими династиями и домами, выражающийся в ценностях культуры майяской элиты.

10. Часто запустение поселений, начиная с формативного и заканчивая постклассическим периодом, вызванное военными столкновениями и продолжительным истощением (поселение-победитель ослабевает по той же причине, что делает возможным возникновение городов-сателлитов; на языке теории игр какое-либо поселение может стать временным победителем).

Выводы

В человеческих сообществах культурный отбор влияет на естественный, другими словами, культура предполагает фильтр, придающий вещам смысл и реальность. Это значит, что, прежде чем говорить о феноменах окружающей среды, антропологии нужно понять культуру, чтобы понять, каким образом данная антропосистема взаимодействовала со своим окружением. В случае доиспанских майя в похожие периоды уже происходили опустошительные засухи, которые лишь выявляли реальный образ функционирования системы, возможно присущее ей насилие.

Сами по себе засухи (и это можно сказать о любом другом феномене окружающей среды) не продемонстрировали ничего, кроме воздействия катастрофы и адаптивной реконструкции системы, если она имела место. Что мы на самом деле наблюдаем, так это то, что в системах с конца классического периода до постклассического городские поселения стремились к *multepal*, или определенному типу компромиссного правления (*inter pares*), которое, казалось бы, будет проводить политику широкой поддержки торговли (случай Чичен-Ицы и ее торговой системы), как это наблюдалось на восточном побережье. В реальности странно то, что, начиная с формативного периода, у майя имеются следы малых коллапсов, которые, следуя показателям развития, пропорционально усиливались сетями альянсов, территорий и распространением городских поселений.

Согласно вышесказанному, проблема окружающей среды представляется, испытывается и запоминается в культурной форме, что является причиной того, что амбиентализм в чистом виде имеет что-то от наивного рационализма. С другой стороны, он постулируется как амбиенталистский материализм, признающий за культурой лишь ограниченное поле деятельности. В отличие от этого наш подход предполагает, что культура, согласно изложенному, не только предполагает человеческий

опыт, но и выявляет форму и смысл социальной реальности, одновременно изменяя данные представления, но в конечном счете в человеческих сообществах оказывает влияние на сам естественный отбор.

¹ *Tainter J.* The Collapse of Complex Society. Cambridge, 1998.

² Интерпретация моделей поселений связана с желанием авторов продемонстрировать важность центров и причислить их к зонам земледелия. В нашем случае подобная разбросанность поселений рассматривается как показатель уровня конфликтности и стратегий сопротивления или предотвращения конфликтов.

³ *Gann T., Thompson E.* The History of the Maya. N.Y., 2001.

⁴ Ibid.

⁵ *Sabloff J.* Major Themes in the Past Hypotheses of the Maya Collapse // The Classic Maya Collapse. Albuquerque, 1973. P. 35–42.

⁶ *Webster D.* Fall of the Ancient Maya. N.Y., 2002.

⁷ *Richardson G.* The Great Maya Droughts: Water, Life and Death. Albuquerque, 2000.

⁸ *Andrews W.E.* El colapso maya // Historia General de Yucatán, la civilización maya yucateca. Mérida, 2013. P. 294.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЗЕРНИКОВА ИРИНА ПАВЛОВНА — кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета.

АКАШЕВА Анна Анатольевна — кандидат исторических наук, старший преподаватель Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

АРПЕНТЬЕВА Мариям Равилевна — кандидат психологических наук, доцент Калужского государственного университета.

АРТЕМЕНКОВ Михаил Николаевич — кандидат исторических наук, доцент Смоленского государственного университета.

БАБКИН Михаил Анатольевич — доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, профессор Московского педагогического государственного университета.

БЕССОНОВА Татьяна Викторовна — кандидат исторических наук, доцент Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета.

ВОЛОДИН Андрей Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

ГОРОБИЙ Алексей Викторович — кандидат исторических наук, соискатель кафедры философии и теории культуры Тверского государственного университета.

ДОЛГОВА Евгения Андреевна — кандидат исторических наук, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

ЕРШОВА Галина Гавриловна — доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

КАИЛЬ Максим Владимирович — кандидат исторических наук, доцент Смоленского государственного университета

КАЛАШНИКОВ Михаил Васильевич — старший преподаватель Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

КОМОЧЕВ Никита Алексеевич — кандидат исторических наук, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

ЛЯРСКИЙ Александр Борисович — кандидат исторических наук, доцент Северо-Западного института печати Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна.

МАЛИНОВ Алексей Валерьевич — доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

МИРОНОВ Борис Николаевич — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

РЕУТ Олег Чеславович — кандидат технических наук, доцент Северо-Западного института управления (РАНХиГС).

СУКИНА Людмила Борисовна — доктор исторических наук, кандидат культурологии, доцент Института программных систем им. Н.И. Лобачевского.

ТЕТЕРЕВЛЕВА Татьяна Павловна — кандидат исторических наук, доцент Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

ШАЛЫГИНА Наталия Валентиновна — кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник сектора этногендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН.

ШЕБЫРОВА Лариса Геннадьевна — аспирант Института истории естествознания и техники РАН им. С.И. Вавилова.

ШКУРАТОВ Владимир Александрович — доктор философских наук, профессор Южного федерального университета.

REPETTO ADRIÁN MALDONADO — заместитель директора Центра по изучению эпиграфики майя «Юрий Кнорозов». Мерида, Мексика.

Научное издание

**«Стены и мосты»—IV:
междисциплинарные исследования в истории**

Корректор: Иванченко С.Ю.,
группа допечатной подготовки изданий:
Исакова Т.В.,
Коновалова Т.Ю.,
Крылов К.А.

Подписано в печать 02.03.2016. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16,0. Тираж 300 экз. Заказ №

Издательство «Академический проект»
(общество с ограниченной ответственностью),
адрес: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, 3;
сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012;
орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51
ООО «Профи-сертификат».

Отпечатано: Публичное акционерное общество
«Т8 Издательские Технологии»,
адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский просп., 42, корп. 5,
телефон: +7 495 221 8980

**По вопросам приобретения книги
просим обращаться в издательство:**

телефоны: + 7 495 305 3702, + 7 495 305 6092,
факс: + 7 495 305 6088,
e-mail: info@aproject.ru, zakaz@aproject.ru,
интернет-магазин: www.academ-pro.ru.